common place

МОДЕСТ КОЛЕРОВ

АРХЕОЛОГИЯ РУССКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ИДЕАЛИЗМА 1900-1927

серия
СТАРАЯ ШКОЛА

Очерки
и документы

2018
москва

УДК 141.82+322
ББК 87.3(0)+66.3(0)
К 60

К 60 **Колеров, М.А.**
Археология русского политического идеализма: 1904–1927. Очерки и документы. М.: 2018. — 352 с.

ISBN 978-999999-0-69-1

В новую книгу историка Модеста Колерова вошли статьи и публикации, посвященные политическим идеям русских мыслителей и литераторов, которые не нашли общего языка с революционерами (хотя некоторые из них его искали), не приняли материалистического мировоззрения (хотя некоторые из них сыграли важнейшую роль в развитии русского марксизма) и не отвернулись от России (хотя почти со всеми ними родина, ставшая советской, обошлась жестоко). Среди героев книги — разочаровавшийся в марксизме Петр Струве и ставший священником Сергей Булгаков, национал-большевик Николай Устрялов и евразиец Петр Савицкий, Андрей Белый и Василий Розанов.

НЕЗАВИСИМЫЙ АЛЬЯНС

Публикуется под лицензией Creative Commons
Разрешается любое некоммерческое воспроизведение со ссылкой на источник

Содержание

От автора....10

I

Новый текст к исследованию революционных культов Надсона, Гаршина и Чехова....14

Николай Бердяев. Памяти А.П. Чехова (1904)....32

Предшественник образа-теории В.А. Маклакова о «безумном шофёре» монархии: Е.Н. Трубецкой «Поучительная катастрофа» (1905)....36

«Великая Россия» и «Ближний Восток» П.Б. Струве: британские вдохновения и разрушение Османской империи и Австро-Венгрии (1908–1916)....48

Петр Струве. Международное положение и международная реакция (1908)....76

Почему П.Б. Струве отказался печатать «Петербург» Андрея Белого (1912)....80

Забытый текст П.Б. Струве о Балканах, Проливах и целях войны....94

Петр Струве. Верные и неверные пророчества Ф.М. Достоевского (1914)....99

Школа лояльности: «Декларация трудовой интеллигенции» (1920)....102

Декларация трудовой интеллигенции....112

Призывал ли о. Сергий Булгаков к еврейским погромам в 1920 году?....120

Русские писатели и «Русская Мысль» (1921–1923):
Бунин, Ремизов, Цветаева....140

«Аще не умрет, не даст плода»: власть и жертва Николая Устрялова....170

О любви евразийства к СССР: письмо
Л.П. Карсавина к Г.Л. Пятакову (1927)....230

II

Булгаков в поисках русского национального Рафаэля (1900–1902)....242

П.Б. Струве о «Проблемах идеализма»....248

Молодой Булгаков о еврейском вопросе....250

П.Б. Струве о политическом терроре и И.П. Каляеве....253

План церковной революции Булгакова....255

«Исповедничество» В.В. Зеньковского в газете «Народ» (1906)....260

1. *В.В.З.* Предчувствия марксизма....264
2. *В.В.* Либерализм и социализм....265
3. *В.В.З.* О религиозной психологии....270
4. *В.В.З.* Об одном сомнении....272
5. *В.З.* [Рец.:] Волжский. «Из мира литературных исканий».
Сборник статей. СПб. 1906 г. Ц. 1 руб....274

Утаённый социализм Струве и Франка: газета «Рабочее Слово» (1906)....278

1. [*П.Б. Струве.*] Рабочее Слово....285
2. *Петр Струве*. Привет!....286

С.Л. Франк. «Панидеал» (1909)....288

С.Н. Булгаков. Письма к Андрею Белому (1910–1911)....292

«Памятник» В.В. Розанова (1913–1914)....298

С.Н. Булгаков. Кольцо Нибелунгов
(Из размышлений о германизме) (1915).....305

Недругам: письма В.В. Розанова
к Н.К. Михайловскому и П.Б. Струве (1892/1917).....311

Русский Коген: некрологи 1918 года.....318

1. *Вс. Р.* Герман Коген.....321
2. *М.М. Рубинштейн*. Герман Коген (1842–1918).....321

«Смерть первая и воскресение первое»: Письма С.Н. Булгакова
к В.В. Розанову и А.С. Глинке (Волжскому) (1917–1923).....326

П.Н. Савицкий. О национал-большевизме. Письмо в редакцию
[«Русской Мысли»]. Петру Бернгардовичу Струве (1921).....336

Воин евразийства и его война.....342

Библиография.....349

Моей самой старшей дочке Вере —
с пожеланием света и радости

От автора

В русской мысли и культуре XX века центром так называемого «социального идеализма» (не смешивать с социалистическим философским идеализмом некоторых социалистов-революционеров и социал-демократов), центром политической, практической и социальной философии идеализма признана традиция, представленная именами прежде всего **П.Б. Струве, С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева и С.Л. Франка**. Они, их союзники, наследники и отвергатели — прежде всего П.И. Новгородцев, В.В. Зеньковский, Н.В. Устрялов и евразийцы — стоят в центре моих изданий и исследований в течение всей моей жизни.[1] В настоящем сборнике объединён ряд моих статей и документальных публикаций 1992–2018 годы, которые здесь дополнены и исправлены, оснащены новыми материалами, требующими исследовательского внимания, и новые тексты, впервые вводимые в научный оборот. Он исследовательски продолжает мои монографии[2], справочник[3], собрания текстов[4],

1 См.: *М.А. Колеров*. Русская история и русская мысль: Указатель за 1996–2018 годы. Серия «Исследования по истории русской мысли». Альманах «Русский Сборник». Серия SELECTA. М., 2018.

2 *М.А. Колеров*. Не мир, но меч. Русская религиозно-философская печать от «Проблем идеализма» до «Вех». 1902–1909. СПб., 1996; *М.А. Колеров*. Сборник «Проблемы идеализма» (1902): история и контекст. М., 2002; *М.А. Колеров*. Тоталитаризм: русская программа для западной доктрины. М., 2018.

3 *М.А. Колеров*. Индустрия идей. Русские общественно-политические и религиозно-философские сборники. 1887–1947 / С прил.: А.В. Карташев. Проспект сборника «Межа» (1923). М., 2000.

4 *Георгий Флоровский*. Из прошлого русской мысли. Сб. М., 1998; *П.Б. Струве*. Избранные сочинения. М., 1999; *В.В. Зеньковский*. Пять месяцев у власти [Воспоминания]. 2-е изд. М., 2011; Национализм. Полемика 1909–1917. Сб. ст. 2-е изд. М., 2015; *Н.В. Устрялов*. Национал-большевизм. Избранные статьи 1920–1927 гг.. М., 2017; Проблемы идеализма (1902) / 2-е критическое изд., испр. М., 2018.

писем[5] и «хлеба науки»: прикладных штудий, росписей содержания и публикаций документов[6] по этим же темам и этого же круга лиц. В ближайших планах — продолжение и окончание серии моих исследований по этой теме в сборнике «Очерки по археологии русской мысли: 1900–1925» и в монографии о П.Б. Струве в русской истории и культуре 1870–1918 годов.

Эволюция русского политического идеализма — это одновременный поиск свободы и справедливости сквозь конфликты и превращения, отрицание партийности и мучительные попытки нового единства. Это непрерывный поиск правды и света. Но они конфликтны между собой. Их новое единство принципиально не партийно, но ставит участникам этого единства индивидуализмов внятные и прямо не произносимые *условия единства*, среди которых главное — самопреодоление политиканства.

Но как же избавиться от политических искушений, как уединиться от борьбы и жертвы, когда гибнет твоя страна, наступает подготовленная тобой катастрофическая революция — и пожирает своих родителей и детей? И их «свет во тьме светит» — проходит сквозь классовую войну и политику. И та «тьма не объяла его», что на деле — тьма террора и ненависти. Археология русского политического идеализма, в его деталях, контекстах, истории понятий, личных притяжениях и отталкиваниях, обнажает прежде непредставимые толщи смирения и самопреодоления, возвращая героев в политический хор, делая их соучастниками до сих пор актуальной, творящей культуры и политической сцены.

Читая с карандашом в руках их сборник «Вехи», В.И. Ленин (чья сестра хорошо знала Франка по революционной работе в Москве, а сам Франк хорошо знал Ленина и его почерк, в 1890-е годы работая редактором его текстов в издательстве М.И. Водовозовой, а Ленин очень близко знал Струве) наткнулся на фразу Франка о том, что «основная морально-философская ошибка революционизма есть абсолютизация начала борьбы». И отметил её протестующей репликой: «О, господи».[7] Он чувствовал *чрезмерное* покаяние. Но, похоже, не чувствовал его риторической условности.

Мы знаем теперь, что именно борьба за формирование идеала, образца, институтов социально-национально-религиозного освобождения — прежде освобождения политического — была главной для «Вех». Мы знаем, что каждый из них, Струве, Булгаков, Бердяев и Франк, не только боролся, но и совер-

5 *М.А. Колеров.* Изнутри: Письма Бердяева, Булгакова, Новгородцева и Франка к Струве. Переписка Франка и Струве (1898–1905 / 1921–1925). М., 2018.

6 *М.А. Колеров.* От марксизма к идеализму и церкви (1897–1927): Исследования, материалы, указатели. М., 2017.

7 РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 23577. Л. 86 об.

шил свой жизненный подвиг. И когда Ленин с ненавистью называет «Вехи» «энциклопедией либерального ренегатства», — он невольно признаёт, что его авторы прежде были его партийными товарищами. И не перестали быть ему интеллектуальной помехой и, может быть, конкурентами — особенно там, где лобовой борьбы нет. Именно поэтому они, Булгаков, Бердяев и Франк, *склонившие головы* перед победившим в России большевизмом и потому политически безопасные, но идейно вышедшие прочь из самых глубин революционаризма, были высланы Лениным в 1922 году из России. И высланный Франк обнаружил растущее взаимное непонимание с ушедшим с *воюющей* белой армией Струве, противопоставляя свершившуюся народную волю — его романтически-героическому радикализму. Полемизируя со своим старым другом на страницах эмигрантского журнала «Русская Мысль», Струве узнаваемо выступил в защиту самозаконной борьбы и с особым значением дал слово своему сыну Г.П. Струве, чтобы тот посрамил его старого друга за «приятие революции»: «Фатализм С.Л. Франка сковывает волю и ум и убивает творческое отношение к действительности».[8] Посрамил, как Ленин.

Революционный и социалистический след в фундаменте их прошлого и настоящего — неистребим и принципиально важен. Они плохо встраивались в коллективы, но они хорошо отвечали на коллективные страсти. Но их страсть к национально-религиозному освобождению осталась реализованной не в смирении, а в усилии.

Да, их жизненная борьба закончилась в идейном одиночестве, но вся археология их судьбы, весь анатомический театр их мысли, понятийная лаборатория их традиции – энциклопедичны и эвристичны.

Их борьба и теперь сопровождает русскую мысль в её присягах и изменах национальному **освобождению**, либеральному **индивидуализму**, **социализму** (справедливости) и **государству** (культурно-исторической мощи). Впереди, в новой русской истории, — их очередное утверждение и опровержение.

8 июля 2018 года

8 Из откликов читателей. *X. Y. Z.* [*Г.П. Струве*] По поводу статьи С.Л. Франка // Русская Мысль. Берлин, 1923. Кн. IX–XII. С. 367.

Новый текст к исследованию революционных культов Надсона, Гаршина и Чехова

И так уж немного вождей остается,
И так уж безлюдье нас тяжко гнетет.

С.Я. Надсон. «Над могилой И.С. Тургенева»

После убийства в 1881 году императора Александра II революционерами из среды интеллигенции («семидесятниками», «людьми 70-х годов») наступила эпоха реакции и политическая оппозиция погрузилась в глубокую депрессию, связанную не только с равнодушием народного большинства, но и с разгромом революционного подполья, легальных институтов оппозиции в прессе и обществе, с отказом власти от курса на политический либерализм. Специфику эпохи реакции как эпохи *идейной и идеалистической глухоты* тонко описывал годы спустя П.Б. Струве (1870–1944), подспудно рифмуя убийство 1 марта 1881-го с революцией 1905 года. Он писал в 1910 году, во время послереволюционной депрессии, о своём поколении революционеров конца 1880–1890-х годов:

> «Для того, кто начал сознательно относиться к исторической жизни лет 20–25 тому назад, современный момент, несмотря на всё различие в некоторых очень существенных чертах, не может не напоминать уже пережитой эпохи 80-х и 90-х гг. То же чувство, что пройден какой-то важный исторический перегон, и то же чувство не индивидуального угнетения, а какой-то чисто общественной бесформенности, ложащейся тяжёлым гнётом на всякую личность. Слова, и самые лучше, (…) не выходят из жизни и не входят в неё, как живая сила, а идут мимо неё, остаются какими-то посторонними звуками».[1]

1 *П.Б. Струве*. Некоторые черты нашего времени [1910] // П.Б. Струве. Patriotica: Политика, культура, религия, социализм. М., 1997. С. 173.

Самые лучшие политические *слова*, то есть принципы и ценности публичной политики, звучали отдельно от практики, не помогая её политической мобилизации. Средством мобилизации больше служили моральные культы и образцы, образы художественной литературы. В эти годы, особенно в конце 1880-х и позже, одна за другой произошли политически значимые смерти культурных и общественных деятелей, ставшие громкими *траурными* событиями: на фоне неудавшейся новой попытки убийства императора — уже императора Александра III — 1 марта 1887 года и казни готовивших убийство народовольцев в том же году — умерли С.Я. Надсон в 1887-м, В.М. Гаршин в 1888-м, М.Е. Салтыков-Щедрин в 1889-м, Н.Г. Чернышевский в 1889-м, Н.В. Шелгунов в 1891-м. Их похороны и поминки стали поводом для формально траурных, но на деле политических демонстраций, которым не могли противостоять власти, понимая их политический смысл, но отступая перед общественным мнением.[2] Эти акции были не только акциями политической скорби, но попытками её преодоления в новой мобилизации сил. К началу XX века, когда политическая реакция, продолжая репрессии, уже не смогла сдерживать явное общественное оживление и сделала первые шаги в сторону новой либерализации, самыми популярными, массово издаваемыми и коммерчески успешными писателями прошедшей эпохи стали писатель Гаршин (1855–1888, посмертно), поэт Надсон (1862–1887, посмертно) и А.П. Чехов (1860–1904), в 1880-е начавший писательскую карьеру. Все трое равно были отнесены критиками к героям эпохи политической реакции, *гражданской скорби* — либо как её носители, либо как её описатели, либо как её выразители.

При этом если *больная общественная совесть*, бескомпромиссный идеализм, революционный романтизм и напряжённая идейность, *гражданская скорбь* всегда признавались публикой особо присущими Гаршину и Надсону — и они сами были *нашими* для революционной молодёжи, то читательская судьба Чехова сложилась иначе — безыдейность обыденности, беспросветность мещанства, в которой действовали его герои, висели на его общественной репутации как приговор: *не наш*. Лишь на рубеже XIX и XX веков усилиями критических марксистов П.Б. Струве, С.Н. Булгакова (1871–1944) и Н.А. Бердяева (1874–1948), озабоченных поиском нематериального общественного идеала, Чехов был признан в революционной среде не только великим, но и *нашим ве-*

2 Когда, например, в Ялте умер Надсон, его «смерть становится апофеозом всеобщей любви к поэту: по пути следования тела [из Ялты] в Петербург его сопровождают толпы почитателей, начальник Юго-Западной железной дороги, будущий всесильный министр С.Ю. Витте, предоставляет бесплатный вагон, в Петербурге после отпевания в Троицкой церкви молодежь несет тело до Волкова кладбища на руках, над могилой звучали речи одна жарче другой» (*Е.В. Иванова.* Забытый поэт // С.Я. Надсон. Стихотворения. М., 1987. С. 14).

ликим. Первой причиной тому был его массовый успех, который простым бытописанием в духе П.Д. Боборыкина и пр. не достигался, у читателей, которые находили в Чехове нечто большее, нежели бесконечная галерея обывательских лиц.

Успех писателей *гражданской скорби* заставлял задуматься о секрете успеха. Постфактум, из эпохи всеобщего советского просвещения и советской пропаганды, историк, признав беспрецедентный коммерческий успех Надсона у дореволюционной читающей публики, пытался уязвить его сравнением с самыми массовыми народными книгами, стоящими на грани культуры и лубка. Но, похоже, лишь похвалил Надсона этим совершенно немыслимым сравнением: «…успех Надсона держался только на интеллигентных или полуинтеллигентных читателях. В народ он не проник (…) Крылов или Кольцов расходились больше, чем Надсон. Хорошо расходилась и знаменитая сказка Ершова «Конёк-Горбунок»…»[3]. Сравнение поэзии *гражданской скорби* со ставшими народными баснями и сказками — это воистину максимально возможная популярность. Этот фантастический успех требовал объяснения. Известный революционер и свидетель того исторического времени П.А. Кропоткин (1842–1921) писал, обращаясь к широкому британскому читателю, в начале 1900-х годов:

> «Никогда западноевропейцу не понять глубины отчаяния и безнадёжной скорби, которые охватили образованную часть русского общества в течение следующих десяти или двенадцати лет [до борьбы с голодом в 1891–1892 годов], когда общество пришло к заключению, что оно не в силах победить инерцию масс или направить ход истории таким образом, чтобы заполнить пропасть между высокими идеалами и раздирающей сердце действительностью. В этом отношении восьмидесятые годы были, может быть, самым мрачным периодом, какой пришлось пережить России за последние сто лет. (…) Чехов начал писать именно в это мрачное время, и, будучи истинным поэтом, который чувствует и отзывается на все настроения момента, он сделался выразителем этого поражения интеллигенции, которое, как кошмар, нависло над культурной частью русского общества. (…) Эта старая, уходящая от нас жизнь требовала прощального слова, и оно было произнесено Чеховым».[4]

3 *И.Н. Розанов*. Книги и люди в XIX веке // Книга в России: в 2 ч. Ч. II: Русская книга девятнадцатого века / Под ред. В.Я. Адарюкова и А.А. Сидорова [1925]. М., 2008. С. 466–467.

4 *П.А. Кропоткин*. Лекции по истории русской литературы [1901/1905] / [Пер. с англ. В.П. Жука]. М., 2016. С. 343, 346.

Очевидный конец эпохи реакции на рубеже XIX и XX веков заставлял искать символы для её идейного, то есть прежде всего образного, преодоления изнутри. Молодой еврейский политический активист В.Е. Жаботинский (1880–1940)[5] почти вторил Кропоткину в осмыслении *страдающих* литературных фигур, *героических жертв* периода политического упадка как символов преодоления этого упадка. Он писал:

> «Надсон через каждые пять страниц, словно чеховский подполковник Вершинин, заговаривает о надежде, о том, как хорошо будет через двести лет... Если Некрасов — поэт-гражданин, то Надсон — поэт-обыватель. (...) Некрасов был вождем, но и Надсон нес свою службу; он был сестрой милосердия. (...) Большую общественную задачу исполнил Надсон... Но тот день, когда мы отвернемся от Надсона и перестанем чувствовать его, — будет счастливым днем. Он покажет, что мы уже вышли из лазарета, потому что нам не нужна больше сестра милосердия. Тогда нам снова понадобятся вожди, обличители и каратели, и мы вернемся к Некрасову...»[6].

Пожалуй, именно внимательный критик А.С. Глинка (Волжский) (1878–1940), также изнутри политически подавленной социалистической среды искавший путей нового идеализма, религиозной санкции для политического радикализма, первым объединил в литературный триумвират Гаршина, Надсона и Чехова.[7] На поверхности такого объединения лежали в первую очередь

5 Несмотря на своё происхождение от отца-еврея (выкреста), Надсон не воспринимался даже русско-еврейской критикой как еврей, о чем свидетельствует уподобление русско-еврейского поэта С.Г. Фруга Надсону, проведенное Ю.И. Айхенвальдом в статье «Еврейский Надсон» (Сегодня. Рига. 18 июля 1926): «То, что Надсон по своему происхождению был евреем, на его поэзии не отразилось; но Фруг еврей всецело...» (Русское общество и евреи: забытые и неопубликованные статьи Ю. Айхенвальда / Публ. А. Рейтблата // Вестник Еврейского университета в Москве. № 1. М., 1992. С. 138).

6 *Владимир (Зеэв) Жаботинский*. Полное собрание сочинений. В 9 тт. Т. 2. Кн. 2. Проза. Публицистика. Корреспонденции. 1902 / Сост. Ф. Дектор. Минск, 2010. С. 616, 618 (Одесские новости. 29 декабря 1902). Ср.: «В Надсоне молодая искренность... не искупает всей слабости формы и отвечающей ей скудости содержания. Успех его был (и продолжает оставаться) громадным... искренняя боль души поэта перевешивает в глазах читателей бедность и бледность выражения этой боли. Жертва эпохи общественного мещанства, подлинный "герой безвременья", Надсон заслуживает всяческого сочувствия...» (*Иванов-Разумник*. Русская литература XX века (1890–1915 гг.). Пг., 1920. С. 12).

7 *А.С. Глинка (Волжский)*. Очерки о Чехове. Предисловие [1903] // Волжский (А.С. Глинка). Собрание сочинений в 3-х кн. Кн. 1: 1900–1905 / Сост. и ред. Анны Резниченко. М., 2005. С. 165.

громкий успех и известность каждого: посмертные массовые тиражи Гаршина и Надсона (чьи сочинения перешли в собственность Литературного фонда и тот обеспечил ими всю читающую Россию), прижизненный громкий коммерческий успех Чехова. Но Волжский, принимая их известность как данность, не требующую объяснений, внешне объединил их (и прибегнул к модному тогда жанру «параллелей») по их ориентации на исследование «психологии» человека. Но более всего он объединил их по исторической социально-политической функции для читательской аудитории. Гаршин, Надсон и Чехов стали революционными морально-политическими символами времени, символами преодоления политической реакции 1880–1890-х годов. И Чехов в этом ряду превратился из бытописателя — в творца идей, «художника-философа», чья «философия — в красках и образах».[8] Волжский писал:

> «Конфликт идеала и действительности существует везде, где существует нравственное сознание. (...) Для *нравственного* человека, имеющего идеалы и стремящегося к их осуществлению, конфликт этот повсюду на земле неизбежен. Русской интеллигенции он свойственен по преимуществу и в самой крайней степени. (...) Конфликт лучшей части русской интеллигенции и окружающей её русской же действительности, в самом деле, в значительной мере обусловливается отсталостью нашей жизни и крайней развитостью нашей совести, наших нравственных требований от этой жизни. (...) Противоречие между идеалом и действительностью у русского интеллигента общественно-исторической формации... оскорбляет и мучает собой лучших героев Чехова и самого художника, не ограничивается столкновением интеллигентского идеала только с *русской* действительностью, а вообще со всякой современной действительностью, которая везде и всюду страшно далека от идеала. (...) Эта требовательность стала особенно тягостна для утомленной, обессиленной, скептически настроенной интеллигенции 80-х годов, в черную годину ее жизни... (...) Рассматривая творчество Чехова с исторической точки зрения, необходимо следует поставить его в тесную генетическую связь с эпохой 80-х гг. Своей шуйцей Чехов соприкасается с тем литературным направлением 80-х гг., которое не выдержало страшно обострившегося в эти годы противоречия идеала и действительности и поклонилось этой действительности, сознательно или бессознательно отдавшись на служение идолам реакции. (...) За другой исход из поставленной альтернативы, героический пессимизм, Чехов ухватился своей десницей. (...) Гаршин,

8 *Волжский [А.С. Глинка].* На могилу Антона Павловича Чехова [1904] // Волжский. Из мира литературных исканий. Сб. ст. СПб., 1906. С. 182–183.

> Надсон и Чехов, все трое но каждый *по-своему* изобличили и отразили в своём творчестве кризис общественного настроения 80-х гг., томления этой эпохи. (...) Конфликт идеала и действительности у Гаршина и Надсона доведён до такой крайней степени напряженности и обострённости, как и у Чехова. (...) будучи несомненно *исторической,* литературная работа Чехова в то же время по широте и смелости своего художественного синтеза поднимается до уровня истинно классического, условно говоря, *вне-исторического творчества*».[9]

Пока не произошла революция 1905 года, русская мысль и литература с особым усердием работали над образным строем политических идеологий, дополнительным к публицистическому эзопову языку. Мощная инерция такого образного языка легко преодолела и революцию 1905 года, нисходя из интеллигенции в политически активные массы. Но если до 1905 года образы революционной борьбы в сознании интеллигенции служили инструментом личной и общественной мобилизации, то после — для грамотного читателя общественно-политической азбуки — эти образы становились скорее фоном революционной культуры, пантеоном её святых (в таковом качестве они прожили и большую часть советского времени), а не лозунгами дня. Без реальной политики эзопов язык не только вынужденно заменял русской публицистике лозунги дня, язык политического описания и агитации, но и творчески углублял политические доктрины до философских принципов жизни, риторически помогая достраивать политические лозунги до их обоснований. Яркие примеры того, как несложные литературные образы становились знамёнами политической борьбы, дали Гаршин, Надсон и даже Чехов.

> «В этот яркий красный цветок собралось всё зло мира... Цветок в его глазах осуществлял собою всё зло; он впитал в себя всю невинно пролитую кровь (оттого он и был так красен), все слёзы, всю жёлчь человечества. Это было таинственное, страшное существо, противоположность Богу, Ариман, принявший скромный и невинный вид. Нужно было сорвать его и убить. Но этого мало, — нужно было не дать ему при издыхании излить всё своё зло в мир»,

9 *А.С. Глинка (Волжский)*. Очерки о Чехове. V. [Параллели] // А.С. Глинка (Волжский). Собрание сочинений в 3-х кн. Кн. 1: 1900–1905 / Сост. и ред. Анны Резниченко. М., 2005. С. 261–263, 270, 272, 279. Ср.: «В глубине Чеховского художественного проникновения в жизнь (...) обнажается страшная религиозная жажда Бога» (*Волжский [А.С. Глинка]*. На могилу Антона Павловича Чехова [1904] // Волжский. Из мира литературных исканий. СПб., 1906. С. 190).

— так Гаршин в рассказе «Красный цветок» (1883) — по живым следам революционного убийства императора Александра II — описывал навязчивую идею безумца, заключённого в казематы. И читатели понимали это как образ правящего зла, обречённого на физическое уничтожение.[10] Сборник памяти покончившего собой Гаршина, составленный при участии его близких друзей из семьи Герд,[11] назвали «Красный цветок».[12] Символ зла и тьмы Ариман широко вошёл в русскую публицистику и литературу,[13] а позже стал хрестоматийным в манихейской схеме Бердяева, расколовшей мир на свет Ормузда и тьму Аримана. Известнейший тогда критик, смело конфликтовавший с партийными конкурентами, но уверенно отражавший общественно-

10 Десятилетия спустя русский социалист, но не современник эпохи реакции, рассказывал о контексте этого рассказа Гаршина с понятными искажениями, психологически верно, но хронологически ошибочно связывая образ *красного цветка как символа зла* — с революционным призывом к убийству императора как центра политического зла (хотя на деле он появился после убийства как знамя верности этому убийству): «Идейный багаж юных подвижников невыразимо скуден: отправляясь в пустыню, они берут с собой, вместо Евангелия, “Исторические письма” Лаврова (…) За Лавровым, за Боклем явно стоит образ иного Учителя, зовущего на жертвенную смерть. Если от мира подпольных социалистов обратиться к искусству <18>70-х годов, то мы поразимся, как в гражданской поэзии, в живописи передвижников — всюду возносится, сорванная с киота, икона Христа: Крамской, Поленов, Ге, Некрасов, К.Р., Надсон, не устают ловить своей слабой кистью, лепечущими устами святые черты. (…) И вдруг — с 1879 года — бродячие апостолы становятся политическими убийцами. (…) это срыв эсхатологизма. Царство Божие, или царство социализма, не наступило, хотя прошло уже 9 лет. Надо вступить в единоборство с самим князем тьмы и одолеть его. Помните у Гаршина, красный цветок, в котором для безумного сосредоточилось мировое зло? Как нынешние апокалиптики видят в большевизме воплощенного антихриста, так народовольцы увидели его в царе» (*Г.П. Федотов*. Трагедия интеллигенции [1926] // Г.П. Федотов. Собр. соч. в 12 тт. Т. 4: Статьи 30-х годов / Сост. С.С. Бычков. М., 2012. С. 50, 52).

11 Гаршин в последние годы жизни был близок к семье общественного деятеля А.Я. Герда и его детям: Н.А. и В.А. (*А.М. Скабичевский.* История новейшей русской литературы (1848–1892). М., 1893. С. 361, 364, 365). Дочь Герда — Н.А. Герд — в начале 1890-х прошла полноценную школу социал-демократического подполья и агитации вместе с будущей женой Ленина Н.К. Крупской и в 1897 году стала женой П.Б. Струве.

12 Красный цветок. Литературный сборник в память В.М. Гаршина / Под ред. М.Н. Альбова, К.С. Баранцевича и В.С. Лихачева. СПб., 1889. См. также: С.Я. Надсон. Сб. СПб., 1887; Памяти В.М. Гаршина: Художественно-литературный сборник / Под ред. Я.В. Абрамова, П.О. Морозова и А.Н. Плещеева. СПб., 1889.

13 Начало её см. в изданной И.Д. Сытиным массовой брошюре «Война Ормузда и Аримана» (М., 1891), включившей в себя все признаки сборника-манифеста — идейную декларацию, социальный очерк, художественные аналогии к декларации.

политический консенсус, Евг. Андреевич (Соловьёв) (1863–1905) писал о том, во что превратился центральный образ рассказа Гаршина «Красный цветок»:

> «Только безумцы вступают в борьбу, но они не побеждают. (…) Сумасшедший рвёт цветы мака, он думает, что в красном цветке живёт всё зло мира, обагрённого кровью… (…) Для него [Гаршина] нет зла малого и зла большого, он знает лишь одно царящее зло, и этот пугающий призрак всегда пред его глазами. (…) Он жил исключительно жизнью своего сердца… Не надо никаких формул, не надо никакой правды, ограниченной и урезанной статьями и параграфами, не надо никаких укладов и строя жизни, больше всего не надо уступок неизбежности и необходимости. Нужна лишь полная свобода сердцу…»[14].

Параллельно с жизнью и мифом Гаршина, страдавшего душевной болезнью и покончившего жизнь самоубийством, в русской читающей и общественно активной публике развивался миф жизни Надсона, в те же дни боровшегося со смертельным туберкулёзом. Образу Надсона как мученика общественной правды сильно помогло сознательное конструирование в оппозиционной печати аналогии между его смертью и смертью Пушкина именно как «убийства», по словам исследователя общественной репутации поэта А.И. Рейтблата, «интерпретированного как результат столкновения с самодержавным строем». На деле смертельно больного туберкулёзом Надсона, *не называя по имени*, бранил не более чем правый публицист В.П. Буренин, но «после смерти Надсона 19 января 1887 года весьма влиятельная в литературе группа народнических и либеральных литераторов стала внушать обществу, что случившееся – повторение истории пушкинской гибели. (…) массированная кампания в ряде популярных изданий сделала свое дело. (…) Например, А.П. Чехов 8 февраля писал в письме, что Надсон “был оклеветан”, а через неделю уже упоминал о “убийстве Надсона”…»[15]. В биографическом очерке о Надсоне, неизменно сопровождавшем многочисленные стереотипные переиздания его стихотворений, говорилось, что «в газете “Новое Время” стали появляться один за другим целый ряд фельетонов г. Буренина, в которых он, не называя Надсона по имени, но уже слишком прозрачно намекая, всячески глумился на больным поэтом» и приводилось мнение его врача: «Я убежден, что умерший безвременно С.Я. Над-

14 *Евг. Соловьев (Андреевич)*. Очерки из истории русской литературы XIX века. Изд. 3-е, испр. [1-е изд. – 1903] / Вст. ст. Петра Пильского. СПб., 1907. С. 437–439.

15 *А.И. Рейтблат*. Буренин и Надсон: как конструируется миф // А.И. Рейтблат. Писать поперек: Статьи по биографике, социологии и истории литературы. М., 2014. С. 323, 334–335.

сон, несмотря на безнадежность болезни, мог бы прожить по меньшей мере до весны, или даже осени, если бы вышеупомянутый фельетон г. Буренина не был напечатан».[16] Но и в этой атмосфере поклонения главной была не просто личная судьба поэта, а и политическая судьба поэта-героя, поэта-ритора, которая мобилизовывала общественную среду.[17] Об этом ясно говорил критик:

> «Конечно, неизлечимая болезнь Надсона, — всё равно, как такие же неизлечимые болезни Гаршина и Новодворского, сыграла огромную роль в его жизни, но... не всё же объясняется одною болезнью. Драматический момент эпохи, познавшей тщету своих усилий, заменявшей веру лишь жаждой веры, сказался здесь не менее сильно. Подвиг великого отрицания (то есть прямой революционной борьбы, едва ли не террористической, как 1 марта 1881 года. — *М.К.*) оказался не под силу. Но всё же подвиг манил своим величием и суровостью, своими требованиями самоотречения...»[18].

И другой критик-современник без лишних усилий и мыслительных переходов прямо соединял атмосферу *политически мотивированной несвободой* общественной неврастении с культом героев столь же неврастенического толка: «Страх жизни — это, если хотите, болезнь, но такая болезнь, которая излечивается только лишь переменой политических, общественных, экономических

16 Семен Яковлевич Надсон (Биографический очерк) // Стихотворения С.Я. Надсона. Изд. 20-е. СПб., 1903. С. LXXX, LXXXII.

17 Даже весьма идеологичный в своих эмигрантских воспоминаниях П.Б. Струве, упорно нивелировавший свою революционность конца 1880-х — начала 1900-х годов, не мог не признаться: «Мы в юности, в гимназические наши годы пережили большой успех С.Я. Надсона (...) успех Надсона был и сознавался в свое время, как успех у гимназистов: мы сами, гимназисты и студенты того времени, читавшие и перечитывавшие Надсона, это понимали. (...) Я отчетливо помню, что, читая и декламируя Надсона, мы *возбуждались*, тогда как "Вечерними огнями" Фета, вышедшими в 1883 году, мы *наслаждались*» (*П.Б. Струве.* О Фете — прозевала ли Россия Фета? // П.Б. Струве. Дух и слово. Статьи о русской и западно-европейской литературе / [Сост. Н.А. Струве]. Paris, 1981. С. 225). Советский мемуарист также не мог отрицать влияние Надсона ещё в начале 1900-х, говоря с напускным скепсисом, что «худосочная либерально-гражданская беллетристика и не менее худосочные стишки с перепевами Некрасова и даже Надсона были тою повседневною пищею, коей питались поневоле наши интеллигенты» (*Георгий Чулков*. Годы странствий [1930] / Сост. М.В. Михайловой. М., 1999. С. 199). Ср. позднейшие эмигрантские мемуары, где описания были отлиты уже в формулы мемориала: «поэты толстых журналов подражали... Надсону, повторяя "гражданские" общие места» (*Сергей Маковский*. Портреты современников / Сост. Е.Г. Домогацкой, Ю.Н. Симоненко. М., 2000. С. 328).

18 *Евг. Соловьев (Андреевич).* Очерки из истории русской литературы XIX века. С. 440.

и нравственных условий жизни. (…) Нервная борьба эта кончается, конечно, гибелью борцов… Сходят с ума Гл. Успенский и Гаршин (…) умирают от чахотки Надсон, Новодворский, Решетников, Чехов…»[19] Их, на первый взгляд, пессимистический, почти декадентский пафос в восприятии тогдашних читателей чудесным образом превращался в пафос борьбы — и притом: *идейной борьбы*. Антипат Надсона в молодой читательской аудитории вынужден был признать постфактум (отсекая, впрочем, Чехова):

> «Я помню, как твердили, бывало, нам на всех углах журнальных, что Добролюбов, Некрасов, Писарев, Михайловский, Южаков (…) — это честные писатели, с честными идеями, а А. Григорьев, К. Леонтьев, И. Аксаков, Фет, Достоевский, Чехов, — эти без честных идей. (…) Брюсов, Бальмонт, Мережковский — все были "нечестные". Честными были Надсон… (…) их рекомендовалось читать и усваивать».[20]

Даже избалованный славой писатель Леонид Андреев (1871–1919) признавал уже в 1917 году, что в прежнее время «велико было влияние Надсона на молодежь. (…) За Надсоном, как ныне за Блоком, следовали верхи её (…) Плоха та молодежь, которая не чувствует Надсона, – сказала, если не ошибаюсь… З. Гиппиус».[21]

При этом Надсон, при всей позднейшей репутации недостаточно революционного ипохондрика, на деле давал достаточно материала для революционной риторики. Несмотря на нередкий скепсис революционных критиков в отношении Надсона, проверявших общественный идеал его поэзии на предмет соответствия риторике революционных песен, следует признать, что общественный идеал Надсона, явленный в его стихотворениях, был вполне революционным. Вот лишь несколько примеров из стихотворений Надсона, внешне превращённые в рядовой агитационный текст:

> «Сколько лживых фраз, надуто-либеральных, Сколько пестрых партий, мелких вожаков, Личных обличений, колкостей журнальных, Маленьких торжеств и маленьких божков!.. (…) А вопрос так прост: отдайся всей душою На служенье братьям, позабудь себя И иди вперед, светя перед толпою, Поднимая павших, веря и любя!..» (1881)

19 *Н.Я. Абрамович.* Страх жизни [1907] // Н.Я. Абрамович. Подполье русского интеллигентства (О тупиках русского интеллигентского сознания). М., 2012. С. 64–65.

20 *Сергей Дурылин.* В своем углу / Сост. В.Н. Тороповой. М., 2006. С. 824.

21 *Л. Андреев.* Надсон и наше время (К 30-летию со дня кончины) / Публ. В. Чувакова и А. Руднева // Вопросы литературы. М., 1994. Вып. III. С. 277.

«Так вот она, «страна без прав и без закона»! Страна безвинных жертв и наглых палачей. Страна владычества холопа и шпиона И торжества штыков над святостью идей!» (1883)

«…томясь в цепях, Порабощенная, несчастная Россия… В лохмотьях нищеты, истерзана кнутом, Покрыта язвами, окружена штыками…» (1885).

«Она не спит, твоя родная сторона, Она готовится к решительному бою! Все честные сердца кругом потрясены… Растет народный гнев, как буря в океане… (…) Пускай же песнь твоя, как отдаленный гром, Грядущую грозу свободно возвещает» (1884).

Ясно, что все эти слова громом звучали в годы реакции. Но в политической публицистике С.Н. Булгакова даже в начале революционного 1905 года всё ещё звучал голос Надсона. В статье, посвященной Кровавому воскресенью 9 января 1905-го, Булгаков с особым смыслом цитировал Надсона: обходя цензурный запрет на описание Кровавого воскресенья, Булгаков выносил в заголовок общеизвестное для сотен тысяч тогдашних читателей Надсона: *Нет на свете мук сильнее муки слова*.[22] И делал это потому, что вслед за этой первой строфой надсоновского стихотворения «Милый друг, я знаю, я глубоко знаю…» (1882) («Нет на свете мук сильнее муки слова») для каждого читателя Надсона, несомненно, звучала последняя строфа: «Под грозой борьбы и пред лицом страданья… Брат, я не хочу, я не могу молчать!..». Таков был революционный призыв Булгакова словами Надсона.

Более сложным был «революционный путь» Чехова.

На смерть Чехова Булгаков в конце 1904 года отозвался публичной лекцией «Чехов, как мыслитель», в которой амплуа *гражданской скорби* Гаршина и Надсона, похоронившей революцию, но сохранившей революционные надежды, всем усилием своей тогдашней эстрадной популярности, особенно в среде студенчества, превратил в амплуа *мировой скорби* Чехова,[23] напротив, рождающей новые революционные надежды. Булгаков говорил фактически о принципиальном отличии старой революционности и новой, начинавшейся тогда революции:

22 *С. Булгаков*. Без плана: (…) Нет на свете мук сильнее муки слова // Вопросы Жизни. СПб., 1905. № 1.

23 «Настроение Чехова должно быть определено как мировая скорбь в полном смысле этого слова…» (*С.Н. Булгаков*. Чехов как мыслитель [1904, 1910] // С.Н. Булгаков. Сочинения в 2-х тт. Т. 2. Избранные статьи / Сост. И.Б. Роднянской. М., 1993. С. 145).

«В начале литературного поприща Чехову доставалось от современной критики за беспринципность, т.е. за то, что его литературная деятельность оставалась чужда всякого интеллигентского “направления” (известно, что подобными упрёками грешил тогда даже покойный Михайловский), в последнее время за Чеховым признано было “направление”, ему было выдано свидетельство о литературной благонадёжности… (…) Русская художественная литература — философская par excellence. В лице своих титанов — Толстого и Достоевского — она высоко подняла задачи и обязанности художественного творчества, сделав своей главной темой самые глубокие и основные проблемы человеческой жизни и духа. (…) Чехов является достойным выразителем этих лучших традиций нашей литературы, многое роднит его с обоими её корифеями, и после них он является писателем наибольшего философского значения. (…) В произведениях Чехова ярко отразилось это искание веры, тоска по высшем смысле жизни, мятущееся беспокойство русской души и ее больная совесть. (…) Самым ярким и замечательным произведением Чехова, в котором наиболее отразилась указанная особенность его творчества, нам представляется “Скучная история” *(её поставил в центр своего некролога, публикуемого ниже, и Бердяев. — М.К.)*. (…) Наша литература выставила ряд великих гуманистов, мы имеем Достоевского, Толстого, Гаршина, Гл. Успенского, и к их почётному лику достойно причтется имя Чехова. (…) Тема “Чехов как мыслитель” логически как частность включает в себя и тему “Чехов как гражданин”: с этой стороны Чехов… далеко ещё не нашёл себе согласно и общепризнанной оценки. (…) Чехов представляется нам не только великим художником, но и отзывчивым гражданином, и пламенным патриотом…»[24].

О фактически революционном смысле того, чему Булгаков придал характер *мировой скорби*, позже, накануне «Вех» полемизируя с Д.С. Мережковским о попытках религиозного оправдания традиционной интеллигентской безрелигиозной революционности, специально писал Струве, невольно разъясняя для нас теперь природу революционной репутации Чехова. Имя этой репутации — *оправдание личного подвига*. Все современники логично ставили Чехова рядом с Толстым. И потому отдельная, гигантская для русской революции фигура Льва Толстого — в описании Струве — многое проясняет. Струве против религиозной контрабанды Мережковского в революционном движении, но был вынужден признать:

24 *С.Н. Булгаков*. Чехов как мыслитель. С. 132–133, 136–137, 143, 155.

> «Толстой религиозно отрицает государство, во имя личного подвига отвергая общественность. В этом огромная, неизмеримая разница между русской "интеллигенцией" и Толстым. С лёгкой руки Владимира Соловьёва, Волжского, Мережковского религиозность русской революционной "интеллигенции" стала общим местом, но не сделалась от этого истиной».[25]

Финал названной лекции Булгакова 1904 года — со всеми оговорками продиктованный политической цензурой и мыслительной традицией эзопова языка — звучал как прямой призыв к революции во имя морального суда и покаяния:

> «Антон Павлович ушёл от нас в тяжёлую, чреватую грядущими событиями годину. Давно уже слышатся глухие подземные удары. Восточную сторону неба охватило багровое зарево всё разгорающегося пожара. По слову Гегеля, всемирная история есть всемирный суд, и наступили дни суда над нашей родиной. Будем верить, что эти дни исторического покаяния приведут к национальному возрождению, что мы переживаем болезнь народного роста, а не слабости и упадка, муки родов, а не предсмертные судороги».[26]

Итак, свободная от партийности фигура гуманиста Чехова помогала Булгакову отделить его образ от присущего Гаршину и Надсону образа певца *гражданской скорби* в пользу явно рифмующейся с ней *мировой скорби*. И *мировая скорбь* — как переживание мировой несправедливости — ясно вводила в контекст общественной борьбы марксистский лозунг *мировой революции*. Именно поэтому *муки родов* в устах бывшего марксиста Булгакова и в сознании слушавшей его лекцию оппозиционной аудитории в Ялте и Санкт-Петербурге, прошедшей школу марксистской и вообще социалистической агитации, безальтернативно означали только призываемую Булгаковым революцию. Общеизвестным для аудитории было то, что Карл Маркс писал в своём «Капитале» (том 1, глава 24, §6): «Насилие является повивальной бабкой (акушеркой — *М.К.*)[27] всякого старого общества, когда оно беременно новым». И так аналогия

25 *П.Б. Струве.* Спор с Д.С. Мережковским. 1. Первый ответ // П.Б. Струве. Patriotica: Политика, культура, религия, социализм [1911]. М., 1997. С. 72 (24 февраля 1908).

26 *С.Н. Булгаков.* Чехов как мыслитель. С. 160–161.

27 Струве в ноябре 1909 года назвал П.А. Столыпина, начавшего буржуазную аграрную революцию, как «революцию сверху», «акушером мелкой личной собственности» (*П.Б. Струве.* 17 октября 1909 г. // П.Б. Струве. Patriotica: Политика, культура, религия, социализм [1911]. М., 1997. С. 151).

родов и *революции* жила в революционной среде. Ярче всего эту аналогию договорил до экспрессионистического образа В.И. Ленин. Призывая свою партийную интеллигенцию к революционному мужеству, уже правящий Ленин в статье «Пророческие слова» (29 июня 1918 года), отталкиваясь от энгельсовского описания будущей всемирной (революционной) войны, подробно развил названный образ:

> «…революцию следует сравнивать с актом родов (…) Рождение человека связано с таким актом, который превращает женщину в измученный, истерзанный, обезумевший от боли, окровавленный, полумертвый кусок мяса. (…) Роды бывают легкие и бывают тяжелые. Маркс и Энгельс, основатели научного социализма, говорили всегда о долгих муках родов, неизбежно связанных с переходом от капитализма к социализму».[28]

Булгакову, несомненно, принадлежит приоритет в помещении Чехова в такой революционный контекст. Но он, как известно, не был первым, кто поставил Чехова на службу революционной марксистской пропаганде.

Ко времени выхода в свет новонайденной и публикуемой ниже статьи Бердяева — получившего начальную славу как автор книги о Н.К. Михайловском с обширнейшим предисловием Струве — была переиздана и пребывала в продаже в составе авторского сборника Струве его давняя громкая статья о Чехове, которая вызвала известную полемику с Михайловским.[29] Здесь Струве, первым в русской марксистской критике анализируя творчество Чехова, демонстративно утверждал две внешне конфликтующие шкалы для его оценки: (1) обнаруживал в повести «интеллигентского» писателя глубокий социальный анализ того, как капиталистический город оставляет традиционную деревню позади человеческого прогресса (прямо против надежд народников на неё как источник прогресса)[30], и (2) скандально для революционера и марк-

28 *В.И. Ленин*. Полное собрание сочинений. Т. 36. М., 1974. С. 476.

29 *П. Струве*. «Мужики» г. Чехова [1897] // Петр Струве. На разные темы (1893–1901 гг.). Сб. статей. СПб., 1902 (Ср.: *П.Б. Струве.* Скорбь. Памяти А.П. Чехова // П.Б. Струве. Дух и слово. Статьи о русской и западно-европейской литературе / [Сост. Н.А. Струве]. Paris, 1981). Повесть Чехова «Мужики» была опубликована в журнале «Русская Мысль» (1897). К сожалению, статьи Струве о Чехове не вошли в наиболее полную современную антологию русской критики о Чехове: А.П. Чехов: pro et contra. Творчество А.П. Чехова в русской мысли конца XIX — начала XX века (1887–1914): Антология / Сост. И.Н. Сухих. СПб., 2002.

30 Говоря о попытках изображения в художественной литературе культурного «превосходства города над деревней», Струве резюмирует: «…задача его [Чехова] состояла в том, чтобы правдиво и ярко показать расстояние [между городом и деревней

циста декларировал особую идейную свободу искусства, которую, однако, рассматривал как дополнительный ресурс в борьбе за общественную свободу. Струве писал:

> «Я совсем не сторонник тенденциозного искусства, а поучающее и морализирующее искусство считаю прямо самым плохим родом, хуже которого только скучный. Но искусство должно воспроизводить жизнь во всей её глубине и силе, со всеми совершающимися в ней переменами, перекрещивающимися и борющимися течениями и идеями. Есть идеи в жизни, их не может не быть в литературе. Есть в жизни *руководящие* идеи, должны быть они и в беллетристике».[31]

В дальнейшей полемике с Михайловским (также переизданной в 1902 году) Струве прямо защищал «общественное» звучание Чехова и, вероятно, впервые примерял к русскому практическому марксизму формулу практического (ещё более психологического, но столь ясно выраженного Гаршиным, Надсоном и Чеховым) и философского идеализма:

> «…мы не только реалисты, мы также идеалисты и идеализаторы. Идеализаторы, но не романтики, потому что идеализируем не прошлое, а силу, растущую в современной действительности. (…) в Марксе — обаятелен синтез “науки” и “порыва” (…) его идеал представляет наиболее удовлетворяющее современному научному духу соотношение “свободы” и “необходимости”. Необходимость, это — “наука”; свобода, — это “порыв”. Безразлично, как примирят свободу и необходимость — на почве ли метафизического учения Гегеля, как это делали Энгельс и Маркс и делают большинство марксистов, или на почве критической конструкции в духе гносеологического монизма».[32]

Представляется, что в день смерти Чехова главной руководящей идеей общественной жизни России для Струве и Бердяева, явленной в их совместном с Булгаковым, Франком и другими сборнике статей «Проблемы идеализма»

в культурном отношении], и эта задача выполнена блестяще; так блестяще и вообще талантливо она выполнена в *первый раз* в русской литературе». С такой оценкой Струве выступил против критиков-народников, осудивших Чехова за критическое изображение крестьянства (*П. Струве*. «Мужики» г. Чехова. С. 131–132, 142).

31 *П. Струве*. «Мужики» г. Чехова. С. 122.

32 *П. Струве*. «Мужики» Чехова и г. Михайловский [1897] // Петр Струве. На разные темы (1893–1901 гг.). Сб. статей. СПб., 1902. С. 145.

(1902), была идея объединения русского социал-либерального освободительного движения в борьбе за политическую свободу на *идеалистической основе* (так называемого «идеалистического направления»[33]), идеалистического соединения либерального «естественного права» с требованиями социал-демократического социализма. Важным моментом в этом союзе было утверждение вечной независимости социалистического идеала от материальных средств его достижения, которое должно было бы обеспечить борьбе за политическое освобождение России от самодержавия и социальное освобождение от капитализма и остатков феодализма — глубину борьбы за принципиальное духовное освобождение человечества.

Насколько успешно творчески продолжал в сознании интеллигенции былой революционный борющийся пафос Гаршина и Надсона скептический и ищущий Чехов, единого мнения у социалистических публицистов не было. Близкий к марксистам Евг. Андреевич отрицал такую способность Чехова:

> «Семидесятники [революционеры-народовольцы 1870-х, организаторы убийства Александра II] звали к борьбе. Они обращались к совести людей, их чувству стыда, любили говорить о расплате с народом за вынесенное им в прошлом, за выносимое в настоящем (…) они обращались всегда к лучшему, что есть в человеке, старались внушить ему веру в себя и свои силы, направленные на борьбу со злом. Но когда оказались расхищенными и природа, и вера в народ, — на сцену выступили другие мотивы и, прежде всего, мотивы одиночества и непосильной борьбы. Их-то и взял себе Чехов. Призыва к борьбе у него нет».[34]

Но бывшие идейные марксисты, а теперь — социалисты круга «Проблем идеализма» Струве, Бердяев, Булгаков, Франк[35] — полагали, видимо, достаточ-

33 О нём см. специально: *М.А. Колеров*. Сборник «Проблемы идеализма» (1902): история и контекст. М., 2002. Откровенную политическую декларацию об этом см. в настоящей книге: П.Б. Струве о «Проблемах идеализма»: *П.С.* О чем думает одна книга? (1903).

34 *Евг. Соловьев (Андреевич)*. Очерки из истории русской литературы XIX века. С. 515.

35 «Известно, какой отпечаток наложила на настроение и творчество Чехова реакция 80-х гг. — тот ужасный период, когда самодержавию на время удалось подавить и развратить русское общество. Чеховские типы (…) послужат будущему историку лучшей иллюстрацией для темы, которая будет озаглавлена: *растлевающее влияние самодержавия на русскую жизнь*. Но ещё выше этого исторического значения стоит общественно-этическое значение Чехова. Великий искатель цельной правды, он подсматривал своим острым художественным чутьем оттенки фальши, недоговоренности и половинчатости даже в лучших стремлениях той русской интеллиген-

ными призывы Чехова к высшим ценностям, чтобы они стали знаменем общественной борьбы. Близкий к Булгакову критик, также прошедший революционную школу, Волжский давал понять, что призывом к борьбе становилось уже само по себе стремление к идеалу:

> «Страх обыденщины… является одним из самых слышных мотивов Чеховского настроения, его лейтмотивом; в нем художник стремится подняться над плоскостью действительности к высотам идеала… Но Чехов не одинок в этом отношении в русской литературе. (…) Мотив этот можно уловить уже у Гоголя …он явственно слышится в глубоком психологическом анализе Л. Толстого… не совсем заслонен этот страх обыкновенного… у Достоевского; его можно подсмотреть в ярко блещущих картинах Тургенева… вплотную подходил к этой теме и Салтыков (…) ею томился Глеб Успенский… мучительно болел болью этих вопросов и Вс. Гаршин».[36]

> «Изнуряющее противоречие страшного конфликта идеала и действительности… всегда жило в творчестве Чехова, сказываясь то благородным возмущением идеалистических порывов (“Нет, так дальше жить нельзя”), то бессильными попытками примириться со страшной властью обыденщины…»[37].

На фоне такой традиции культ и не самых крупных творческих лиц Гаршина и Надсона был явственно *политическим*. До 1905 года, то есть в глубине реакции и отнюдь не в рядах революционеров, правый публицист и художественный критик, отстаивавший свободу искусства от политического направленства, а затем — радикальный обновитель русского радикализма с помощью свободной эстетики и религиозности, Д.В. Философов и после 1905 года вынужден был признать, что литературные вкусы публики более всего формировались не художественными, а общественными качествами литературных

ции, к которой сам принадлежал. (…) воздать должное этой могиле мы можем лишь тем, что дадим твердый зарок — мужественно и непоколебимо стоять за правду, так чтобы и в личной нравственной жизни, и в великой общественной борьбе наших дней слово никогда не расходилось у нас с делом, дело не отставало от слова» (*М.А. Колеров*. Новые публикации документов по истории русской мысли. Часть 2 // История. Научное обозрение OSTKRAFT. № 2. М., 2018. С. 141 (С.Л. Франк о смерти Чехова: *Н-ч*. Памяти А.П. Чехова (1904)).

36 *Волжский*. О мотивах страха смерти и страха жизни. Леонид Андреев // Волжский. Из мира литературных исканий. СПб., 1906. С. 198–199.

37 *Волжский [А.С. Глинка]*. На могилу Антона Павловича Чехова [1904] // Волжский. Из мира литературных исканий. СПб., 1906. С. 186.

текстов. И в 1910 году Философов писал, что по-прежнему публика игнорирует (если может отличить) низкое литературное качество стихов Надсона и прозы Чернышевского: «Надсон всё ещё выше Тютчева, а “Что делать” — “Соборян”…»[38]. Исследователь Философова описывает характерную публичную полемику 1909 года, когда литературный критик К. Чуковский чуть не был подвергнут остракизму за недостаточно уважительные отзывы о Гаршине, и цитирует газетное изложение позиции защитников Гаршина: «Разве можно трогать литературу! Литературу трогать нельзя! Разве можно трогать Гаршина!»[39] Ясно, что для общественно активной части читателей образцовая литература и была литературой Гаршина и Надсона, а не литературой эстетической красоты.

Первой, ускользнувшей из внимания библиографов, публикации новонайденной статьи Бердяева редакция крупной киевской газеты «Киевские Отклики», внутриполитическую и идеологическую часть которой вёл известный социалистический публицист и оппонент Бердяева и сборника «Проблемы идеализма» Марк Борисович Ратнер (1871–1917)[40], предпослала уведомление: «Помещая настоящую статью о Чехове в виду интереса, ею представляемого, редакция в то же время считает своим долгом заявить, что она не разделяет воззрений автора». То есть социалистическая редакция неосторожно заявила, что её буквально ничего, в том числе социализм и любовь к Чехову, не объединяет с Бердяевым. Настолько остра была полемика над могилой Чехова между теми, кто искал в его творчестве санкции для революционной и духовной борьбы, как Бердяев, и теми, кто её там не искал.

38 *Д.В. Философов.* П.Д. Боборыкин (1860–1910 гг.) // Д.В. Философов. Критические статьи и заметки, 1899–1916 / Сост. О.А. Коростелев. М., 2010. С. 377.

39 *О.А. Коростелев.* Примечания // Д.В. Философов. Критические статьи и заметки, 1899–1916. М., 2010. С. 610. Коллега Философова свидетельствовал, что публика обычно пренебрегала лирической и художественной стороной поэзии Надсона, видя в нем лишь того, кто «привык твердить в своих гражданских стихах, что нужно «идти в бой с тяжелой мглой»» (*П. Перцов.* Литературные воспоминания 1890–1902 гг. М.; Л., 1933. С. 179).

40 См. о дискуссии между Бердяевым и М.Б. Ратнером о «Проблемах идеализма», в которой Бердяев так определил свой общественный идеал: «…без признания категории “свободы” социальный идеал не может быть обоснован» (Литературно-Артистическое Общество // Киевские Отклики. Киев. № 29. 19 декабря 1903 года. С. 3).

Приложение

Николай Бердяев. Памяти А.П. Чехова (1904)[41]

Умер Чехов… и оторвался от нас кусок нашей плоти и образовалась рана, которая долго, долго будет сочиться… Он вошел к нам незаметно, тихо в течение нескольких десятилетий росла его писательская слава и, наконец, он сделался для нас бесконечно родным и дорогим, так что мы даже не всегда достаточно сознавали, что среди нас живет настоящий великий писатель, достойный занять место рядом с величайшими русскими писателями прошлого. Да, со смертью Чехова ушел огромный художественный талант, самый крупный в русской литературе, если не считать, конечно, Л. Толстого, и для литературы русской эта потеря огромная, ушла ее гордость; но не этим только определяется та особенная тихая печаль, которую вызовет смерть Чехова у огромной части интеллигентных русских людей. В творчестве Чехова отразилась русская интеллигентная душа, ее печаль и томление. Много лет подряд русское читающее общество, интеллигентное и полуинтеллигентное, привыкло слушать от Чехова грустную повесть о себе, в которой говорилась самая страшная, неподкрашенная правда, и это обратилось в нашу потребность, нам так трудно представить себе, что никогда уже не раздастся его милый голос, полный родной для нас печали.

Своеобразный писательский облик Чехова сложился в 80-х годах, в эпоху усталости и разочарования. И Чехов сделался певцом тоски средних вершин русской интеллигенции; несоответствие между запросами и сожалениями (sic! — *М.К.*)[42] интеллигента, входящего в жизнь, и серой, засасывающей силой пошлой обывательской жизни, этот трагизм повседневной жизни сделался основным мотивом чеховского творчества. Об этом много говорилось всеми критиками и в этой своей заметке я не предполагаю на этом останавливаться, а хочу указать на менее, может быть, заметную, но более глубокую и наиболее для нас дорогую черту Чехова, которая делает тоску его философской и религиозной, и поставить его в ряду великих истинно национальных наших писателей.

В 90-х годах происходит перелом в настроении, общественная атмосфера меняется, забилась новая жизнь и послышались новые цели.

41 Киевские Отклики. Киев. № 227. 17 августа 1904. С. 2.

42 Вероятно, ошибка наборщика и правильно должно быть: «пожеланиями». — *М.К.*

Но глубочайшая основа этой точки останется, так как источник ее не во внешних условиях жизни; вот об этом я бы и хотел сказать несколько слов. Ничем, думается мне, нельзя так почтить памяти Чехова, как напоминанием о величайшей его вещи, которая одна сделала бы его великим писателем, о его «Скучной истории», которая и будет иллюстрацией нашей мысли.

Герой «Скучной истории», знаменитый профессор, принадлежит к вершинам интеллигенции, он победитель жизни. «Мечты мои сбылись, — говорит он. — Я получил больше, чем смел мечтать. Тридцать лет я был любимым профессором, имел превосходных товарищей, пользовался почетной известностью. Я любил, женился по страстной любви, имел детей. Одним словом, если оглянуться назад, то вся моя жизнь представляется мне красивой, талантливо сделанной композицией. Теперь мне остается только не испортить финал». И вот финал оказался ужасным: «все гадко, не для чего жить, а те 52 года, которые уже прожиты, следует считать пропащими». Человек прожил жизнь, наполненную любимым делом и делом, которое принято считать высоким и, может быть, даже высочайшим: посвятить жизнь науке, любить ее больше всего, быть в первых рядах научных работников, добиться славы и признания, что может быть прекраснее и выше! А под конец жизни, оглядываясь назад, ученый профессор, известный всей России, завоевавший себе всё и счастливый, по обыденным представлениям испытывал неизъяснимую тоску, вся жизнь его, эта «красиво, талантливо сделанная композиция», представляется ему бессмысленной. Тоска гложет не только разбитых жизнью, не нашедших себе призвания, но и устроившихся в жизни (в хорошем смысле этого слова), реализовавших свои дарования, отдавших себя работе, значение и ценность которой признают все. В чем же трагедия этого профессора, почему от рассказа его веет такой странной тоской, почему жизнь его, полная содержанием и успехами, действительно «скучная история»?

Эта «скучная история» производит необыкновенно сильное впечатление и тут затронута тема глубочайшая. Знаменитый профессор говорит, что его судьба костного мозга интересует более, чем конечная цель мироздания. В этом разгадка, почему жизнь для этого человека была, в конце концов, бессмысленна и почему такая тоска охватила его в финале жизни. «И сколько бы я ни думал, и куда бы ни разбрасывались мои мысли, для меня ясно, что в моих желаниях нет чего-то главного, чего-то очень важного. В моем пристрастии к науке, в моем желании жить, в этом сидении на чужой кровати и в стремлении познать самого себя, во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то общего, что связывало бы все это в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут в мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, театре, литературе, ученых и во всех картинах, которые рисует мое

воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей, или *богом живого человека*».[43] Это уже тоска по Боге, по смыслу жизни, которого нельзя найти в ее процессе и в ее завоеваниях. Для чеховского профессора наука была «отвлеченным началом»,[44] оторванным от живого сознания смысла жизни, науки своей он не умел связать с единой и верховной целью жизни, она могла наполнить жизнь, но скорее парализовала мучительный вопрос о смысле жизни, чем осмысливала ее. Интерес к «судьбе костного мозга» помешал выработать «общую идею», которая была бы солнцем жизни. Это настоящая трагедия позитивизма. Попытка заменить Бога наукой приводит к тоске безысходной, пустота от отсутствия религиозного сознания смысла жизни не может быть ничем заполнена. Тут Чехов подымается над временной общественной обстановкой и говорит о той вековечной тоске, с которою нельзя справиться одним внешним переустройством жизни. Этот мотив можно было бы проследить и на многих других произведениях Чехова. Нам особенно дорог этот глубокий идеализм Чехова, хотя и выраженный в отрицательной форме.

Покойного великого писателя часто упрекали в том, что у него нет положительных идеалов, но упрек этот всегда мне казался очень странным. Чехов великий художник и не обязан быть проповедником и обыкновенным моралистом, но он учил нас правде в потрясающей по своей простоте и искренности форме. Трудно указать писателя более смелого в своей правдивости. Если он не преподавал нам готовых идеалов, то потому, что и не мог довольствоваться малым, как многие другие. Тоска и томление по общественной правде и религиозному смыслу жизни, разлитые по всем художественным творениям Чехова, делают его продолжателем великих заветов русской литературы и создадут ему вечную память. Говорят, Чехов усиливал тоску жизни, но как сильна будет наша тоска по Чехове.

43 [Примечание Н.А. Бердяева:] Курсив мой.

44 [Примечание Н.А. Бердяева:] Термин Вл. Соловьева.

Предшественник образа-теории В.А. Маклакова о «безумном шофёре» монархии: *Е.Н. Трубецкой* «Поучительная катастрофа» (1905)

Число столь же знаменитых политических текстов, как статья либерального деятеля В.А. Маклакова (1869–1957) о «безумном шофёре» (1915), в русской традиции невелико. Статья Маклакова по праву вошла, наполовину процитированная, даже в краткий курс истории Февральской революции (1967), самыми широкими мазками написанный русским эмигрантом Г.М. Катковым. В ней привыкли видеть публичный манифест радикального антимонархического заговора, равный известной речи П.Н. Милюкова (1859–1943), описавшей политику царского режима как «глупость или измену» (1916).

Однако современный исследователь, следящий за политической активностью Маклакова в 1915 году, не находит в ней взрывов радикализма, а напротив — находит в ней линию умеренного вхождения во власть. И эта линия самим своим образным строем противоречит художественному строю его статьи. Авторитетный историк воспроизводит единовременное событиям описание Маклакова как «защитника реальной политики» и цитирует его же другую политическую статью от 2 июля 1915 года, в которой тот вполне умеренно писал: «Народное представительство не поведет сейчас спора о *власти*; но оно должно иметь возможность надзора за *управлением*».[1] И не тратит усилий на анализ статьи о «безумном шофёре». Может быть, потому, что стержень её состоит не в прикладной политике, а в самодостаточном образе борьбы за власть, которому в жертву приносятся тактические детали.

1 *Ф.А. Гайда.* Власть и общественность в России: диалог о пути политического развития (1910–1917). М., 2016. С. 341, 414.

Дело в том, что в названной хрестоматийно известной статье Маклакова — на этот раз 27 сентября 1915 года — был дан полноценный *образ-теория*[2], в котором весьма прозрачным эзоповым языком говорилось о необходимости ликвидации монархии («безумного шофёра») ради спасения государственности и самой России («автомобиля» и едущей в нём «матери»). И сей образ давно, непосредственно в ходе последовавших за нею событий, был признан красноречивым свидетельством решительности намерений либеральной оппозиции и глубины кризиса монархии. Уже из самого образа следовало, что перемена высшей власти, то есть «шофёра», оказавшегося «безумным», на полном ходу государственной машины, без её остановки и замена его на людей, которые «умеют править», — дело совершенно реалистичное, не подвергаемое сомнению. Текст статьи В.А. Маклакова хорошо известен, но мал по объёму, что позволяет полностью повторить его здесь для удобства изложения:

> «Вы несетесь на автомобиле по крутой узкой дороге; один неверный шаг — и вы безвозвратно погибли. В автомобиле — близкие люди, родная мать ваша. И вдруг вы видите, что ваш шофер править не может; потому ли, что он вообще не владеет машиной на спусках или он устал и уже не понимает, что делает, но он ведет к гибели и вас, и себя, и если продолжать ехать, как он, перед вами — неизбежная гибель.
>
> К счастью, в автомобиле есть люди, которые умеют править машиной; им надо поскорее взяться за руль. Но задача пересесть на полном ходу нелегка и опасна; одна секунда без управления — и автомобиль будет в пропасти. Однако выбора нет — и вы идете на это. Но сам шофер не идет. Оттого ли, что он ослеп и не видит, что он слаб и не соображает, из профессионального самолюбия или упрямства, но он цепко ухватился за руль и никого не пускает. Что делать в такие минуты?
>
> Заставить его насильно уступить свое место? Но это хорошо на мирной телеге или в обычное время на тихом ходу, на равнине; тогда это может оказаться спасением. Но можно ли делать это на бешеном спуске, по горной дороге? Как бы вы ни были и ловки, и сильны, в его руках фактически руль, он машиной сейчас управляет, и один неверный поворот или неловкое движение этой руки — и машина погибла. Вы знаете это, но и он тоже знает. И он смеется над вашей тревогой и вашим бессилием:

2 Понятие *образа-теории* я применяю в развитие удачного понятия П.Б. Струве *теория-афоризм*, введённого им в научный оборот в конце его жизни. См.: *П.Б. Струве*. С.П. Шевырев и западные внушения и источники теории-афоризма о «гнилом» или «гниющем» Западе. Изыскания, сопоставления и материалы // Записки Русского научного института в Белграде. Белград, 1940. Вып. 17.

> "Не посмеете тронуть!" Он прав: вы не посмеете тронуть... Более того, вы постараетесь ему не мешать, будете даже помогать советом, указанием, действием. Вы будете правы — так и нужно сделать. Но что будете вы испытывать при мысли, что ваша сдержанность может все-таки не привести ни к чему, что даже и с вашей помощью шофер не управится, что будете вы переживать, если ваша мать при виде опасности будет просить вас о помощи и, не понимая вашего поведения, обвинять вас за бездействие и равнодушие?»[3]

В этом образе-убеждении можно увидеть общую психологическую природу либерально-генеральского переворота — Февральской революции 1917 года. В самой сердцевине своих претензий на власть либералы исходили, видимо, из того убеждения, что государственный механизм императорской России, включая его армию и территориальное управление, продолжит функционировать автоматически и без сбоев, позволяя либералам и революционерам проводить самые решительные перемены.

Впрочем, уже в 1918 году в сборнике «Из глубины» друг университетской юности В.А. Маклакова 1890-х годов С.Н. Булгаков (1871–1944)[4], ставший ещё в начале 1910-х годов монархистом, в диалогической форме представил толкование этого образа, который ясно демонстрировал практический крах «умеющих править»:

> *«Дипломат. (...)* Как политик, я не закрываю глаз на слабости и ошибки кадетов, на их неустойчивость и вечное оглядывание налево, — ведь им приходится бороться с теми же закоренелыми русскими предрассудками и в своей собственной среде. Однако это есть все же единственная партия в России, имеющая политический разум.
>
> *Генерал*. Вот именно этого-то они и не имеют. Ничего они в России не понимают и не видят дальше своего носа. Разве они понимали когда-нибудь, что значит царская власть для России, вообще власть "милостью

3 *Василий Маклаков*. Трагическое положение. Безумный шофёр // Русские Ведомости. № 221. 27 сентября 1915 года.

4 Об этом есть прямое свидетельство самого Маклакова. Маклаков и Булгаков вместе входили в «кружок саморазвития» психиатра Г.И. Россолимо (*В.А. Маклаков*. Из воспоминаний. Нью-Йорк, 1954. С. 183). Их общим близким знакомым был соученик Маклакова по семинарию медиевиста П.Г. Виноградова, его секретарь М.О. Гершензон. В 1920 году Булгаков и Маклаков интенсивно общались в последний месяц существования белого Крыма, причем Булгаков детально выспрашивал у масона Маклакова подробности о роли масонов в революциях 1917 года. Об этом в настоящем сборнике: *М.А. Колеров*. Призывал ли о. Сергий Булгаков к еврейским погромам в 1920 году?

Божией"? Этого в их шпаргалках не значится... (...) Для них, изволите ли видеть, вопрос о главе государства в России не имеет принципиального значения, а только практическое. Это судят так русские государствоведы с политическим разумом... (...)

Ведь не дети же мы: отлично понимали, что значит и этот "прогрессивный думский блок" с октябристским рамолисментом по кадетской указке, и вся эта мобилизация общественности с ее невыносимой шумихой. Да если бы они понимали что-нибудь в России, они знали бы, какую ставку делают, шипя о "перемене шофера", по подлому тогдашнему выражению.

Общественный деятель. Да и вы не стесняетесь в выражениях.

Генерал. Я старый солдат и дипломатничать не люблю. Я помню хорошо все эти разговоры с ними уже накануне революции. Рассуждали о том, насколько безболезненно пройдет для армии и страны "перемена шофера". И я, неисправимый романтик самодержавия, утопист, чувствовал себя единственным трезвым среди исступленных. Они вообразили, что переменить помазанника Божия можно и впрямь, как извозчика, и что, переменив, они и поедут, куда желают. Вот и поехали!..»[5]

Уже в эмиграции, перед лицом власти большевиков, этот образ *шофёра-автомобиля* угас, целиком переместившись в область воспоминаний.[6] Ясно, что художественная природа образа здесь доминирует, но анализ её структуры оказывается сложнее простой апелляции к русскому эзопову языку, где

5 *С.Н. Булгаков*. На пиру богов. Pro и contra. Современные диалоги (Диалог второй). Этот текст Булгакова был неоднократно издан отдельно от сборника «Из глубины» и потому не разделил его печальную издательскую судьбу и был хорошо известен читателям. См.: *М.А. Колеров*. С.Н. Булгаков редактирует «Из глубины»: «На пиру богов» (1918–1920) // Тетради по консерватизму. 2018. № 1. См. также ценное признание об интимном переживании Булгаковым (который в 1910-е годы стал монархистом) обречённости монархии вкупе с образом её автомобиля: «Проводя лето обычно в Крыму, под Ялтой, он [Булгаков] не раз сталкивался с автомобилем царя, внезапно налетающим из-за поворота, и вид этого уже обреченного человека — злой судьбы России — пробудил в нем безмерную жалость-влюбленность. Всеми навыками радикальной политической мысли он знал неизбежность революции и гибели царизма, но сильнее этого изнутри жгло его чувство к несчастному помазаннику. При разговорах о царе — а возникали они тогда непрестанно — он болезненно морщился, но иногда (...) он отдавался не только муке, но и сладости этого чувства. В его думах о России, ее судьбе, судьбе царя был безумящий его хмель — что-то общее с хмельными идеями Шатова» (*Евгения Герцык*. Воспоминания / Сост. Т.Н. Жуковская. М., 1996. С. 175).

6 Некоторое прямое политическое развитие этот образ получил в названии публицистической брошюры, трактовавшей уже о новой, послеоктябрьской власти: *М. Горелов*. Чорт за рулём! Заметки о большевизме. Берлин, 1920.

у политического зла самодержавия есть свой традиционный творческий псевдоним, а у противостоящих ему сил прогресса и добра — свой.

В случае же с идейно-философским творчеством Маклакова легко увидеть не только традиционные штампы освободительного движения, но и следы интенсивного влияния Льва Толстого, к которому в последние годы его жизни Маклаков был лично и семейно близок и к фигуре которого в годы своей эмиграции неоднократно обращался. Именно в публицистическом творчестве Л. Толстого 1900–1910 годов особенно распространены квалификации действий правительства, власти и государства в целом как «безумных», существующего порядка вещей как «безумия». Но наследие Толстого лишено понимания системы власти как машины-механизма: оно просто противоречит его органическому представлению о мире. Поэтому, вдохновляясь обличением «безумия» власти в трудах Толстого, Маклаков должен был бы применить к своей проповеди не только морализирование Толстого, но и позитивистский штамп о государственном механизме как машине. Поэтому предметом настоящей штудии является выявление более близкого и точного образного предшественника этого образа-теории В.А. Маклакова, остающегося вне исследовательского внимания. Это, с одной стороны, послужит выяснению того, насколько личным был вклад Маклакова в изобретение образа перехвата власти в стране путём технического удаления «безумного шофёра», а с другой — продемонстрирует эволюцию этого образа до того, как его достроил до целой теории Маклаков.

Важно обратить внимание и на современный ей публицистический *и образный* контекст статьи Маклакова. Дело в том, что во второй половине 1915 года вышло в свет очередное посмертное издание мемуаров великого русского историка С.М. Соловьёва (1820–1879) «Мои записки для детей моих, а если можно, и для других» (Пг., 1915), известных своим резко критическим тоном, в том числе по отношению к монархии. В своём журнале «Русская Мысль» на это издание отозвался правый либерал П.Б. Струве.[7] В свою очередь, на это выступление Струве в газете «Новое Время» откликнулся отнюдь не либерал В.В. Розанов. Делясь своими личными воспоминаниями как студента, слушавшего лекции С.М. Соловьёва, Розанов свидетельствовал: «Мы, студенты, нисколько не сомневались, что он далеко “не правительственный”…», но поддержал данную Струве умеренную оценку критики Соловьёвым монархии Александра II как проявления недоумения и испуга (проливающего затем особый свет на общественные настроения в эпоху Александра III). И здесь Розанов, вслед за Струве, выбрал из записок Соловьёва красноречивый образ, без

7 *Пётр Струве.* С.М. Соловьев. По поводу отдельного издания его записок // Русская Мысль. СПб., 1915. Кн. X.

всяких сомнений предвосхищающий и предопределяющий образ Маклакова о несущемся в пропасть государственном экипаже (машине) и её негодном монархе-водителе на фоне предреволюционных событий. Вот такой была цитата из Соловьёва:

> «Преобразования производятся успешно Петрами Великими; но беда, если за них принимаются Людовики XIV и Александры II. Преобразователь, вроде Петра Великого, при самом крутом спуске держит лошадей в сильной руке, — и экипаж безопасен; но преобразователи второго рода пустят лошадей во всю прыть с горы, а силы сдерживать их не имеют, и потому экипажу предстоит гибель».[8]

Но предварительная история образа ведёт ещё дальше.

Через две недели после трагического для России Цусимского сражения в мае 1905 года, когда, как известно, русская пресса была подвергнута цензурным ограничениям в выражении своей скорби и протеста, в одном из главных оппозиционных изданий, в 1905 году открыто выражавших политическую программу социал-либерального «Союза Освобождения», — столичной газете «Сын Отечества» — была опубликована статья её постоянного автора[9], восходящей фигуры русской религиозно-либеральной политики, тогда находившегося ещё в тени более знаменитого брата, московского профессора С.Н. Трубецкого, философа Е.Н. Трубецкого (1863–1920). Открытый для его сочинений и близкий по программе к названной газете журнал «Вопросы Жизни», руководимый С.Н. Булгаковым, смог отреагировать на политические последствия

8 *В.В. Розанов.* П.Б. Струве о “Записках” С.М. Соловьева и о времени Александра III [15 ноября 1915 года] // В.В. Розанов. Полное собрание сочинений в 35 тт. Т. 5. О писательстве и писателях. Статьи 1912–1918 / Сост. А.Н. Николюкин. СПб., 2017. С. 365, 800.

9 См., например: *Кн. Евгений Трубецкой.* Ближайшая задача Государственной Думы // Сын Отечества. № 161. СПб., 23 августа (5 сентября) 1905 года. С. 1; *Кн. Евгений Трубецкой*. Вино новое и мехи старые // Сын Отечества. № 4. СПб., 21 ноября (4 декабря) 1905 года. С. 1. А также: *Рязанский крестьянин.* Открытое письмо кн. Евгению Трубецкому // Сын Отечества. № 172. СПб., 3 (16 сентября) 1905 года. С. 1. Библиографически важно также указать на следующие статьи: *Кн. Евгений Трубецкой.* Министерство народного просвещения. I // Слово. СПб. № 480. 11 (24) июня 1908. С. 2 (продолжение не выявлено); *Кн. Евгений Трубецкой.* Опричина [sic!] и земщина // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 156. 10 июня 1916 года. С. 1. А также мемориальный сюжет в связи со смертью М.М. Ковалевского: *Кн. Евгений Трубецкой*. Поверх партий // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 82. 25 марта 1916 года. С. 1; *Питирим Сорокин.* Последние дни М.М. Ковалевского // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 81. 24 марта 1916 года. С. 1; *Питирим Сорокин*. Исповедь М.М. Ковалевского (Письмо в редакцию) // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 86. 29 марта 1916 года. С. 2.

Цусимы в своём «Внутреннем обозрении» Г.Н. Штильмана ёмкой формулой, вынесенной в его заглавие: «Потеря способности управляться».[10]

Статья Е.Н. Трубецкого весной 1905 года в одной из самых популярных столичных газет либеральной оппозиции, несомненно, тогда же была прочитана массой сочувствующей (будущей кадетской партийной и избирательной) интеллигенции и, конечно же, самим Маклаковым. Она явно примерялась к будущей власти и нащупывала её клавиатуру, понимая инструменты власти более всего как контроль над самозаконной социально-экономической жизнью, а не как построение вертикали ответственности и управления.

Видимо, проблема «способности управляться» волновала Е.Н. Трубецкого также с точки зрения управления государством в период нарастающего кризиса. И поэтому он прибегнул к подробно развёрнутой метафоре **государственного механизма как (плохо, аварийно) управляемой (или плохой) машины**, которой посвятил специальную, центральную в номере статью, которая смогла обойти цензурные ограничения как раз именно за счёт своего образного строя и языка. Приведу текст этой небольшой статьи здесь целиком:

> «Если эзопов язык в русской печати доведен до высокой степени совершенства, то причиной тому служит не одно только отсутствие в нашем отечестве свободы слова.
>
> Задача публициста у нас в высшей степени облегчается тем, что сама наша действительность полна иносказаний. Все, что совершается в нашей жизни, так или иначе носит на себе печать одних и тех же *общих причин.* Поэтому, когда писателю об общих причинах говорить не дозволяется, — о них громко говорят повседневные явления и события. Иное событие поэтому достаточно рассказать: читатель сам поймет заключающееся в нём иносказание.
>
> Примером может послужить катастрофа, недавно пережитая мною в числе других на московско-киевско-воронежской железной дороге. Мы выехали из Москвы в двенадцать часов ночи и, преисполненные глубокого доверия к везущей нас машине, заснули. Когда мы проснулись — от поезда нашего остались одни развалины. Обломки разбитых вагонов, из коих один был перевернут вверх дном, локомотив, свалившийся с откоса, десять раненных и двое умирающих, — вот та страшная картина, которая предстала перед нами.
>
> Подробностей описывать не стану. Но причины крушения преисполнены глубокого значения.

10 *Г. Штильман*. Внутреннее обозрение: «Потеря способности управляться» // Вопросы Жизни. СПб., 1905. № 6.

Во-первых, нас вез допотопной конструкции товарный паровоз без тормоза Вестингауза. Паровоз этого типа был, конечно, когда-то изобретен на “гнилом Западе”, но там он уже давно вышел из употребления.

В гору эта слабая машина еле поднимает; зато под уклон она обладает способностью мчаться с невероятной быстротою навстречу верной гибели. При этом на быстром ходу она страшно качает и прыгает, раздвигает рельсы и *разрушает своею тяжестью тот путь, которым она едет.*

А путь наш представлял из себя опять-таки знакомую нам переходную стадию *недоделанной реформы*. Вместо гнилых шпал, железнодорожное начальство кое-где только-только положило свежие, но при этом только что настланный новый путь ещё не успел дать осадка, а потому оказался крайне непрочным.

Благодаря обычной у нас начальственной предусмотрительности, машинист, по-видимому, не был предупрежден, что в таких местах нужно замедлять движение; поэтому он шёл полным ходом.

Жертв оказалось сравнительно мало благодаря довольно обычному у нас явлению: *сон до некоторой степени заменил пассажирам отсутствующие гарантии личной безопасности.* Мы, спавшие, спаслись именно оттого, что не сопротивлялись и не делали противоречащих курсу поезда движений.

Погибли только те, кто бодрствовал — проводник нашего вагона, потому что во время катастрофы он работал на площадке; он был раздавлен другим вагоном, который врезался в наш. Другая жертва ещё типичнее. То был священник, который готовился выйти на соседней станции и потому так же находился на площадке вагона. Он *раньше других понял,* куда влечет его поезд, пытался выпрыгнуть — и был раздавлен. Он погиб оттого, что возмутился против своего жребия и пытался бороться за свое существование в минуту, когда эта одинокая борьба с бессмысленным механизмом была гибельной.

Само собою разумеется, что после крушения мы уже проснулись окончательно. И тут мы пережили всё то, что обыкновенно переживает русская публика, когда она решается, наконец, бодрствовать. Когда мы рассмотрели, как следует, наш разрушенный и увязший в трясине поезд, — переход от беспечности и доверчивого сна к *безусловному и крайнему недоверию* был необычайно резок. Недоверие наше было так сильно, что дама с маленьким ребенком не решалась даже укрыться от болотных миазмов и сырости в уцелевшем и совершенно невредимом вагоне.

Начался период негодования, осуждения и критики. Говорили о хищениях, злоупотреблениях и "преступном бездействии". Кто-то кричал, что следует повесить всю железнодорожную администрацию. Не было недостатка и в протестующем студенте: он бесплодно пререкался с начальником станции, явно преувеличивая значение и ответственность этого подчиненного органа власти.

Все мы начали единодушно громко требовать и заявлять о наших правах. Все с крайним нетерпением ожидали нового поезда, который повезет нас далее. Но железнодорожное начальство пребывало в состоянии испуга и растерянности, приказания свыше медлили; поэтому период ожиданий, как водится, оказался чрезвычайно долгим. Часов шесть мы сидели сначала в трясине поля, а потом на жалкой промежуточной станции.

Наконец, вожделенный поезд явился. Но, о ужас! В этот раз локомотив был ещё более символическим, чем первый, и казался каким-то издевательством над нами. Он вез нас *задним ходом.* На маленькой станции оказалось невозможным его повернуть; поэтому, двигая нас вперед, он *вместе с тем пятился раком.*

Такая двойственность в движениях, конечно, не могла нас успокоить. Встревоженная публика пыталась, хоть и тщетно, применить начало *общественного контроля,* — ей отвечали, что *все зависит от распоряжений высшего начальства.*

Наконец, мы, голодные и усталые, кое-как черепашьим шагом доехали до большой станции. Тут *после долгой остановки* наш локомотив, наконец, повернули; и он повез нас далее совсем хорошо.

Не всякому из читателей приходилось переживать подобные железнодорожные передряги. Но кому из нас не близки эти три стадии происшествия: локомотив, влекущий тебя к гибели, локомотив пятящийся и, наконец, локомотив, соответствующий ожиданиям? Ведь повезут же нас когда-нибудь, наконец, как следует?

Из всего этого можно сделать следующие выводы. Во-первых, у нас безусловно нельзя полагаться на везущую нас машину. Доверия заслуживает только паровоз, выписанный из Англии, а ни в коем случае не домашний; образцы из прошлого нашей истории решительно не годятся для реорганизации нашего железнодорожного дела. Во-вторых, о необходимости общественного контроля следует думать не после катастрофы, а гораздо раньше — до отхода поезда. В-третьих, хотя он иногда и спасает, все-таки он не может заменить выработанных западно-европейской жизнью действительных гарантий личной безопасности: только благода-

> ря счастливой случайности мы не проснулись на лоне Авраамовом. Наконец, сон в подобных случаях эгоистичен: ибо он спасает только тех, кто спит, и губит тех, кто бодрствует над спящими.
>
> Как после этого не понять происхождения эзопова языка в нашей литературе? Можно ли удивляться тому, что наша печать полна притчами, когда вся наша жизнь есть притча во языцех».[11]

Следуя авторским акцентам, которые сам Е.Н. Трубецкой выделил в тексте курсивом, можно кратко резюмировать образное и содержательное отличие эзопового языка в отношении к машине как выражению *общих причин*, то есть фундаментальных основ политического строя в России.

Маклаков в 1915 году уверен, что машина российской государственности свободна от этих *общих причин* и дееспособна в любых водительских руках, целиком полагается на волю шофёра, а Трубецкой в 1905 году видит, что она полностью зависит от *общих причин*, устарела и работает плохо, кладёт пределы любым умениям машиниста в несоответствующих современности качествах локомотива и самого пути. Если Маклаков в 1915-м требует всего лишь нового «шофёра», то Трубецкой в 1905-м ожидает не иначе как нового «поезда» (включая новый локомотив и новый путь), требуя новых *общих причин*. Маклаков, видимо, исходит из презумпции бессилия монарха как вождя, едва ли не претендуя лично занять его место у руля государственной машины, а Трубецкой — из презумпции негодности всей власти, всей государственной машины вообще. Трубецкой прозрачно утверждает, что наилучшей формой государства для него является «паровоз из Англии» — современные ему британские парламентаризм и «конституционная» монархия. Здесь он видит направление необходимых и непоследовательно идущих реформ. И он если выступает за «общественный контроль над машиной», то не после её катастрофы, а вообще до её практического использования.

Традиционно в образной системе Трубецкого звучит обычный для русской критической литературы консервативный «сон общества», жертвами которого становится бодрствующее либеральное большинство («сон в подобных случаях эгоистичен: ибо он спасает только тех, кто спит, и губит тех, кто бодрствует над спящими»). Новостью для обычной политической литературы в тексте Трубецкого стало иносказание революции, прямо (в переводе) позаимствованное им из марксистской литературы, в которой псевдонимом даже коммунистической революции выступало немецкое Zusammenbruch («катастрофа»), стоявшее в центре марксистской дискуссии в конце 1890-х —

11 *Кн. Евгений Трубецкой.* Поучительная катастрофа (К вопросу о происхождении эзопова языка) // Сын Отечества. СПб. № 89. 31 мая (13 июня) 1905 года. С. 1.

начале 1900-х годов. Вовсе не случайно именно Е.Н. Трубецкой уделил особое внимание марксизму в коалиционном «идейном» социал-либеральном сборнике[12] незадолго до своей статьи в «Сыне Отечества».

Невнятно прозвучал в его тексте образ «бодрствующего» священника, принесшего себя в жертву общественной сонности: без дополнительного изучения публицистики и переписки Трубецкого трудно судить: не Гапон ли стал вдохновителем этого образа? Или не менее известный тогда проповедник Г.С. Петров?

Гораздо более удачным образом, имеющим эшелонированную фактическую историю, следует признать служащую псевдонимом правительства России «железнодорожную администрацию» (то есть его главы С.Ю. Витте, прославившегося на ниве железнодорожного строительства и управления в конце XIX века).

Резюмируя, следует сказать, однако, что с точки зрения художественной яркости своего текста Трубецкой решительно проигрывает статье Маклакова, которая в сравнении с вязкой прозой Трубецкого звучит почти как стихотворение в прозе. Но заметно более примитивным — даже с точки зрения целостной теории — оказывается это стихотворение в прозе, не говоря уж о том, что трактует оно уже даже не проблемы системы власти, государственного кризиса и основ необходимого порядка, а всего-навсего вопрос о персональном (коллективном) вождизме. Психологически точным оказывается в этом контексте личное свидетельство ближайшего сотрудника Струве С.Л. Франка о том, как в первые же дни легального учреждения в 1905 году конституционно-демократической партии —

> «когда обсуждался пункт о неприкосновенности личности и жилища, Маклаков, в общем очень рассудительный и мыслящий человек, сказал, что мы скоро будем у власти и нам невыгодно очень ограничивать власть! Я не мог возразить по случайным причинам, и слова его прошли без всякого протеста».[13]

Таковы образная эволюция и образ эволюции русского либерализма от 1905 к 1915 году, которые обнаруживаются при сличении текстов Маклакова и его предшественника, Е.Н. Трубецкого.

12 *Е.Н. Трубецкой.* К характеристике учения Маркса и Энгельса о значении идей в истории // Проблемы идеализма. М., 1902.

13 *М. Колеров.* Изнутри: Письма Бердяева, Булгакова, Новгородцева и Франка к Струве. Переписка Франка и Струве (1898–1905 / 1921–1925). М., 2018. С. 96 (19 октября / 1 ноября 1905 года).

«Великая Россия» и «Ближний Восток» П.Б. Струве: британские вдохновения и разрушение Османской империи и Австро-Венгрии (1908–1916)

История идей часто упускает из виду несбывшиеся надежды идеократов, тех, кто строил свою политику и практическую философию на мало обоснованных ожиданиях, на «энергии заблуждения», открытой В.Б. Шкловским. Человеческая память избирательна, и потому свои собственные заблуждения — первые жертвы мемуаристов и апологетов. Русский политический идеализм, ставивший перед Россией одну за другой большие задачи, пожалуй, одна из наиболее ярких жертв такой «цензуры памяти». Особенно это видно в текущей идейной публицистике, которую её авторы постыдились включать в сборники своих избранных сочинений: и не только потому, что изменился фактический исторический антураж, но и потому, что ad hoc изобретённые ими теории часто открывают для читателя всю поверхностность этих теорий. Но для археологического взгляда на историю идей такие отбракованные теории — красноречивые находки. И очень часто — находки содержательно более богатые, чем мемуарный или агиографический макияж.

1

Хорошо известно, что теория П.Б. Струве (1870–1944) о «Великой России», с которой он выступил в январе 1908 года[1], по авторскому же указанию вос-

1 *П.Б. Струве.* Великая Россия. Из размышлений о проблеме русского могущества [1908] // П.Б. Струве. Patriotica: Политика, культура, религия, социализм [1911]. М., 1997. С. 50–63. Риторически и конъюнктурно (признание в этом: С. 234 — январь 1909 года) привязав формулу «Великой России» к выступлению председателя правительства П.А. Столыпина 10 мая 1907 года (С. 50; 79 — 18 марта 1908 года), Струве

ходит к доктрине «Великой Британии» (Greater Britain), чья имперская мощь и либеральная политическая система служили Струве образцом для подражания. Сам Струве приложил много усилий к тому, чтобы сделать свою теорию и её образец непременной страницей истории русской мысли XX века.[2] У него это получилось. Но изначально эта теория оказалась связана у Струве с переживанием политических событий в Турции, на «Ближний Восток» которой и была сориентирована экспансия «Великой России» под крылом Великой Британии. После заключения англо-русского соглашения 1907 года о разделе сфер влияния в Персии и согласии в Афганистане и Китае, за считанные дни до «младотурецкой революции» в Османской империи, Струве писал:

> «Бессмысленная, тянувшаяся десятилетиями распря Англии с Россией изжита, и английское покровительство турецкому султану отошло в область истории… Это поворот в мировой политике, имеющий необозримое всемирно-историческое значение».[3]

В этом контексте Струве вступал в резкую полемику с русскими национал-монархическими силами, ориентированными на согласие с Османской и Германской империями, напоминая, что подлинной национальной традицией России в области внешней политики являются «традиции русской политики на Ближнем Востоке», имея в виду Балканы, Проливы и Западную

не уставал напоминать, что её подлинным формальным источником была книга лекций — «историческое евангелие английского империализма» — британца Сили (J.R. Seeley, 1834–1895) «Расширение Англии» (Expansion of England, 1883) — русский перевод вышел в издательстве О.Н. Поповой (где перед тем работал Струве и, возможно, был инициатором перевода) в переводе тестя и под редакцией шурина Струве: *Дж.-Р. Сили.* Расширение Англии: Два курса лекций / Пер. В.Я. Герда, под ред. и с прим. В.А. Герда. СПб., 1903 (С. 79; 225 — март 1908 года; 118 — 18 апреля 1908 года). Именно русские переводчики создали прототип для струвианской аналогии, переведя Greater Britain оригинала как «Великая Англия» (С. 225).

2 Помимо публикации целого ряда статей, в которых он развивал эту теорию и которые аккуратно собрал в своём сборнике «Patriotica» (1911), Струве вдохновил В.П. Рябушинского составить и издать два тома «идейного сборника» «Великая Россия» (1910–1911): это стало частью усилий Струве (и С.Н. Булгакова) по внесению в сознание и движение русской крупной буржуазии национал-либеральной идеологии. Уже без участия Струве, но, несомненно, под его определяющим идейным влиянием, был создан и журнал «Проблемы Великой России» (1916). Роспись его содержания см. в сборнике: *М.А. Колеров.* От марксизма к идеализму и церкви (1897–1927): Исследования, материалы, указатели. М., 2017. С. 295–300.

3 *П.Б. Струве.* За султана и кесаря // П.Б. Струве. Patriotica: Политика, культура, религия, социализм [1911]. М., 1997. С. 111–112 (20 июня 1908 года).

Армению. Даже экономическая логика развития «ближневосточного» (черноморско-балканского) вектора России приводила Струве к осознанию неизбежного конфликта с Германией и Австро-Венгрией, единственным спасением от которого он считал *опережающее* резкое внутреннее (либеральное, по британскому образцу[4]) и внешнее (экспансия на Балканы и соглашение с Польшей) усиление России. Оба внешнеполитических направления означали будущее расчленение — Австро-Венгрии и Османской империи, как бы ни скрывал это до времени Струве. Струве писал:

> «Наши отношения с Англией и Францией должны были бы… использованы в первую голову в целях экономического укрепления России на Ближнем и Среднем Востоке. (…) Если… мирное укрепление русского могущества в бассейне Чёрного моря и морально-политическое сближение России с западным славянством, если осуществление обеих этих задач означает войну Турции, Австрии и Германии с Россией, то… между органическим укреплением русского могущества и интересами германской политики существует непримиримое противоречие. Я думаю, что интересы Германии и России на Ближнем Востоке антагонистичны. Но… из этого антагонизма только в том случае вытечет военное столкновение, если сильной, могущественной Германии будет противостоять слабая, разъединённая внутри, раздираемая племенными антагонизмами забывшая о своём славянском призвании, Россия, изнывающая под полицейским гнётом…».[5]

4 «Русская оппозиция, по соображениям вполне реалистическим может только приветствовать всякий акт, в котором выразится политическое сближение и согласие между Россией и Англией, как государствами. (…) Внешняя политика не безразлична для внутренней; но их соотношение гораздо сложнее, чем это рисуется вульгарному радикализму. (…) В германской социал-демократии одно время было традицией — всё русское считать реакционным. С этой точки зрения Маркс и Либкнехт выступали туркофилами не менее ярыми, чем Пальмерстон и Биконсфильд (…) Пусть эта агитация совершенно бескорыстна (русофобия и славянофобия Маркса и Либкнехта питалась бессознательным немецким национализмом), она от этого исторически не менее ошибочна. Для крупных линий русской истории англо-русское сближение гораздо важнее и ценнее, чем самая эффектная демонстрация против внутренней политики современного русского правительства. (…) политическое сближение России и Англии должно быть расширено и углублено до сближения реально-экономического и культурно-морального. (…) Именно у англичан с их вековой дисциплиной воли и характера, основанной на глубоком проникновении религиозным началом, есть чему *поучиться* (в истинном смысле этого слова) нам, русским» (*Петр Струве*. Размышления. V // Слово. СПб. № 465. 24 мая (6 июня) 1908 года. С. 2).

5 *П.Б. Струве*. Русский шантажист и немецкий патриот // П.Б. Струве. Patriotica: Политика, культура, религия, социализм [1911]. М., 1997. С. 110 (27 февраля 1908 года).

Британское политическое наследие, как известно, служило образцом цивилизованного развития для русского либерализма XIX — начала XX века. Экономическая политика и ещё более экономическое развитие Англии служили примером для части русской бюрократии, для русских либералов и социалистов. Единственная сверхдержава XIX века, Британская империя была образцом государственного могущества. Историки и критики британского капитализма Карл Маркс и Фридрих Энгельс видели будущее всего человечества в повторении или сокращении пути Англии. И потому они часто не могли отделить в своей критике Англии своё искреннее ей восхищение. И главным империализмом, главной угрозой миру считали не британский, а в несколько раз более слабый — русский империализм. В борьбе против Российской империи отцы коммунизма не раз отступали от своих принципов классового анализа и выступали проповедниками политической русофобии. Точно так же, говоря о государственных интересах родной им Германии, они и ориентированная на них германская социал-демократия — говорили как настоящие немецкие патриоты.

Примеры политической свободы в Британской колониальной империи и легальной социал-демократии в Германской империи абсолютно доминировали в социал-либеральном освободительном движении в России начала XX века. Широкое пространство между банкротством России как великой державой и её революционной катастрофой идейные сторонники Струве склонны были понимать как прямой путь к «Великой России». Его многолетний единомышленник ещё со времён «идеалистического направления» (1902–1905) резюмировал его проговорки так: «…между социальной революцией и политической реакцией открывается ещё весьма широкое пространство, где могут действовать ряд партий, глубоко различных и по миросозерцанию, и по программам, но объединенных сознанием, что с подъемом производительных сил России связана вся наша будущность — будущность не только как участников мирового хозяйства, но и как национально-культурного целого. И это единственный путь к “великой России”».[6]

6 *С. Котляревский.* Подъем производительных сил // Слово. СПб., № 688. 24 января (6 февраля) 1909 года. С. 2. Ср. «обезвреженные» с точки зрения политической цензуры и эзопова языка положения об экономической проблеме «Великой России»: «Проблема русского политического прогресса стоит для меня теперь в 1908 году принципиально так же, как она ставилась мною в 1894 году в “Критических заметках”. И в самом деле: мертвая точки абсолютизма была 1904–1905 гг. преодолена не только на отрицательной почве, — не только благодаря жестокостям русско-японской войны, но и на положительной почве всего того усложнения экономической жизни, которое дала эра Витте. И только так будет преодолена и мертвая точка лжеконституционализма народного представительства, окруженного чрезвычайными

Но для Струве — при характерной для него нарастающей *патриотической тревоге*[7] о судьбе русской государственности — наиболее весомыми становились внешние факторы безопасности и имперской мобилизации России. В своём трактате «Великая Россия» он писал, в частности:

> «Для создания Великой России есть только один путь: направить все силы на ту область, которая действительно доступна реальному влиянию русской культуры. Эта область — весь бассейн Чёрного моря, т.е. европейские и азиатские страны, "выходящие" к Чёрному морю. Здесь для нашего неоспоримого хозяйственного и экономического господства есть настоящий базис: люди, каменный угол и железо. На этом реальном базисе — и только на нём — ...может быть создана экономически мощная Великая Россия. (...) Основой русской внешней политики должно быть, таким образом, экономическое господство России в бассейне Чёрного моря. Из такого господства само собой вытечет политическое и культурное преобладание России на всем так называемом Ближнем Востоке. (...) Мы должны быть господами на Чёрном море... Против Англии мы и там бороться никогда не сможем... реальная политика утверждения русского могущества на Чёрном море неразрывно связана с прочным англо-русским соглашением, которое для нас не менее важно, чем франко-русский союз. Вообще это соглашение и этот союз суть безусловно необходимые *внешние* гарантии создания Великой России. (...) Неурегулированность польского вопроса... ставит нас совершенно à la merci Германии. Мы либо вынуждены в международных делах и внутренней политике слепо, как вассал, следовать ей, либо будем всегда находиться под угрозой того, что в удобный и желательный для себя момент она выдвинет против нас Австро-Венгрию. (...) Австро-Венгрия, даже как славянская держава или, вернее, именно как таковая обязана стремиться к "расширению" на наш счёт».[8]

Центральным нервом внешней стратегии России, поставившей себя под покровительство Британской империи, Струве мыслил:

охранами. Из такого понимания условий развития русской государственности и общественности вытекает определенная линия поведения независимых общественных сил» (*Петр Струве.* Размышления. III // Слово. СПб. № 450. 7(20) мая 1908 года. С. 1).

7 Слова из авторского введения в сборник статей от февраля 1911 года: *П.Б. Струве*. Patriotica: Политика, культура, религия, социализм [1911]. С. 12.

8 *П.Б. Струве.* Великая Россия. Из размышлений о проблеме русского могущества [1908] // П.Б. Струве. Patriotica: Политика, культура, религия, социализм [1911]. М., 1997. С. 53–54, 61, 60.

(1) ликвидацию, с разрешения Лондона, османского присутствия на Чёрном море и Балканах, но не произносил пока прямых претензий России на контроль над Проливами;

(2) ликвидацию, без разрешения Берлина, присутствия Австро-Венгрии на Балканах;

(3) нейтрализацию Австро-Венгрии и сдерживание Германии с помощью союзной России независимой Польши.[9]

Непосредственно перед «младотурецкой революцией» Струве повышал антиосманские ставки и раскрывал свои карты, прямо приглашая Англию помочь России в разделе Османской империи, особенно на Балканах османского Ближнего Востока, прямо подводя вектор экспансии России в «подбрюшье» Австро-Венгрии и, очевидно, подходя к перспективе её расчленения:

> «Русское общественное мнение, без различия направлений, желает, чтобы русская политика на Ближнем Востоке, и в частности на Балканах, продолжала свои славные традиции освобождения христианских народов.[10] Это не значит, что эта политика должна быть направлена против

9 «Растащить Австрию по кускам не так просто, как кажется… (…) Славяне должны овладеть Австрией и укрепить её как славянское государство. При условии прочного русско-польского примирения у Австрии будет и славянская политика» (*П.Б. Струве*. Размышления на политические темы. V. Славянские дни // П.Б. Струве. Patriotica. С. 125–126 (18 мая 1908 года)).

10 Позже Струве счёл важным минимизировать идеалистическое изображение национальных интересов России и поправиться, говоря о противодействии России враждебному вмешательству Австро-Венгрии в опоре на Германию в балканские дела и о судьбе Сербии, Черногории, Румынии, Болгарии, Греции как объектов *ближневосточной политики* России: «Я принадлежал и принадлежу к тем, которые признавали внешнюю политику русского правительства в балканском кризисе последовательной и честной. (…) Последовательность и правильность этой политики, ее превосходство над увлекаемой “славянскими” симпатиями частью русского общественного мнения состоит в том, что правительственная политика, поддерживая славянские, или — общее и точнее — балканско-христианские интересы, ясно видит главное — *интересы и задачи самой России*. Правительственная политика не шла и не идёт на буксире отдельных балканских притязаний и требований. (…) Россия должна быть автономна в определении целей и этапов своей ближневосточной политики…». По напоминанию Струве, именно Россия создала Сербию, Черногорию, Болгарию, Грецию и отчасти Румынию «из уродливого антикультурного туловища османской монархии», и теперь необходимо «органическое оздоровление власти и народа [России] на упорной и систематической подготовке их к осуществлению великих мировых и в то же время подлинно национальных задач» (*Петр Струве*. Власть и народ в серьезный момент. I. Сейчас // Русская Молва. СПб. № 127. 20 апреля (3 мая) 1915 года. С. 3). Об этом же в изображении Струве дистанцирован-

Германии и немцев. Но это значит, что она не может мириться с неприкосновенностью существующего турецкого *режима*[11] на Ближнем Востоке. (...) Когда Англия охраняла неприкосновенность турецких порядков, вся Россия — без различия партий — была против Англии. Теперь англичане, я думаю, окончательно сознали фактическую и моральную ошибку, заключавшуюся в их русофобии и туркофильстве».[12]

Но в июле 1908 года в Османской империи свершилась конституционная революция — и этот факт поместил теорию в особый контекст. У Струве получилось очистить свой лозунг «Великой России» от своего поспешного, уже в августе 1908 года (в его не переизданной статье «Международное положение и международная реакция»), признания идейной капитуляции «реакционной» России перед конституционной Османской империей в момент прошедшей в ней «младотурецкой революции».[13] Исследователь русского либерализма Ф.А. Гайда обоснованно вычленяет среди политических источников известного сборника «Вехи» (1909) то впечатление, которое произвела на русский политический класс «младотурецкая революция» в Османской империи 1908 года, которая на короткое время восстановила действие конституции:

«...“Вехи” вовсе не были следствием испуга от революции 1905 г., они, наоборот, стали результатом испуга от ее провала. Предпоследняя фраза статьи А.С. Изгоева звучала так: “И, быть может, самый тяжелый удар русской интеллигенции нанесло не поражение освободительного движения, а победа младотурок, которые смогли организовать национальную революцию и победить почти без пролития крови”. (...) В примечании к этим словам, помещенном уже во втором издании, Изгоев написал: “С тех пор, как были написаны предыдущие строки, младотурки после восьми месяцев бескровной революции перешли во вторую

ном от балканских интриг желательном контроле России над Балканами с опорой на русский Константинополь см. в настоящем сборнике: «Забытый текст П.Б. Струве о Балканах, Проливах и целях войны: *Петр Струве*. Верные и неверные пророчества Ф.М. Достоевского (1914)».

11 В газетной публикации выделено курсивом: *Петр Струве*. Размышления. V // Слово. СПб. № 475. 5(18) июня 1908 года. С. 1.

12 *П.Б. Струве.* Размышления на политические темы. VIII. Русско-германские отношения // П.Б. Струве. Patriotica. С. 129 (5 июня 1908 года).

13 В настоящем очерке абсолютное большинство газетных статей П.Б. Струве, цитируемых по первоисточникам, впервые вводится в научный оборот и ранее даже формально не отражалось в его крупнейших библиографиях.

стадию своей политической жизни. На них, как на творческую силу, напали и справа и слева. (...) Конечно, и младотурки могут погибнуть под ударами обманутой темной реакционной массы и сепаратистов. Но их гибель — гибель Турции, и история младотурок была и вечно будет примером той нравственной мощи, которую придает революции одушевляющая ее национально-государственная идея". Александр Соломонович не мог знать, что через несколько лет именно младотурки доведут Османскую империю до авантюрного вступления в Первую мировую войну, глубочайшей политической катастрофы и окончательного распада».[14]

За своё недолгое историческое малодушие Струве сполна идейно отомстил Османской империи и союзным ей Германской империи и Австро-Венгрии. Он объединил османское наследие с австро-венгерским — и своим особым попечением о Балканах, и своим пророчеством — в момент тяжелейшего положения Сербии — об огромной Югославии как результате Первой мировой войны.[15] Но прежде — вот главные положения замолчанной самим Струве его идейной капитуляции в статье «Международное положение и международная реакция» (1908):

«...государственный переворот, происшедший в Турции (...) лишь один из эпизодов той новой эры европейской и мировой истории, которая началась крушением старого порядка в России. (...) Осью всей мировой политики в настоящее время являются отношения между Англией и Германией. Что же внес турецкий переворот в международную ситуацию под знаком англо-германского соперничества? До турецкой конституции России принадлежала в этой ситуации огромная роль (...) несмотря на свою внутреннюю слабость, по самому соотношению международных сил Россия была очень большой величиной. (...) Но теперь эта сила нейтрализована и связана. (...) вместе с турецкой конституцией на Ближнем Востоке произошла полная перемена декораций. (...) не только Россия, как международная сила, нейтрализована и связана Тур-

14 *Ф.А. Гайда*. «Бескровная младотурецкая революция»: как реализовалась программа «Вех»? // Русский Сборник: Исследования по истории России. Т. XIII. М., 2012. С. 113.

15 Будущие приобретения Сербии после войны, писал Струве, "еще недавно казались фантастическими" (*Петр Струве*. Накануне великого переворота // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. №105. 20 апреля 1915 года. С.1). См. также: *Петр Струве*. Юго-славянское объединение // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 57. 28 февраля 1915 года. С. 1–2.

> цией. Последняя готовится в известном смысле занять, да позволено будет мне так выразиться, то "психологическое место", которое до последнего времени в международной системе принадлежало России».[16]

Показательно, что этот восторг и капитуляцию о «младотурецкой революции» Струве в свой сборник 1911 года не включил. Значит, шансы на расчленение Османской империи при невмешательстве Англии росли лишь после провала младотурок. Здесь мы видим незыблемый каркас доктрины «Великой России», ориентированной на политический союз с Британской империей и широкое присвоение Османского наследия. Но теперь он обращается против России только потому, что Струве уверен и в государственном могуществе страны, пережившей либеральную революцию (Турция), и в государственном падении страны, отказавшейся от либеральной революции (Россия).

Но и до младотурок, пока Османская империя была неконституционной, Струве требовал предварительной поддержки Англии для целой серии последовательных шагов России против Турции, после неудачной войны с Японией 1904–1905 годов низко оценивая способность России вести войну даже против слабого противника, если за ним стояла великая держава (в условиях того времени только Германия или Англия, о чём неоднократно писал Струве).[17] Поэтому для борьбы России против Турции Струве требовал предварительного отторжения Турции от Германии и гарантии Англии для экспансии России против Турции, вернее — военно-политического *зонтика* Англии для экономического проникновения России на османские территории. Территории, интересующие Россию, Струве именовал *Ближним Востоком*.

16 Слово. СПб. № 551. 2(15) сентября 1908 года. С. 1. В библиографии Р. Пайпса учтена: *Ричард Пайпс*. Струве: правый либерал, 1905–1944 [1980] / Пер. А. Захарова. М., 2001. С. 639.

17 «Всё международное положение определяется соотношением двух руководящих и борющихся за европейскую гегемонию держав: Англии и Германии. За последнее время Россия довольно определённо движется в орбите Англии. По-видимому, это совершенно неизбежно и в то же время соответствует интересам России» (*П.Б. Струве*. 17 октября 1909 г. // П.Б. Струве. Patriotica. С. 154–155). В конце жизни, широкими мазками описывая всю историческую длительность России, Струве уточнил свою формулировку, но ещё теснее привязал перспективу России к британскому влиянию: «взаимодействие мирового движения социализма» с русской революцией, писал он, «понять можно только в свете как многовековой социальной и экономической истории самой России, так и истории западного социализма, с его двумя фокусами, идеологическим, центром которого являются Англия и Франция, и институционным, центром которого являются Англия и Германия» (*П.Б. Струве*. Социальная и экономическая история России с древнейших времен до нашего, в связи с развитием русской культуры и ростом российской государственности // П.Б. Струве. Избранные труды / Сост. О.К. Иванцова. М., 2010. С. 61).

2

В XIX веке русское понятие *Востока* ничем принципиально не отличалось от нынешнего традиционного и, например, в программах двух главных русских центров востоковедения — Лазаревского института восточных языков в Москве и факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета — таковыми, кроме языков Дальнего и Среднего Востока, были лишь языки Передней Азии: грузинский, армянский, персидский, турецкий. Во всяком случае, Балканы не включались в этот *Восток*. Однако в первом томе собрания ставшего влиятельным в начале XX века К.Н. Леонтьева «Восток, Россия и славянство» (1885) в понятии Востока вообще нет его традиционного содержания, но присутствуют Греция, Фракия (Болгария, Греция и европейская Турция) и южные славяне в целом, очевидно связанные с наследием Османской империи. Это явно соответствовало географии личной биографии К.Н. Леонтьева (1831–1891), прожившего ряд лет в Константинополе, Греции, Албании и Румынии.

При этом понятие Ближнего Востока в России начала XX века как минимум нередко отличалось от современного[18] и фактически включало в себя не только азиатские, *но и бывшие европейские владения* Османской империи.[19] Подобно этому в состав Прибалтики[20] в 1920–1930-е годы традиционно видели прежде всего Латвию, Эстонию и Финляндию, лишь изредка включая Литву.

18 Ныне Ближний Восток — это Западная (Передняя) Азия и Северная Африка от Турции до Египта, включая Аравийский полуостров. В последнее время, благодаря активизации американской доктрины «Большого Ближнего Востока», в него всё увереннее включают Закавказье и Иран, прежде бывший классическим примером Среднего Востока.

19 Впервые об этом я кратко писал здесь: *М.А. Колеров*. Анти-Аншлюс: «национальные государства» СССР против Польши (1920–1940-е гг.) // Россия и славянский мир в войнах и конфликтах XIX–XXI веков. Сб. статей / Науч. ред. А.Ю. Полунов. М., 2018. См., например, практику отнесения Балкан к Востоку в официальном издании НКИД РСФСР 1921 года: а именно включение новостей из Румынии, Болгарии, Югославии в рубрику «Восток»: Бюллетени Народного комиссариата иностранных дел [РСФСР]. М.: № 102. 21 ноября 1921 года. С. 29–35; № 102. 28 ноября 1921. С. 40–43; № 105. 12 декабря 1921 года. С. 32–36; № 106. 19 декабря 1921 года. С. 29–37. В остальном в «Востоке» были представлены новости из Турции, Сирии, Палестины, Курдистана, Египта, Ирака, Персии, Афганистана, Индии, Тибета, Китая, Японии: Там же. №№ 101–106. 14 ноября — 19 декабря 1921 года. См. также более раннее отнесение к Востоку — Греции: *В. Шуф (Борей)*. На Востоке. Записки корреспондента о греко-турецкой войне. СПб., 1897.

20 Ныне включает в себя только Литву, Латвию и Эстонию. Экспериментальная формула «Русской Прибалтики» для именования Калининградской области России не прижилась.

Локальный анализ русской политической прессы показывает, что такое содержание понятия, по крайней мере, непрерывно присутствовало в русской политической периодике.[21] Одним из тех видных политических деятелей и публицистов, кто использовал понятие «Ближний Восток» в указанном *османском* смысле, был именно Струве. Однако в толковании его историографически столь популярной доктрины «Великой России» такое *османское* понимание региона до сих пор отсутствует.

Это заставляет внимательней и точней отнестись к тому, как именно мыслилась идея экспансии России на тогдашний Ближний Восток, которую выдвинул П.Б. Струве, когда он, формулируя признаки государственного могущества, обратил своё внимание на вопросы внешнеполитической стратегии Российской империи. Следует проследить, как эта доктрина Струве эволюционировала в годы Первой мировой войны, когда перед Россией встали вопрос об управлении завоёванными территориями и проблема послевоенного устройства Европы и Азии. Главными источниками для новой сверки – на примере внешнеполитической эволюции Струве — *первичной истории* русской политической мысли с её авторскими мифологиями и краткими курсами служат многочисленные газетные статьи Струве, им не переизданные и не переизданные именно потому, что предметная история политической мысли радикально изменилась. Однако не изменилась картина мира такого политического идеализма, в котором историческая судьба нации и империи была прямо подчинена государственной мощи, чей стержень виделся в либерально-социалистическом устройстве и либерально-социалистической общественной мобилизации.

На Базельском конгрессе социалистов и марксистов II Интернационала при доминировании немецких социал-демократов было принято решение в случае начала мировой войны выступать за интернационализм, за поражение своего правительства, против милитаризации. Это полностью отвечало

21 Так понимали содержание понятия издания, что использовали его для систематизации информации (его в таком виде не было, например, в крупных газетах «Московские Ведомости», «Русская Молва», а «Голос Москвы» использовала узкую рубрику «Балканы»). В специальную рубрику новостей «На Ближнем Востоке» большая московская газета «Утро России» включала, кроме азиатских территорий, самой Турции, Персии, материалы из Греции, Сербии, Болгарии (см., например: Утро России. М.: № 81–48. 15 января 1910 года. С. 4; № 83–50. 17 января 1910 года. С. 5; № 86–53. 21 января 1910 года. С. 4). В рубрику с тем же названием большая петербургская газета «Биржевые Ведомости», помимо иных, постоянно включала сообщения из бывших балканских владений Османской империи: Греции, Албании, Сербии, Черногории, Болгарии, Румынии (см., например: Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб.: № 20. 24 января 1914 года. С. 2; № 31. 6 февраля 1914 года. С. 2; № 68. 21 марта 1914 года. С. 2).

принципам экономического интернационализма, вытекающим из британского образца свободы торговли, но XIX, а не XX века, когда именно протекционизм стал орудием политического объединения и мощного экономического прогресса Германии. И этот протекционизм был прямо направлен против Британии как символа международного мира и хозяйства.

В начале XX века Пётр Струве начал открывать новые для русского освободительного движения стороны в опыте Англии и Германии. С юности вдохновляясь формулой германского «национал-либерализма», то есть соединения принципов внутриполитической свободы и внешнеполитического могущества, Струве нашёл наилучший опыт такого могущества в Великобритании — Великой Британии. В 1908 году, формально отталкиваясь от речи премьер-министра России Петра Столыпина в Государственной думе, он выдвинул русский аналог «Великой Британии» — доктрину «Великой России» (общенационального единства, стоящего выше этнографической «Великороссии»).[22]

Ещё Балканские войны 1912–1913 годов по свежим следам Базельского конгресса красноречиво продемонстрировали, что решения европейских (более всего немецких) социал-демократов об их отказе от национальной солидарности со своими буржуазными правительствами в случае начала европейской войны были ложью. Балканские войны — за этнический раздел наследства Османской империи между Сербией, Черногорией, Болгарией, Грецией — не вызвали никаких общеевропейских протестов против войны и особой реакции европейских марксистов против желания своих великих держав «погреть руки» над балканским пожаром, фактически сочтя его *не европейским, а колониальным*. В эти дни Струве логично описывал как колониальные действия Австро-Венгрии и Италии вокруг захвата Черногорией албанского Скутари (Скадар, Шкодер). Колониальную семантику событий подчёркивали формулировки Струве об этих событиях в Албании в частности и на Балканах вообще: «…положение дел на Ближнем Востоке», «ближневосточный кризис». Он вспоминал свой протест против неудачной и нерациональной русско-японской войны, актуализируя аргументы трактата о «Великой России», противопоставляя *Дальний Восток* Манчжурии — *Ближнему Востоку* Балкан:

> «…к ближневосточному кризису необходимо было начать готовиться сразу же после окончания японской войны. Я скажу больше: с точки зрения

22 Об этом принципиальном различении специально и ясно писал известный публицист уже после того, как централизованное государство распалось и задачей стало сохранение в целости хотя бы его русского этнографического ядра: *Б. Сыромятников.* Великороссия или Великая Россия? // Новое Слово [Русские Ведомости]. М. № 3. 18 января 1918 года. С. 1.

внешней политики, Портсмутский мир необходимо было заключить именно в виду того, что есть на Ближнем Востоке у России интересы более жизненные, чем те, из-за которых шла борьба на Тихом океане. (...) Пока еще события представляли картину разверстания турецких владений между государствами, образовавшимися из Турции, как они существовали еще в начале XX века: балканская война явила собой как бы *внутренний раздел* исторической Турции. Оккупация Албании Австрией и Италией будет прямым вмешательством великих держав в этот внутренний процесс».[23]

Но уже 1914 год окончательно показал, что абстрактное решение Базельского конгресса было отброшено абсолютным большинством национальных социал-демократов не только в отношении Балкан. В годы Первой мировой войны Струве писал, что национальная точка зрения присуща в этой войне всем социал-демократиям:

«...в германской социал-демократии всегда были сильные национальные токи. Начать с Лассаля. Он не был, конечно, просто националистом, каким его любят рисовать обычно, противопоставляя Марксу и Энгельсу... Но по инстинкту и по симпатиям он склонялся несомненно к национальной точке зрения».[24]

«Факты обнаружили все бессилие социалистического интернационализма, — бессилие, в котором жалко потонули былые горделивые фразы социал-демократии», — писал Струве о решениях конгресса в Базеле. «Отрицая "буржуазный" мир и "национальное" государство, социалисты отрезывали себя от жизни. (...) Мировая война впервые ввела социалистов в национальную жизнь во всей ее полноте и тем составила важный этап в политическом воспитании европейской демократии».[25] Однако с началом войны, без колебаний самоопределившись в отношении Германии-агрессора, Струве однозначно похоронил и ставшую на сторону военного германского национального единства германскую социал-демократию. Он подводил итог и её развитию, и — что ещё важнее для его личной судьбы — итог своему идейному социализму как отражению и применению в России его германского образца:

23 *Петр Струве*. Власть и народ в ответственный момент // Русская Молва. СПб. № 130. 23 апреля (6 мая) 1913 года. С. 3.

24 *Петр Струве*. Германская социал-демократия и война // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 66. 9 марта 1915 года. С. 2.

25 *Петр Струве*. Национальное самоопределение социалистов // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 85. 30 марта 1915 года. С. 2.

«…если германская социал-демократия, из слепой ненависти к России, готова поддерживать прусский милитаризм в его продиктованной безграничным самомнением мировой авантюре, если эта готовность налицо, она означает идейную смерть и духовное разложение германского социализма».[26]

3

Когда Первая мировая война уже началась, но Османская империя ещё не вступила в неё, Струве, понимая, что вступить в эту войну она может только против России, полагал важным для России сохранение нейтралитета Османской империи (и Болгарии[27]: он, в частности, считал её союзничество с Турцией противоестественным[28]) и тем самым вовсе не торопился заявить о планах её расчленения. Когда же она вступила в войну против России, Струве, признаваясь, что хотя «Россия не желала войны с Турцией», немедленно

26 *Петр Струве.* Вильгельм Либкнехт и Вильгельм Гогенцоллерн // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 206. 27 августа 1914 года. С. 1.

27 *Петр Струве.* Ближайшие задачи русской дипломатии // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 193. 14 августа 1914 года. С. 1. Говоря о возможном ближайшем вступлении Болгарии в войну на стороне Германии и Турции — против Сербии и России, Струве указывал на искусственность этой розни с точки зрения отношения России к Болгарии: «В широких массах России и в ответственных её политических кругах, за ничтожными исключениями, нет сербофилов или болгарофилов» (*Петр Струве*. Болгария перед роковыми решениями // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 257. 19 сентября 1915 года. С. 1). Под «ничтожным исключением» Струве, конечно, имел в виду известного своими антипатиями к сербам и симпатиями к болгарам П.Н. Милюкова.

28 *Петр Струве.* Ближневосточные перспективы вступления Турции в войну // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 263. 23 октября 1914 года. С. 1. Из заголовка статьи, трактующей об отношениях Болгарии и Турции, кстати, вновь ясно следует отнесение Болгарии к Ближнему Востоку. Призывая Болгарию отказаться от участия в антирусской коалиции и обещая ей посредничество России в болгарско-сербском споре, Струве не мог вновь не упомянуть «адвоката болгар» П.Н. Милюкова (*Петр Струве*. Россия и Болгария // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 268. 28 октября 1914 года. С. 1). Когда Болгария вступила в войну, Струве резюмировал: «Болгария есть для противогерманской коалиции теперь лишь продолженная на север и запад Турция, и борьба с Болгарией является расширением и усложнением союзнической кампании против Турции, как вассала Германии» (*Петр Струве.* Болгаро-Турция // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 266. 22 сентября 1915 года. С. 1).

предрекал: «*поставлено на карту самое бытие Турции*».[29] Когда же Турция вступила в войну, Струве развернул целую экспозицию намерений, от демонстрации которых так долго воздерживался, *страха британского* ради. Строя аналогию между Проливами и британским Суэцким каналом, в первую очередь именно для внешней торговли (чтобы не дразнить Англию русским милитаризмом), Струве уговаривал возможных британских критиков, сообщая, что интересы России и Англии на османских Ближнем и Среднем Востоке легко размежевать по примеру их размежевания в Персии в 1907 году, а османские Левант и Сирию отдать Франции:

> «*Для России ближневосточная проблема сводится теперь к "контролю" над проливами* (курсив мой. — *М.К.*). (…) Контроль над проливами есть экономическая необходимость для России, и мы должны обеспечить для себя этот контроль. Если бы Турция оставалась независимой, мы, опираясь на достаточно сильный Черноморский флот и на нашу сухопутную мощь, всегда могли бы *фактически* достигнуть в проливах такого обеспеченного положения, которое давало бы нам необходимый для нас контроль над выходом из Черного моря».

И продолжал аналогию между Проливами и Суэцким каналом, Россией и Англией, слегка риторически склоняясь перед доминирующим британским образцом:

> «Для Англии Египет является "головной" областью ее Африканской империи, простирающейся от Капштата до Александрии. (…) Африканская империя Англии должна стоять в непрерывной экономической и политической связи с ее Азиатской империей. Аравия, область нижнего Евфрата и Тигра, южная Персия суть соединительные звенья между Африканской империей Англии и Британской Индией. (…) У Великой Британии нет разумных оснований противиться русскому контролю над проливами».[30]

Струве больше не скрывал своих радикальных планов и прикладного, конкретного, черноморско-балканского смысла понятия «Ближний Восток»:

29 *Петр Струве*. Достойные ученики Вильгельма II // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 259. 19 октября 1914 года. С. 1.

30 *Петр Струве*. Мировые перспективы русско-турецкого конфликта // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 260. 20 ноября 1914 года. С. 1.

> «Теперь в связи с наступившими событиями, когда Россия, в союзе с западными державами, Францией и Англией, борется с Германией и Турцией из-за Ближнего Востока».[31]

По мере того, как в конце 1914 — начале 1915 года прогрессировало внешнеполитическое взаимопонимание России и Англии, особенно в вопросе о турецких Проливах, где Лондон поддержал претензии Санкт-Петербурга на установление послевоенного русского контроля над входом-выходом в Чёрное море и его фактическое превращение во внутреннее море России, развивалась и стратегическая фантазия Струве. Цепко реагируя на любой невольный сигнал из Англии, Струве сочувственно цитировал слова английского автора о том, что «Константинополь будет для России не столицей, не средоточием правительства, а лишь таким достоянием, как для Англии Каир или Дели». И вновь ссылался на свою «Великую Россию», которую постфактум использовал как аргумент в пользу *не названного там* Константинополя, одновременно успокаивая англичан тем, что «великое стремление к обладанию всем Черным морем» — это «завершение [территориального] расширения» России.[32]

Влиятельный в московской университетской среде (среди его учеников — В.А. Маклаков, С.Н. Булгаков, М.О. Гершензон) и авторитетный для Струве либеральный англоман, историк П.Г. Виноградов (1854–1925), в 1911 году окончательно эмигрировавший в Англию, считал своим долгом транслировать в России британские интересы и, наоборот, в Англии — внешнеполитические интересы России. Эта его добровольная интеллектуальная посредническая роль в годы войны выразилась в серии его специальных статей, которые развивали философию, как тогда называли, дальнейшего «сближения» Англии и России.[33] Его ближайшим пунктом виделось согласие Англии на политический контроль России над Балканами и аннексия Россией турецких Проливов. Виноградов свидетельствовал из Лондона в ответственный момент, ставя пределы России прежде всего, видимо, в отношении других частей Османской империи:

31 Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 316. 15 декабря 1914 года. С. 1. Полную публикацию текста этой статьи см. в очерке, вошедшем в настоящую книгу: «Забытый текст П.Б. Струве о Балканах, Проливах и целях войны… (1914)».

32 *Петр Струве.* [Германская социал-демократия и война] // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 68. 11 марта 1915 года. С. 2 (в квадратных скобках — ошибочное название статьи, по недосмотру продублированное наборщиком с названия другой статьи Струве в этом издании).

33 См. например: *Петр Струве.* Англо-русское экономическое сближение // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 13. 15 января 1916 года. С. 1–2.

> «Англия привыкает к мысли о необходимости для России выхода в Средиземное море через проливы и Константинополь. Англия не будет возражать против охранительного влияния России на южных и западных славян. Но Англия, конечно, так же, как и другие западные государства, не примирится с гегемоний русского милитаризма...»[34].

Уже в финале императорской России Виноградов иносказательно писал, что если для России нужен свободный выход в мировые морские пути (намекая на владение турецкими Проливами, но «забывая» о британском Гибралтаре), то для России — Британия (так же, как и у Струве, при полном игнорировании Франции) должна стать главным партнёром, если не покровителем:

> «Для русских Великобритания является огромной *сокровищницею культуры* материальной и духовной, великою мировою силою, направленной в основном на сохранение политического равновесия, могущей лишь потерять от приключений».[35]

4

В дни поражений Австро-Венгрии Струве с воодушевлением нашёл в британской политике формулу этнографического разделения и разрушения враждебных империй (которая, отмечу, предвосхитила знаменитые «14 пунктов» президента США В.Вильсона о государственном переделе Европы и Ближнего Востока на этно-национальных принципах). Струве определённо взял на вооружение прозвучавшее тогда заявление первого лорда Британского адмиралтейства У. Черчилля, что «эта война призвана перестроить Европу на национальных началах, удовлетворить до сих пор ещё не удовлетворённые национальные стремления».[36] Вовсе не случайно

34 *Павел Виноградов*. Англия и Россия // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 15. 16 января 1915 года. С. 2. При этом в прикладной сфере военной экономики Струве выступал в пользу милитаризации железных дорог в России: *Петр Струве*. Листки // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 30. 1 февраля 1916 года. С. 1.

35 *Павел Виноградов*. Задачи сближения России и Англии // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 335. 6 декабря 1916 года. С. 3; См. также: *Павел Виноградов*. Англия и русские военнопленные // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 53. 25 февраля 1916 года. С. 2.

36 *Петр Струве*. Решимость Англии // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 224. 14 сентября 1914 года. С. 1.

Струве, политический фритредер и экономический националист со стажем, ясно связывал свершившуюся накануне и в ходе войны доминирующую «национализацию» политики с доминированием протекционизма в мировом масштабе и в России, где стали фактами усиление и оправдание протекционизма, национализация промышленности, «усиление промышленного протекционизма вообще».[37] Это не могло не практически подчинить британскую *риторическую* «свободу торговли» суверенным и конкурентным политическим интересам.[38] И даже в контексте превозносимого русско-британского союза Струве теперь выступал против свободы внешнеторговой политики от внешнеполитических интересов России[39], а былой лозунг экономического либерализма уподоблял национально-государственному бессилию и разоблачал:

> «У нас одинаково как в бюрократии, так и в обществе распространен сейчас дух какого-то laissez faire laissez passer, не тот идеалистический и философский дух, который некогда проникал молодую политическую экономию, а полубюрократический, полуоппозиционный дух какого-то немощного государственного старчества, пуще всего страшащегося ясных решений и решительных действий».[40]

В этой филигранной операции отделения благой имперской мощи от злой мощи разрушительного милитаризма, которую Струве пришлось совершить, чтобы вдохновлять Россию британской имперской *цивилизацией*, отвергая германский *варварский* империализм, уже не хватало предметных описательных категорий. Струве переходил на агитационный тон, стараясь, впрочем, не отрываться от истории: «Германские монисты в политике и науке (имеется в виду Оствальд. — *М.К.*) не поняли, что народную совесть и национальную душу нельзя “построить”, как машинку, нельзя “устроить” или “орга-

37 *Петр Струве*. Размышления экономиста // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. №63. 6 марта 1915 года. С. 1–2. См. также: *Петр Струве.* Таможенное объединение Германии и Австро-Венгрии? // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 358. 31 декабря 1915 года. С. 1.

38 Об этом нарастающем весь XIX век влиянии протекционизма в русской общественной мысли вплоть до 1917 года и далее см. специально мой очерк: *М.А. Колеров*. Социализм в одной стране: изолированное государство, протекционизм и первоначальное социалистическое накопление. фМ., 2017.

39 *Петр Струве.* Наша будущая торговая политика // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 352. 23 декабря 1915 года. С. 1.

40 *Петр Струве.* Дух государственного старчества // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 334. 5 декабря 1915 года. С. 1.

низовать" наподобие заведения Круппа», которое символически и в силу военной мобилизации превращало Германию в «государство-машину»[41].

Внутри даже интеллектуальной русской среды нарастал «метафизический» пафос антигерманизма. Все известные русские философы приняли участие либо в патриотической, либо в националистической, либо в «антиварварской», либо иногда в милитаристской пропаганде. Струве как редактор интеллектуального журнала «Русская Мысль» был лишь частью этого потока, но, по крайней мере, старался «метафизику» уравновесить предметным культурно-историческим знанием. Это знание вновь возвращало его к проблеме, процессу, причине *превращения государственной (имперской) мощи в милитаристское зло*. Косвенно рекламируя в одной из своих газетных статей очередной номер «Русской Мысли», Струве посвятил несколько строк статье С.Л. Франка[42] о названной проблеме, которая в самом номере была опубликована встык с очерком знаменитого антиковеда М.И. Ростовцева о коллизии империализма[43]:

> «Правильная и плодотворная постановка вопроса о "духовной сущности Германии" дана, мне кажется, недавно в статье С.Л. Франка, под этим заглавием напечатанной в октябрьской книжке "Русской Мысли". В этой статье не просто германская Сила, как некое цельное зло, противополагается Добру других народов, а в этой самой германской Силе анализируются и разграничиваются элементы *Добра* и *Зла*».[44]

Здесь же Струве вступает в обширную и исторически длительную область толкования *мобилизации* как едва ли не тотальной концентрации всех наличных сил, которое преследует русскую мысль весь XX век и продолжает жить и ныне. Расширительное толкование мобилизации не порождается именно Первой

41 *Петр Струве*. Англичане и немцы // Биржевые Ведомости. 2 изд. СПб. №302. 1 декабря 1914 года. С. 1. В хронике этой же газеты — ещё *до* известного выступления В.Ф.Эрна «от Канта к Круппу» — появился и публицистический образ германского производства Круппа: «Крупп — это не завод, это целое государство со своей императрицей Крупп (теперь г-жа фон Болен), состоящее в вассальной зависимости у Вильгельма II… 60.000 рабочих, сложнейшая администрация, всюду тайны, шпионаж среди служащих» (Тайны завода Круппа // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 247. 7 октября 1914 года. С. 3).

42 *С. Франк.* О духовной сущности Германии // Русская Мысль. 1915. Кн. X.

43 *М. Ростовцев*. Национальное и мировое государство // Там же.

44 *Петр Струве*. Государственное призвание // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 15. 16 ноября 1915 года. С. 1.

мировой войной и имеет в русской публицистике богатую историю[45], которая в целом ёмко отражена в формуле Струве. Она, видимо, связана не только с войной, но и со всем строем государственной мысли Струве и его доктрины «Великой России», которая интеллектуальное одиночество автора и свою институциональную абстрактность компенсирует тотальной претензией:

> «Никакая мобилизация материальных сил не имеет и не будет иметь значения без мобилизации сил духовных».[46]

45 Струве строго следил именно за таким расширенным толкованием как нормативным, а не формальным и осуждал, например, «любительскую и наездническую мобилизацию сил внутренней борьбы» (*Петр Струве.* Ещё о речи Бетман-Гольвега // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 329. 30 ноября 1915 года. С. 1). См. также: *Петр Струве.* Подъем организованного духа // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 245. 7 сентября 1915 года. С. 1; *Петр Струве.* Мобилизация и организация патриотического духа // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 273. 5 октября 1915 года. С. 1. Ещё до войны слово «мобилизация», помимо его военного значения, иной раз использовалось для обозначения *активизации, возобновления*: Мобилизация русско-финляндской распри // Утро России. М. № 88–55. 23 января 1910 года. С. 1. Позже простое расширение использования женского и другого гражданского труда, как в Германии военного времени, а отнюдь не их призыв на государственную службу также выражалось этим понятием: *[Ред.].* Мобилизация труда беженцев // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 264. 26 сентября 1915 года. С. 1; *N*---ъ. Мобилизация женщин // Русские Ведомости. М. № 39. 17 февраля 1917 года. С. 5. Точно так же звучал призыв к активизации сообщества аграрных деятелей (не крестьян, разумеется): *У. Медведицкий*. Мобилизация аграриев // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 53. 24 февраля 1917 года. С. 1. Таким образом, понятие уже приобрело устойчивый расширительный смысл. См. также расширительное толкование понятия в других примерах: *В.В. Святловский*. Мобилизация земельной собственности в России (1861–1908). СПб., 1911; *[Ред.]*. Духовная мобилизация // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 170. 22 июля 1914 года. С. 1; *Л. Яснопольский*. Финансовая мобилизация // Русская Мысль. 1914. Кн. XI; *К. Воблый.* О мобилизации труда в сельском хозяйстве // Новый экономист. М., 1915. № 10; *Тан.* Сами себя мобилизовавшие // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 20. 22 января 1916 года. С. 5; *С. Франк.* Мобилизация мысли в Германии // Русская Мысль. 1916. Кн. IX. Наконец, в среде правящих большевиков: «Мобилизация духа и меры против распадения пролетариата могут избавить от гибели русскую революцию, по крайней мере, на ближайший период» (Протоколы съездов и конференций ВКП(б). Седьмой съезд. Март 1918 года / Под ред Д. Кина и В. Сорина. М.; Л., 1928. С. 37 (выступление Н.И. Бухарина 7 марта 1918 года)).

46 *Петр Струве.* Государственное призвание. С.1. При этом Струве отвергает недостаточно серьёзное отношение к духовной мобилизации, называя таковое «любительской и наездниче ской мобилизацией сил» (*Петр Струве*. Ещё о речи Бетман-Гольвега // Биржевые Ведомости. 2 изд. СПб. №329. 30 ноября 1915. С. 1). Ср.: *С. Франк.* Мобилизация мысли в Германии // Русская Мысль. 1916. Кн. IX.

И здесь тоже Струве привычно апеллирует к опыту Британской империи. Постулируя одним из первых ту ставшую массовой в 1920-е годы мысль, что «переживаемая нами война есть война народов», Струве косвенно полемизирует с С.Н. Булгаковым, который в художественном анализе противоборства России и Германии действительно едва ли не оправдывал материальную слабость русской армии тем, что она компенсировалась её духом[47]:

> «Превосходство техники и организации с самого начала были явно на стороне Германии, но величайшей ошибкой общественного мнения враждебных Германии стран было трактовать это превосходство техники и организации, как превосходство чисто и только материальное. Техника и организация суть выражения более глубинных, духовных факторов или сил».

Поэтому вместе с введением в Англии всеобщей воинской повинности Струве формулирует аналогичную британской задачу духовной мобилизации, то есть аналогию «английскому пробуждению» — добровольчества русской интеллигентной молодёжи, подчинения «единой моральной задаче», личной ответственности, *подчинения частной инициативы государственной обороне*.[48]

Хорошо известно, что в 1916 году в составе делегации общественников Струве ездил в Англию с официальным дружественным визитом и удостоился звания почётного доктора Кембриджского университета, в России будучи лишь магистром (доктором наук он стал лишь в феврале 1917 года). Даже готовящееся введение сухого закона в Великобритании после реализации такого же в России Струве рассматривал как акт духовного единства двух стран[49] и восторженно отзывался о британской национальной самокритике.[50] Точности ради надо отметить, что этот англоманский восторг Струве вовсе не был результатом его растущей ангажированности британским союзничеством.

47 См. в настоящей книге: *С.Н. Булгаков*. Кольцо Нибелунгов (Из размышлений о германизме) (1915).

48 *Петр Струве*. Второе Рождество на войне // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 355. 28 декабря 1915. С.1.

49 *Петр Струве*. В России и в Англии // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. №341. 13 декабря 1915 года. С. 1. Он оценивал сухой закон в России как акт «мобилизационно-общественной гигиены»: «Россия производит социальный эксперимент, имеющий… по своему содержанию прямо мировое значение» (Петр Струве. Героическая реформа // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 253. 13 октября 1914 года. С. 1).

50 «В одном из последних номеров “Русских Ведомостей” напечатан чрезвычайно интересный очерк г. В. Жаботинского, посвященный “политической психологии англичан”…» (*Петр Струве*. Листки // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 337. 8 декабря 1915 года. С. 2).

Ещё *до того*, как Великобритания дипломатически внятно поддержала претензии России на турецкие Проливы, в самом начале Первой мировой войны Струве так писал о главной политической цели «сближения», словно Франции рядом с ними в этой войне просто не существовало[51]: «устроение и ведение мировых дел на основе соглашения между Англией и Россией».[52]

В этот исторический момент Струве проникается не только образом внешней имперской мощи либерального государства Великой Британии, но и той колониально-империалистической сложностью, которую даёт эволюция Британской империи по пути этнографического и регионального дробления своей периферии. Эта колониальная и имперская периферия уже в 1917–1918 годах будет быстро превращаться в сеть лимитрофов — квазинациональных государств на развалинах Германской, Австро-Венгерской, Османской, Российской империй и между ними. Эта этнографическая (даже рационально сконструированная) сложность, по замыслу Струве, как-то может быть совмещена со стандартом Германской империи, где «верхний этаж» высшей немецкой культуры не просто надстраивается над этнографией, но быстро ассимилирует её.

5

После взятия русскими войсками австро-венгерского Львова Струве направил свои стратегические размышления на судьбу Австро-Венгрии. Он её сразу же похоронил, словно делал это всегда, но на самом деле — похоро-

51 В самых принципиальных формулировках о перспективах победы антигерманской коалиции Струве демонстративно и неизменно избегал упоминаний о Франции (видимо, считая её пассивным, «младшим» участником коалиции), форсируя указания на равную британской роль России: и конкретные планы мирового устройства — «абсолютная жизненная необходимость для России и Англии», и «между интересами России и Англии в этой войне существует полная, до конца идущая солидарность, — недаром фронт войны вытянулся от Риги до Багдада» (Петр Струве. Толки о мире // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. №3 51. 22 декабря 1911 года. С. 1). Р.Пайпс тоже обратил внимание на то, что Струве, при описании мировой войны «перечисляя великие державы — Англию, Россию и Германию, — даже не вспоминал о Франции» (Ричард Пайпс. Струве: правый либерал, 1905–1944. С. 261), но предъявил Струве комичную претензию за то, что тот при этом «полностью игнорировал Соединённые Штаты как фактор мировой политики» (С. 267), хотя США вступили в мировую войну лишь в июне 1917 года.

52 *Петр Струве.* Англо-русское сближение // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 288. 17 ноября 1911 года. С. 1. Здесь же Струве называет именно Г. Вильямса и Б. Перса (Пэрса) «лучшими знатоками России в современной Англии».

нил неожиданно, без плана. Он писал после взятия Львова: «Австро-Венгрии больше нет… Разорваны германо-мадьярские пути, сковывавшие народы Австро-Венгрии».[53] И вслед этому формулировал задачи России в отношении наследства дунайской монархии: присоединение Галиции к России, введение Венгрии в её этнографические границы[54], расширение за счёт Венгрии Сербии и Румынии, создание единого государства в границах Богемии, Моравии и Силезии.[55] Теперь Австро-Венгрия, угрозам которой и превращению которой в абстракцию «славянской державы»[56] посвятил столько усилий Струве, по его новому мнению, оказалась внутренне давно мертва: «Меч разъединил то, что распалось внутри себя».[57] Впрочем, такую задачу *уничтожения* Австро-Венгрии

53 *Петр Струве*. Катастрофа Австро-Венгрии // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 209. 30 августа 1914 года. С. 1.

54 Террор венгров против русин («угроруссов») также был печатно отмечен Струве. Кроме того, Струве внятно указывал и на исторические корни конфликта венгров с сербами ещё в 1849 году: «У самого революционного диктатора Кошута был прямо план — *сербов совершенно истребить* и заселить их земли гонведами» (*Петр Струве*. Стиль венгерского государства // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 230. 20 сентября 1914 года. С. 1).

55 *Петр Струве*. Судьбы Австро-Венгрии // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 213. 3 сентября 1914 года. С. 1. В разделе ослабленной Австро-Венгрии Струве призывал принять участие и всё ещё нейтральные Италию и Румынию (*Петр Струве*. Италия и Румыния // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 222. 12 сентября 1914 года. С. 1). См. также: *Петр Струве*. Четверное согласие и нейтральные // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 29. 31 января 1916 года. С. 1. Говоря о том, что Австро-Венгрия даже как федерация, столь любимая в социал-либеральной среде, не имеет теперь права на жизнь, Струве самокритично признавался: «Вероятно, многим из русских интеллигентов до войны идеалом государственного устройства представлялась безнациональная Австрия, и для России виделся один путь развития — австрийский федерализм с его национальными автономиями. Война, однако, вскрыла с поразительной ясностью слабость австрийского государственного тела, лишенного национального духа, руководящей, единящей и творящей национальной идеи. (…) Многие, может быть, только на факте войны 1914 г. поняли, что Россия сильна, как *национальное* государство. Это ощущение России, как национального государства, есть правда национализма, как чисто политического начала. Россия есть Империя с национальным ядром (русским), неоспоримо первенствующим. Россия не просто национальное государство вроде Франции или Германии, а именно национальная Империя. Отсюда ненужность и невозможность для нее автономного строя, подобного австрийской действительности или австрийским идеалам» (Петр Струве. Национальное начало в либерализме // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 309. 8 декабря 1914 года. С. 1).

56 «Славяне должны овладеть Австрией и укрепить её как славянское государство» (*Петр Струве*. Размышления. IV // Слово. СПб. № 460. 18(31) мая 1908. С. 2).

57 *Петр Струве*. Суд истории // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 214. 4 сентября

ради *польских, галицийских* и *ближневосточных*[58] интересов России Струве начал ставить с первых же дней войны, полагая, что «России и её военной силе выпадает роль спасительницы Европы и решительницы войны». Он писал тогда, что целями войны должны стать ограничение влияния и экспансии Германии — «неизбежный *раздел*» Австро-Венгрии.[59]

Когда под контроль русской армии и российской имперской администрации была завоёвана входившая в состав Австро-Венгрии населённая русинами Галиция (Галичина), Струве посетил новые земли России. Он специально, бросив ведение всех редакционных дел своего журнала «Русская Мысль» на С.Л. Франка, поехал в Галичину в конце 1914 года и пробыл там всё начало 1915 года — в качестве «уполномоченного всероссийского земского союза».[60] Здесь, на местности, известное отрицательное отношение Струве к «украинизации» русинов, которую проводили австро-венгерские власти и поддерживала часть русинской и малороссийской интеллигенции, заметно изменилось. Видимо, Струве думал о том, как практически будет выстроена автономия Галиции в составе Российской империи и на какие силы русская власть сможет там опереться, чтобы конкурировать теперь не с австрийским, а с мощным польским влиянием. Польша в планах послевоенного устройства превращалась в мощную независимую или почти независимую от России силу[61] и по-

1914 года. С. 1. См. его проповедь расчленения Австро-Венгрии также здесь: *Петр Струве*. Критический поворот // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 286. 15 ноября 1914 года. С. 1.

58 Именно *ближневосточных* — в применении к Балканам: *Петр Струве*. Власть и народ в серьезный момент. I. Сейчас // Русская Молва. СПб. № 127. 20 апреля (3 мая) 1915 года. С. 3.

59 *Петр Струве.* Бельгия — заложница, Россия — спасительница // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 197. 18 августа 1914 года. С. 1. См. также о не просто отделении Венгрии, а о её разделе: за раздел Венгрии: *Петр Струве.* Реальная Венгрия и идиллическая «Угрия» // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. №84. 29 марта 1915 года. С. 1; о задачах уничтожения и австрийской династии, и «венгерской олигархии»: *Петр Струве.* Судьбы Австрии и Венгрии // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 83. 28 марта 1915 года. С. 1.

60 *Петр Струве*. Письма из Галиции. I. // Биржевые Ведомости. 2 изд. СПб. №1. 1 января 1915 года. С. 2 (подписано: Львов, 24 декабря 1914 года). В конце декабря 1914-го — январе 1915 года ездил в Галицию вместе с С.А. Котляревским и А.П. Толстым (*Петр Струве*. Перемышль пал // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 67. 10 марта 1915 года. С. 1).

61 Струве горячо поддержал воззвание императорской власти (верховного главнокомандующего вел. кн. Николая Николаевича) к полякам о будущем их объединении и национальном самоопределении под покровительством России от 1 августа 1914 года как акт единства народа и власти (*Петр Струве.* Исторические необ-

тому главным становился вопрос о культурно-этнографическом отделении от её экспансии, глубоко укоренённом в западнорусских губерниях и в новой русской Галиции.

Ещё в конце декабря 1914-го — начале января 1915 года Струве рисует перспективы только что завоёванной Галиции как автономной «Галицкой Руси» в составе России и отвергает её «украинство».[62] Но уже через месяц, лично изучив реальность, Струве начинает «реабилитировать» не только католицизм, враждебно критикуемый русскими консерваторами[63], как характеристику союзной Франции и русской Польши, но и украинизацию и униатскую церковь. Струве так писал по этому поводу, вспоминая украинизаторское наследие М.П. Драгоманова, митр. Андрея Шептицкого, М.С. Грушевского, видя мощное влияние униатов, служащее защитой от полонизации: уния «по существу вовсе не связана с украинством», «с национально-политической точки зрения униатская церковь может быть легко вдвинута в рамки нового русского бытия Галиции».[64]

«Украинство» в Галиции, писал Струве, в условиях австрийской власти и польской автономии было «борьбой за русскую народность… по линии наименьшего сопротивления… таков смысл и в известной мере историческое оправдание “украинства” рядом с “москвофильством” в русинской среде, без этого и без “защитного компромисса” унии русинам грозило “ополячение”». «Противопоставляя национально-русскую и украинскую точки зрения, я в то же время ясно вижу, что это противопоставление не может претендовать на абсолютное значение… украинский элемент, строго держащийся в областных рамках… вполне совместим с общерусской культурой»: «малорусский, русинский, украинский, назовите, как хотите, элемент рядом с русским может суще-

ходимости // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 187. 8 августа 1914 года. С. 1). Р. Пайпс указывает на мемуарное свидетельство самого Струве о том, что он вместе с Н.Н. Львовым помогал Г.Н. Трубецкому готовить текст этого обращения: *Ричард Пайпс*. Струве: правый либерал, 1905–1944. С. 270, прим. 25. О самом воззвании см. фундаментальное исследование: *Александра Бахтурина*. Воззвание великого князя Николая Николаевича к полякам 1 (14) августа 1914 года: значение и политические последствия // Empires and Nationalisms in the Great War: Interactions in East-Central Europe / Acta Historica Universitatis Klaipedensis. XXXI. 2015: http://briai.ku.lt/downloads/AHUK_31/31_046-072_Bakhturina.pdf.

62 *Петр Струве*. Письма из Галиции. II. // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 13. 14 января 1915 года. С. 1–2 (подписано: Львов, 6 января 1915 года).

63 *Петр Струве*. Верные и неверные пророчества Ф.М. Достоевского // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 316. 15 декабря 1914 года. С. 1.

64 *Петр Струве*. Вероисповедный вопрос и политика в Галиции. Проблемы и трудности // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 34. 5 февраля 1915 года. С. 2.

ствовать лишь как элемент областной рядом с национальным… Нужно, чтобы вся грамотная Галичина стала читать Гоголя в *русском* оригинале».[65]

В серии своих внешнеполитических статей военного времени Струве выступил за дальнейшую суверенизацию Балкан и объединение сербов и хорватов на будущих развалинах Австро-Венгрии.[66] Продолжая связывать внешнеполитические достижения России в результате войны с задачами внутреннего развития, Струве прозрачно мыслил связи внутреннего политического (и социального! — как социалист) освобождения России с её внешней освободительной экспансией. Если на Ближнем Востоке он видел цель России — в экономической экспансии, не говоря о политическом разделе Османской империи и удовлетворяясь лишь Проливами, то на Балканах ему казалось достаточным ограничиться их политическим освобождением от Турции и Австро-Венгрии. «Пусть война освободит народы вовне и принесёт политические и социальные реформы внутри», — писал он, очевидно, о Дунайской монархии.[67] «Осуществление исторических задач России на Босфоре находится в ее собственных руках», — писал он, очевидно, об Османской империи.[68] «Только через Кон-

65 *Петр Струве*. Из галицийских впечатлений // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 29. 30 января 1915 года. С. 5. Чуткие оценки перспектив украинизации австрийской Галичины и русской Волыни не были чужды Струве и прежде, когда он исследовал перспективы русской черносотенной пропаганды на Волыни. Ныне считается, что поворотным пунктом для политической украинизации Галичины и Волыни (давшей значительные всходы в межвоенном национал-социалистическом украинском движении) стало наследие Первой мировой войны, когда эти этнографические территории отошли от распавшейся Австро-Венгрии и в итоге были присоединены к Польше. Накануне войны Струве, несмотря на своё обычное разоблачение «украинства» как политической австрийской интриги, признавал, что на Волыни украинизация перестала носить административно-интеллигентский характер: «По мнению знатоков, листки Почаевской лавры нужно лишь слегка ретушировать, чтобы получить эсерские прокламации о земле, а сведущие в украинских делах люди уверяли меня, что написанные на малороссийском языке прокламации этого учреждения объективно подготовляют украинское возрождение в самом демократическом стиле» (*П.Б. Струве*. Размышления на политические темы. XIII. Две конверсии. Истина не только социологическая, но и полицейская // П.Б. Струве. Patriotica. С. 142 (9 мая 1909 года)).

66 *Петр Струве*. Юго-славянское объединение // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 57. 28 февраля 1915 года. С. 1–2.

67 *Петр Струве*. Нравственный смысл войны // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 54. 25 февраля 1915 года. С. 2.

68 *Петр Струве*. Великая война и вопрос о проливах // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 53. 24 февраля 1915 года. С. 1. При этом Струве считал негодным компромиссом идею о передаче России лишь «северной части Босфора»: *Петр Струве*. Неизбежный путь // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 103. 17 апреля 1915 года. С. 2.

стантинополь и проливы Россия, как держава, как великий хозяйственный и политический организм, *начнет дышать полной грудью* (…) через Константинополь Россия пробивается на Запад и прорубает себе туда новое окно», — писал он о Балканах как Ближнем Востоке Запада и Османской империи.[69]

Итак, единственной предметной частью доктрины «Великой России» в дни войны, в дни её исторической проверки, стала её проекция на военную, политическую и экономическую экспансию России на русский «Ближний Восток» того времени: Проливы и Балканы. Ради этого Струве обрекал на расчленение и ликвидацию Австро-Венгрию и Османскую империю. А усложнение и эволюция практического разума Струве, явленного в корпусе публицистики Струве 1914–1916 годов, но в целом замолчанном и самим Струве, и его биографами, заставляют внести в его биографии коррективы, дополнительные к теории «Великой России». Изложения этой теории и без того недостаточно внятно указывают на утверждаемую ею принципиальную политическую зависимость России от Британской империи. Но война сделала в сознании Струве эту зависимость ещё большей, в том числе потому, что резко выросшие надежды Струве на передел «Ближнего Востока» (включая Проливы и уничтожение Австро-Венгрии и Османской империи) в интересах России требовали от Британской империи ещё большей поддержки. Ожидая и прося такой поддержки, Струве резко изменил своё азбучно известное политическое мировоззрение. Главное в этих переменах осталось после 1914–1916 годов забытым, а именно то, что Струве:

(1) отказался от германского образца для индустриально-политического развития России и полностью разочаровался в германской социал-демократии, поддержавшей германский милитаризм;

(2) пересмотрел своё отрицательное отношение к «украинству» и униатству, признав и приняв их влияние в Галиции, присоединяемой к России, как позитивное, необходимое и особо важное в перспективе расчленения Австро-Венгрии;

(3) пошёл против риторики своей русской религиозно-общественной среды, выступив «адвокатом» католицизма в интересах военного союза с Францией и политического союза России с независимой и объединённой Польшей, которая должна была стать одной из разрушительниц Австро-Венгрии и противовесом Германии;

(4) категорически выступил за дополнительную к полному контролю России над Балканами и Чёрным морем («Ближним Востоком» того времени) аннексию Проливов у Османской империи, за прямое расчленение которой он не выступал ранее, опасаясь запрета Англии как главного союзника и покровителя России.

69 *Петр Струве*. Воскрешение Царь-града // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 79. 22 марта 1915 года. С. 1.

(5) покончил с унаследованной им славянофильской сентиментальностью в отношении балканских народов и утверждал в забытой и новонайденной статье: «Россия, владея Константинополем, будет стоять именно как бы на страже свободы всех славян и *всех восточных* народностей… Она спасет их друг от друга, и именно будет стоять на страже их свободы. Она будет стоять на страже всего Востока и грядущего порядка его».[70]

70 *П.Б. Струве*. Верные и неверные пророчества Ф.М. Достоевского // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 316. 15 декабря 1914 года. С. 1. Полную публикацию текста этой статьи см. в очерке, вошедшем в настоящую книгу: «Забытый текст П.Б. Струве о Балканах, Проливах и целях войны… (1914)».

Приложение

Петр Струве. Международное положение и международная реакция (1908)[71]

В течение лета произошли события настолько многозначительные, что не хотелось их касаться под первым впечатлением, которое могло быть поверхностным и ошибочным. Я разумею государственный переворот, происшедший в Турции. Теперь всё яснее и яснее становится, какими огромными последствия чреваты эти события. И в то же время совершенно ясно, что этот переворот — лишь один из эпизодов той новой эры европейской и мировой истории, которая началась крушением старого порядка в России. В настоящий момент словосочетание «крушение старого порядка в России» звучит, конечно, какой-то насмешкой над русскими людьми.

Но я говорю не о сегодняшнем дне, который принадлежит Дубровиным и Меньшиковым, а о событиях в их исторической перспективе, в их неизбежном сцеплении, в их логическом завершении. Турецкий переворот есть необходимое последствие столько же революции, сколько и реакции в России. И последнее для нас интереснее и важнее, чем первое. Можно сказать, что это, с русской точки зрения, самое важное поучение, которое дают нам турецкие события.

Несомненно, что они усложняют до последней степени международное положение России. Осью всей мировой политики в настоящее время являются отношения между Англией и Германией. Что же внес турецкий переворот в международную ситуацию под знаком англо-германского соперничества? До турецкой конституции России принадлежала в этой ситуации огромная роль. Как ни расшатана была Россия войной и противонациональными эксцессами революции, за которыми спешит угнаться и которые уже перегнала противонациональная, убийственная для государства реакция, — несмотря на свою внутреннюю слабость, по самому соотношению международных сил Россия была очень большой величиной.

Но теперь эта сила нейтрализована и связана. Рядом с ней стала новая Турция, которая в короткое время должна вырасти в крупнейшую силу, всегда способную войти в любую международную комбинацию.

71 Слово. СПб. № 551. 2(15) сентября 1908 года. С. 1.

Турция, по всему своему прошлому, не может быть «другом» России. Это было бы психологически противоестественно и политически нерационально для Турции. А в то же время Турция может и даже должна быть «другом» по крайне мере одной из тех двух держав, отношения между которыми господствуют над мировой политикой — либо Англии, либо Германии. Но положение новой, конституционной и либеральной Турции среди этих двух держав ещё выгоднее: она может быть «другом» и той, и другой вместе. Это положение совершенно напоминает недавнее положение России между Францией и Германией (одна комбинация) и между Англией и Германией (другая комбинация). Первую комбинацию Россия — себе назло — использовала в том протесте против Симоносекского мира, из которого родилась русско-японская война. Вторую комбинацию она могла бы использовать в балканском вопросе, если бы вместе с турецкой конституцией на Ближнем Востоке не произошла полная перемена декораций.

Таким образом, не только Россия, как международная сила, нейтрализована и связана Турцией. Последняя готовится в известном смысле занять, да позволено будет мне так выразиться, то «психологическое место», которое до последнего времени в международной системе принадлежало России. Из этого могут вытечь очень разнообразные последствия, и даже весьма неожиданные. И одним из таких последствий, на мой взгляд, может быть, если не англо-германское сближение, то во всяком случае установление между Англией и Германией гораздо лучших отношений, чем те, которые господствуют теперь. Международная ценность и защищенность России ещё более понизится. По существу наступит ее изолирование, такое, какое было в эпоху перед крымской войной (что и привело к последней) и потом после русско-турецкой войны 1877–1878 гг. до русско-французского сближения. Почему же Турция может способствовать англо-германскому сближению? Очень просто. Потому что она нуждается в дружбе и поддержке обеих этих держав, и обе оне заинтересованы в ее дружбе. Это почва, которая сама повелительно диктует компромисс. О том, что интересы Турции и Германии солидарны, не стоит особенно распространяться. Немцы ищут в Турции приложения для своего капитала и для своей предприимчивости и никакими политическими аспирациями, опасными для Турции, не задаются. Возрождающаяся Турция может только выиграть от проникновения в нее даров германской экономической культуры. Взаимоотношения Англии и Турции сложнее. Англия заинтересована в том, чтобы египетский вопрос не был поставлен во враждебном ей смысле; с точки зрения положения вещей в Индии, где мусульмане составляют самый лояльный элемент, она должна считаться с «мусульманским» сознанием вообще, которое и окрепло именно под влиянием государственного переворота в Турции. С другой стороны, английская дружба, начиная с английского капитала, прямо неоценима для возрождающейся Турции,

опираясь на собственные экономические и культурные силы, Турция может много навредить англичанам, а Англия, враждебная Турции, может прямо раздавить последнюю; и в то же время Англия не извлечет из уничтожения Турции для себя такой выгоды, которая сколько-нибудь соответствовала бы серьезным замешательствам, всегда связанным с подобным столкновением.

Вот почему Турция должна быть в дружбе с Англией. С другой стороны, собственный экономический интерес Турции требует от нее, повторяем, поддержания самых лучших отношений с Германией.

Что все это означает? А то, что международное положение России изменилось и осложнилось в огромной мере после турецкого переворота. Нельзя при этом упускать из виду того, что возрождение Турции ослабляет положение России и на Дальнем Востоке, ибо иметь своими соседями на двух противоположных концах сильную Турцию и сильную Японию — значит быть в сущности… зажатым с двух концов.

В начале XIX в. во время наполеоновских войн была распространена карикатура на русских с надписью: «Nous arrivons toujours trop tard» (см. эту карикатуру в книге Шильдера об Александре I). Когда обозреваешь в широкой исторической перспективе события последних 30–40 лет, всегда припоминаешь это изречение, и ясно видишь, как внутренняя реакция ослабляла международное положение России и вела ее к поражениям.

В том международном положении, в котором находится теперь Россия, только величайшее напряжение всех внутренних сил может предотвратить дальнейшее ослабление государства.

Между тем, что мы видим? Страна успокоилась и ушла внутрь себя. Начался сложный труд переработки политического созерцания, на котором выросли и действовали целые поколения. В это успокоение раздумья, из которого должно и может вырасти новое культурное творчество, растущая реакция беспрерывно бросает свои вызовы, которые свидетельствуют о том, что она одержима духом мелкой мстительности, застилающей перед ней всякие государственные перспективы.

Всякий день может принести нам великие государственные испытания. И ужас разбирает при мысли о том, с каким *вновь накопленным* капиталом ожесточения мы вступим в эти неизбежные испытания. Между тем, быть может, никогда ещё Россия так не нуждалась в национальном подъеме.

И какой насмешкой звучат самые слова «национальный подъем» в эту минуту, когда лозунгом дня является призыв к низости и вымогательство подлости.

Внутренняя реакция есть теперь такая же, нет, даже большая национальная опасность, чем до русско-японской войны. Она есть разложение и убийство государства в самых его основах.

Лондон. 29-го августа 1908.

Почему П.Б. Струве отказался печатать «Петербург» Андрея Белого (1912)

Хорошо известен, но до сих пор остаётся недостаточно выясненным скандал начала 1912 года вокруг категорического отказа редактора-издателя журнала «Русская Мысль» П.Б. Струве принять к публикации в журнале первую часть романа Андрея Белого «Петербург», заказанного автору, несмотря на то, что эта первая часть была уже одобрена В.Я. Брюсовым, который возглавлял в журнале литературный отдел. Особенно скандальным было то обстоятельство, что Струве отказался выплатить Белому обещанный гонорар, что тогда прозвучало знаком особого, неприличного ожесточения. Теперь выясняется, что именно 1911–1912 годы были временем крайней материальной бедности журнала, но это нисколько не оправдывает совершенно не характерного для Струве отказа от исполнения материальных обязательств. В литературе настойчиво звучит абсурдное мнение, что Струве почему-то, в противоречие всей его политической борьбе и принципиальной редакционной терпимости, был обижен антиправительственным и даже антимонархическим пафосом романа[1], словно Струве в 1912 году был апологетом правительства и монархии.

Но какой именно текст первой части романа «Петербург» Струве получил от Андрея Белого? Только ответив на этот предварительный вопрос, мож-

1 Автор этого мнения по-прежнему настаивает: «Струве, один из идеологов конституционной монархии (?!) и лидеров кадетской партии, вряд ли способен был одобрить (?!) ту злую критику в адрес буржуазных верхов России и всей системы государственности, которая содержалась в романе Белого» (*Л.К. Долгополов.* Творческая история и историко-литературное значение романа А.Белого «Петербург» // Андрей Белый. Петербург / Изд. подг. Л.К. Долгополов. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2004. С. 556).

но пускаться в просторы интерпретации. Удивительно, что мало тех, кто даёт себе труд соблюсти это категорическое предварительное условие, и много тех, кто интерпретирует мотивы отказа Струве, опираясь на текст, ***которого он не видел***. Вот, например, классик науки о Струве Ричард Пайпс, автоматически следуя автору романа, пишет:

> «В воспоминаниях, написанных в 20-е годы, Белый объясняет негативную реакцию Струве личными мотивами. Он полагал, что Струве был задет одним из второстепенных персонажей романа, в котором узнал карикатуру на самого себя: "У меня в романе изображен рассеянный либеральный деятель, на последнем митинге сказавший радикальную речь и тут же переметнувшийся вправо". Действительно, в переработанной (nota bene! так в оригинале текста: revised book version[2]. — *М.К.*) версии книги мельком появляется некий профессор статистики, который участвует в светской вечеринке...»[3].

Да, Белый считал, что Струве был обижен на якобы представленный в тексте образ либерального профессора, забыв, что в главах, которые сам писатель направил в журнал (а, конечно, он отправил туда не позднюю переработанную версию текста для отдельного книжного издания), этот образ отсутствовал. Но именно в этом русле, идя по ложному следу, хорошо знавший Белого лично и хорошо знавший Струве политически и литературно марксист вспоминал о романе и возможных мотивах отказа так:

> «...презрением, шаржем, насмешкой, отвращением [в отношении к революции, социализму, терроризму] наполнен "Петербург" (...) В "Петербурге" Белого в главе "Бал" изображается некий профессор статистики, который, "пофыркивая в клочковатую бороду" и "защипнув двумя пальцами пуговку сюртука" земского деятеля, докладывал ему о "годовом потреблении соли нормальным голландцем". На кого этот шарж? На профессора И.И. Янжула или проф. А.Ф. Фортунатова?»[4].

Однако известно, что Андрей Белый представил для публикации в «Русскую Мысль» лишь первые главы романа, представляющие собой острый пам-

2 *Richard Pipes.* Struve: Liberal on the Right, 1905–1944. Cambridge (Mass.) and London, 1980. P. 197.

3 *Ричард Пайпс.* Струве: правый либерал, 1905–1944 / Пер. А. Захарова. М., 2001. С. 255.

4 *Н. Валентинов (Н. Вольский).* Два года с символистами. М., 2000. С. 302, 284, прим.

флет на самого Струве, невольно изобразив интимную историю его ранней общественной карьеры, что и вызвало его крайний, хоть и не сформулированный ясно протест.[5]

Факты общеизвестны: в январе 1912 года редактор журнала «Русская Мысль» П.Б. Струве прочел *первые три главы* романа Андрея Белого и, несмотря на сделанный писателю заказ, решительно отказался его печатать. Хотя представленные главы были лишь первым вариантом, да и роман не имел окончательного названия, уже эти подступы к теме отвратили заказчика. Можно подумать, что причины такого решения были чрезвычайно принципиальны и настолько существенны, что никогда не отличавшийся скупостью редактор отказался выплатить автору гонорар. В этом чувствовалась обида.

В письме В.Я. Брюсову Струве подчеркивал: «Вещь эта абсолютно неприемлема, написана претенциозно и небрежно до последней степени».[6] И несколько дней спустя называл роман «незрелым и прямо уродливым произведением». Но нисколько не прояснял, что именно вызвало его неприятие. Ведь публикация на страницах «Русской Мысли» под редакцией Струве художественных произведений, прямо говоря, небрежных и просто посредственных не была редкостью.

Предположения, высказанные наблюдателями инцидента, исходили из возможности принципиальных разногласий. Белый так излагал версию Брюсова: Струве

> «имеет очень многое возразить против тенденции «Петербурга», находя, что она очень зла и даже скептична. (...) Только потом стало ясно, что я, как всегда, нетактично дал маху, попавши не в бровь, а в глаз Струве; у меня в романе изображен рассеянный либеральный деятель, на последнем митинге сказавший радикальную речь и тут же переметнувшийся вправо; и по виду своему, и по политической ситуации это был живой портрет Струве, который увидел себя».[7]

5 Эти аргументы в целом приняты А.В. Лавровым: *А.В. Лавров.* Комментарии // Андрей Белый о Блоке. М., 1997. С. 562, прим. 50; *А.В. Лавров.* Примечания // Андрей Белый. Начало века. Берлинская редакция (1923) / Изд. подг. А.В. Лавров. СПб., 2014. С. 969. Примечательно, что, независимо от привходящих обстоятельств, роман А. Белого «Петербург» внутри редакции «Русской Мысли» считался мерилом литературного «бреда» (*Модест Колеров.* С.Л. Франк. Из отзывов на рукописи в редакцию «Русской Мысли» (1915–1916) // Исследования по истории русской мысли. [6]. Ежегодник за 2003 год. М., 2004. С. 589).

6 Цит. по: *Л.К. Долгополов.* Творческая история и историко-литературное значение романа А. Белого «Петербург» // Андрей Белый. Петербург. Л., 1981 (Литературные памятники). С. 555. Далее ссылки на это издание даются в тексте.

7 *Андрей Белый*. Между двух революций / Подгот. текста и коммент. А.В. Лаврова. М., 1990. С. 438.

Газетно-журнальные подтрунивания над Струве в 1906–1911 годах были очень распространены[8], особенно после того, как, говоря словами романа, «готовилось нечто вроде сближения между одною из групп (…) гуманных реформ — с истинно-патриотическими сердцами» (С. 153). И хотя параллели между образом «либерального профессора» и Струве возможны (равно как и такие параллели со многими другими деятелями эпохи), представляется обоснованной осторожность исследователей романа, сообщающих, что документальных подтверждений того, что Струве узнал себя в герое, нет (С. 664). В отсутствие позднейших «личных» догадок Белого складывалось мнение о том, что, «по мнению Струве, роман имел в себе антизападнические идеи и проникнут пессимизмом» (С. 557–558).

Видимо, из совокупности догадок и вытекает суждение исследователя о причинах инцидента, согласно которому «Струве, один из идеологов конституционной монархии и лидеров кадетской партии, вряд ли способен был одобрить ту злую критику в адрес буржуазных верхов России и всей системы государственности, которая содержалась в романе Белого. Сторонник буржуазных реформ, Струве, естественно, не мог положительно отнестись и к тому отрицанию Запада, которое заполняло страницы романа Белого» (С. 556). Или еще конкретнее: «Для редактора «Русской мысли» была скорее неприемлема (…) резкая критика правительственно-бюрократических кругов».[9]

Но очевидно, что Струве вовсе не был «идеологом конституционной монархии» и к 1912 году был далек и от лидерства, и от активного членства в кадетской партии.

* * *

Похоже, Струве именно по рекомендации «неославянофила» С.Н. Булгакова, восхищенного «славянофильским» «Серебряным голубем» (1909) Белого[10], заказал ему новый роман[11]. Давно и доверительно знакомая со Струве

8 См., в частности, публичные злые шутки над Струве как главным редактором «Русской Мысли» и самим этим журналом: *М.В. Колеров*. Заметки по археологии русской мысли: Булгаков, Струве, Розанов, Котляревский, Флоровский, Бердяев, журнал «Скифы», ГАХН // Исследования по истории русской мысли. 11: Ежегодник за 2012–2014 годы. М., 2015. С. 611–612.

9 *С.С. Гречишкин, А.В. Лавров*. [Вступительная статья]. Переписка с Андреем Белым. (1902–1912) // Валерий Брюсов. М., 1976 (Литературное наследство. Т. 85). С. 344.

10 См. в настоящем сборнике: *С.Н. Булгаков*. Письма к Андрею Белому (1910–1911).

11 Впервые об этом: *А.В. Лавров*. Комментарии // Белый Андрей. Между двух революций. С. 555. См. в настоящей книге восторженные письма С.Н. Булгакова к Андрею Белому этого периода (которые, однако, демонстративно холодно были приняты

Л.Я. Гуревич, одно время заведовавшая литературным отделом «Русской Мысли», обсуждая со Струве план своих критических сочинений для журнала, ясно обозначала место в нём, консенсуально отводимое для самого Брюсова и его протеже в письме от 18 января 1910 года: «…думаю всё-таки написать не о реалистах, а об “экзотике” — “Огненном Ангеле” [Брюсова], Кузьмине и м.б. Белом».[12]

Андрей Белый вспоминал о своём посещении московского «неославянофильского» книгоиздательства «Путь» после мая 1911 года:

> «Большую близость я чувствовал к деятелям *“Пути”*: меня ласково встретил [Г.А.] Рачинский; переглянулся со мною словами приветливо князь [Е.Н.] Трубецкой… И профессор Булгаков высказывал мне и вниманье и ласку; он сделал тогда предложение мне — передать *“Русской Мысли”* мой новый роман (его должен был я написать); говорил он со Струве по этому поводу». Вскоре при посредничестве Брюсова, пишет Белый, Струве «меня звал, как писателя, писавшего “Серебряный Голубь”, имевший успех в кругу близких участников “Русской Мысли” (Булгакова, Бердяева, Гершензона)…».[13]

И Булгаков чувствовал себя в отношениях со Струве вполне уверенно. Настолько, что не только рекомендовал Белого, но и после скандала пытался от-

их адресатом: вероятно, потому, что Белый вовсе не разделял церковного пафоса Булгакова и не мог даже морально обязаться отвечать его ожиданиям). Белый записал в мае 1911 года: «В это время происходит моё сближение с Булгаковым, подбивающим меня писать роман для “Русской мысли”; он ведет переговоры со Струве обо мне» (*Андрей Белый*. Материал к биографии [1924] // Андрей Белый. Автобиографические своды / Сост. А.В. Лавров и Дж. Малмстад. М., 2016. С. 128). Другим вероятным ходатаем за новый роман Андрея Белого перед Струве стал его стал друг и благотворитель «Проблем идеализма», «Освобождения», «Вопросов Жизни», который с августа 1910 года рассматривался как новый спонсор и, очевидно, пайщик (совладелец) «Русской Мысли», — Д.Е. Жуковский. Сестра его жены, А.К. Герцык, Е.К. Герцык писала В.С. Гриневич в августе 1910 года: «Для Ади (А.К. Герцык — *М.К.*) устраивается как раз та обстановка, которую мы хотели, и она не бесправной войдёт в это общество, а сразу влиятельной, центральной. Она сразу решила, что пригласит Белого, чтоб он дал продолжение своего изумительного Серебряного Голубя… (…) Теперь он (Д.Е. Жуковский. — *М.К.*) на днях уедет на свидание со Струве» (Сестры Герцык. Письма / Сост. и комм. Т.Н. Жуковской М., СПб., 2002. С. 408–409).

12 Архив Дома Плеханова РНБ. Ф. 753. Оп. 1. Ед. хр. 36.

13 *Андрей Белый*. Воспоминания о Блоке [1922–1923] // Андрей Белый о Блоке. Воспоминания. Статьи. Дневники. Речи / Подг. текста А.В. Лаврова. М., 1997. С. 374, 378.

стоять его новый, отвергнутый роман.[14] Видимо, стремясь укрепить свои переговорные позиции в разбирательстве со Струве уже после того, как тот отказался печатать роман, Белый посвятил в подробности дела и А.М. Ремизова, прося его срочно пристроить рукопись, громко осуждённую Струве. Он писал ему в недатированном письме: «Вы были столь хороши, что обещали написать письмо в предполагаемый журнал; если бы случайно оказалось, что есть что-либо ответного, не сообщили бы? Завтра у меня в 2 часа дня решительный разговор со Струве. И хотелось бы до разговора узнать, если что есть, черкните два словечка».[15]

Что же касается «резкой критики», не принятой Струве, то вряд ли она вступала в противоречие с тем, что писал сам Струве о «правительственно-бюрократических кругах» в описываемые годы: их «полном вырождении», «трупном яде» и о задаче «*полной ликвидации старого порядка*».[16]

Причины резкого неприятия «Петербурга» не могут зависеть и от литературных пристрастий Струве. Одним из первых пропагандируя в социалистической литературе Ницше и Сологуба, восхищаясь Брюсовым, Струве тем не менее жесткой рукой пресекал начавшееся было (благодаря С.В. Лурье[17] и С.Л. Франку) сотрудничество А.М. Ремизова в «Русской Мысли».

Поэтому первым по значению должен стать вопрос о том, *какой именно текст* был принесен Брюсовым в редакцию журнала и прочитан Струве. Освещая текстологическую историю романа, Л.К. Долгополов пишет: «Что реально осталось сейчас от первых редакций романа? От начальной, “журнальной”, так испугавшей П.Б. Струве своей “антизападнической” тенденцией, – фактически очень мало»: небольшое количество машинописных листов с рукописной правкой. «Восстановить по этим листам текст, который имел бы связный характер (…) сейчас уже невозможно» (С. 569–571). По наблюдениям Р.В. Иванова-Разумника, листы этой редакции «лишь слегка вкраплены в рукопись I-ой главы романа, составляют большую часть II-ой, всю III-ю и первую треть IV-ой главы, но все они сильно правлены и переделаны в 1912 году»[18]. Указан-

14 Белый свидетельствовал о 1912 годе: «Январь. Москва. Продолжающееся недоразумение с Брюсовым, Струве (…). Булгаков старается меня защитить» (Андрей Белый. Ракурс к дневнику [1932] // *Андрей Белый.* Автобиографические своды / Сост. А.В. Лавров, Дж. Малмстад. М., 2016 (Литературное наследство. Т. 105). С. 395).

15 *Андрей Белый*. Письмо А.М. Ремизову [1912] // ОР РНБ. Ф. 634. № 57. Л. 29.

16 *П. Струве*. Отрывки // Московский Еженедельник. № 11. 13 марта 1910 года. С. 7. См., также специальный раздел «Политика» в сборнике статей П.Б. Струве «Patriotica» (СПб., 1911. С. 1–305).

17 Написанный Струве некролог С.В. Лурье см. в парижской газете «Россия» за 17 декабря 1927 года.

18 *Иванов-Разумник.* К истории текста «Петербурга» // Иванов-Разумник. Вершины: Александр Блок. Андрей Белый. Пг., 1923. С. 90.

ная треть четвертой главы и включает в себя главку «Бал» о переметнувшемся к правым «либеральном профессоре». Об «антизападнических мотивах» этого фрагмента сказать ничего нельзя. Наиболее близкая к первоначальной «некрасовская» редакция «Петербурга» в львиной доле соответствующих глав посвящена «мозговой игре» как первопричине вещей и не дает достаточного материала для заключений об антиправительственном духе текста.

Следует искать «личного», непосредственно затрагивающего редактора и вызывающего его личную обиду. «Два оттопыренных уха» героя в равной степени напоминают и К.П. Победоносцева, и Струве (см. не только известные фотографии последнего, но и более всего, например, карикатуры из сатирического журнала «Новый Сатирикон» 1910-х годов). Или ненависть Аполлона Аполлоновича Аблеухова к общине и любовь к хуторскому хозяйству (С. 429) вовсе не обязательно отсылают читателя к П.А. Столыпину (действие развивается в 1905 году) или С.Ю. Витте, аграрные проекты которого являются непосредственным источником столыпинских. Все это (ненависть к общине и апология крепких крестьянских хозяйств) в полной мере и с полным основанием можно отнести на счет Струве и его первой книги «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России» (1894).

Из первоначального текста, представленного в «Русскую Мысль», впоследствии исчезла и другая история из революционной молодости 1890-х годов. В качестве одного из примеров «мозговой игры» Аблеухова Андрей Белый приводил эпизод, когда тот занялся «методикой социальных явлений; и (…) предопределил сей жизни безусловное социальное равенство, долженствующее превратить земной шар в систему планомерных квадратов. По числу обитателей этого земного шара». «Но теоретический идеал оказался неадекватен действительности» — и герой Белого

> «обрек на гибель неадекватное проявление мира в социальных формах неравенства. И как только обрек он на гибель неадекватное себе самому проявление мира в социальных формах неравенства (это было, когда о своем решении он прочел реферат в самообразовательном кружке), слух о нем распространился далеко за пределами самообразовательного кружка. И тогда в кружки, заседания, в совещания легкомысленной партии повлекли насильно бренную форму непогрешимого и сурового существа (…). Но едва оно раскрывало рот, как из этой бренной эмпирики вылетали одни только трансцендентальные истины; низвергались систематически — религия, метафизика, мистика, этнография, национальность, капитализм. Но едва оканчивались трансцендентальные акты суждений, как усталое, побледневшее и всегда любезное существо со склеротиче-

ским лбом, испугавшись итогов своей трансцендентальной способности, поскорее домой несло свою оболочку; всякий радикализм как-то сам собой угасал вплоть до… нового акта суждений» (С. 480).

При этом уже цитированный марксистский конфидент Белого, политически и доктринально чутко дополнительно акцентировал внимание на тех моментах текста Белого, что должны были задеть именно Струве. Конфидент писал: «Нечего и говорить о таком деятеле революции, как Николай Аблеухов. Он «изучал Маркса» и «методику социальных явлений», читал «рефератики, ниспровергающие ценности», но разве не видно, что он только крошечный, трусливый, бредящий «Красный Шут»?». Именно от такой первой части романа «Струве пришел в ужас и категорически отказался рукопись принять».[19]

При этом известно, что сам Андрей Белый имел довольно поверхностное знакомство и с марксизмом, и с его русскими последователями (кроме упомянутого Н. Валентинова и Л.Л. Кобылинского-Эллиса)[20] Но… *Самообразовательный кружок, социальное, трансцендентальные истины, ценности, метафизика, национальность, капитализм, радикализм, акт суждений*… Наконец, публике мало известная, но социал-демократам известная очень хорошо ревизионистская «*Марксова теория социального развития*» (1898)[21]. Трудно представить себе более точное изложение терминологии и жестокое, оскорбительное изображение социал-демократической карьеры Струве и его путь «от марксизма к идеализму» в 1890–1900-х годов. Действительно переходивший в своих размышлениях от социологии к теории познания, кабинетный, нескладный, бледный, постоянно болеющий, с трудом и мучениями выговаривающий сложные, насыщенные научной терминологией суждения, плохой оратор,

19 *Н. Валентинов (Н. Вольский).* Два года с символистами. С. 301, 287.

20 *М.А. Колеров.* Андрей Белый и марксизм (1902–1905). К постановке проблемы // Литературное обозрфение. М., 1995. № 8.

21 *Peter von Struve.* Die Marxsche Theorie der sozialen Entwicklung. Ein kritischer Versuch // Archiv für Soziale Gesetzgebung und Statistik. 40. Bd. Berlin, 1899. S. 658–704. Авторизованного перевода этого текста на русский язык не существует. Единственный прижизненный перевод (*Петр Струве*. Марксовская теория социального развития / Пер. с немецкого Б. Яковенко. Киев, 1905) удостоился уничижительного отклика автора: «Есть никуда не годный, сделанный без моего разрешения, русский перевод этого критического опыта» (*Петр Струве*. Facies hippocratica. К характеристике кризиса в современном социализме // Петр Струве. Patriotica. Политика, культура, религия, социализм. Сборник статей за пять лет (1905–1910 гг.). СПб., 1911. С. 578, прим.). Современный критический перевод см.: *Петр Струве*. Марксова теория социального развития. Критический опыт (1898) / Пер. с нем. А.В. Чусова под ред. Н.С. Плотникова // Исследования по истории русской мысли [4]. Ежегодник за 2000 год. М., 2000.

Струве в очень молодом возрасте неожиданно для самого себя стал лидером молодежи в «кружках самообразования». Его рефераты и сложные речи собирали толпы восторженных поклонников, а недостаточную ясность речей оратора с лихвой восполняла ясность их политического радикализма. Его чувство собственной избранности и сосредоточенность на развитии собственной мысли, привычка «вещать» в самом деле превращали его идейно-политическую эволюцию в процесс выработки формул и мыслительных решений.

Мемуарист, с юности близко знавший Струве периода его революционности и его публичных выступлений в революционных аудиториях, свидетельствовал, что этот в начале 1890-х годов.

> «…безбородый и безусый естественник второго курса с некрасивым веснушчатым лицом был лишён всякого ораторского таланта. Говорил он с натугой, издавая между плохо связанными словами звуки, подобные то мычанию, то храпу. (…) говорил он весьма мудрёным языком, непонятным большинству аудитории, а по внешней форме говорил отвратительно, подыскивая слова и делая паузы в ненужных местах».[22]

Наконец, Струве отнюдь не чужды были «мозговая игра» и пристрастие к самодостаточным словесным парадоксам, диктовавшим его политическое поведение.

Ровесник и свидетель растущей популярности молодого Струве записывал в дневнике совершенно разрушительное мнение о его риторических способностях, описывая выступление Струве 4 марта 1894 года в авторитетном кружке знаменитого либерального публициста К.К. Арсеньева:

> «У них кружок с научно-литературными чтениями. К сожалению, чтения эти стали модными, ездят туда, как в концерт, скучают, ничего не выносят и опять едут. Этот вечер обещал быть очень интересным. Читал один из знаменитых студентов, теперь кончивший — Струве, об «экономическом материализме». В качестве оппонентов приглашены были Кареев и Гревс. Я ожидал, что речь будет идти о той исторической школе, которая носит эту кличку. Но речь шла о Марксе и многих иных. Шла она крайне бессвязно, беспомощно. Гревс не приехал и хорошо сделал, потому что реферат был совсем ничтожный и толковать было не о чем. Я это Карееву сказал, он согласился…»[23].

22 *В.А. Оболенский.* Моя жизнь и мои современники: Воспоминания. 1869–1920. Т. 1. М., 2017. С. 113, 174–175.

23 *А.Е. Пресняков.* Письма и дневники, 18891927 / Публ. Т.Н. Журавской, Д.Н. Лепина. СПб., 2005. С.129–130.

Департамент полиции МВД перлюстрировал эпистолярный отклик от 3 января 1904 года на выступление Струве с рефератом в Париже: «Говорит Струве плохо и увлечь толпу не может».[24] Многолетний поклонник Струве вспоминал при его жизни и полной литературной активности: «Струве заикался, как обычно, выдавливал из себя фразы (…) Органически неспособный к красноречию, он производил впечатление своей возбужденностью, верой в свою правоту…»[25]. Ораторские способности Струве как преподавателя Политехнического института (с 1906 года) также получили однозначно отрицательную оценку в корпоративном мемориале политехников, его коллег и учеников: «П.Б. не обладал даром речи, он не умел говорить гладко и свободно».[26] Несмотря на общепризнанные энциклопедические знания и феноменальную память в самых разных научных областях, Струве, по свидетельству человека, знавшего его ещё с 1897–1898 годов, «был очень рассеянным человеком. Своих бесчисленных знакомых… не часто его видевших, он немилосердно путал, ни лиц, ни фамилий их не запоминал».[27] Писатель В.В. Вересаев, хорошо лично знавший Струве в конце 1890-х годов, вспоминал о нём как о нелепой фигуре: «Рыжебородый, высокий и сутулый, с непомерно длинными руками, которыми нелепо размахивает в споре: в обращении — странная смесь то светской воспитанности, то коробящей грубости».[28]

Представление о главном герое-революционере нового романа Андрея Белого как злой карикатуре с конкретной историей прозвучало и в откликах в печати. В отрицательной рецензии-фельетоне, растянувшейся на три номера газеты, известный критик, почти ровесник Струве А.А. Измайлов писал о Н. Аблеухове: это «родовитое ничтожество»… «это интеллигентный неудачник, духовная пустышка, которая так же нескладно, бездарно и неубеждённо болтается среди революционеров, как болталась бы среди департаментов, делая карьеру отцовским именем».[29] Это был бранный портрет юного Струве — революционера из семьи отставного губернатора, юного сотрудника ми-

24 ГАРФ. ДП-ОО. 1898. Д. 6, ч. 1667. Л. 37.

25 *Д.А. Лутохин.* Зарубежные пастыри [1928] / Публ. Ю.И. Комболина // Минувшее. Исторический альманах. 22 / СПб., 1997. С. 31.

26 *Б.П. Кадомцев.* П.Б. Струве // С.-Петербургский политехнический институт. Сборник № 2. Париж — Нью Йорк, 1958. С. 64.

27 *Н. Валентинов.* Из прошлого: П.Б. Струве о Ленине // Социалистический Вестник. № 8–9 (673–674). Нью-Йорк — Париж. Август – Сентябрь 1954. С. 170.

28 *В.В. Вересаев.* А.М. Калмыкова // РГАЛИ. Ф. 258. Оп. 1. Ед. хр. 90. Л. 3 об – 4.

29 *А. Измайлов.* Город медного всадника (Новый роман Андрея Белого «Петербург») // Биржевые Ведомости. 2-е изд. № 130. 5 июня 1914 года. С. 1.

нистерства финансов Витте, свои немецкие марксистские статьи зачем-то подписывавшего с немецкой *дворянской* добавкой: *von Struve*. Ясно, что Струве не считал себя неудачником, но не мог не видеть своего партийного одиночества, не мог не видеть, что в каждой политической группе, где бы он ни оказался, Струве претендовал на интеллектуальное лидерство, приобретал идейную инициативу, но вместо того, чтобы обслуживать идейную власть, идя на риторические компромиссы, продолжал «эгоистически» и «неубеждённо» менять идейную повестку дня — и оказывался в политической изоляции.

Одним словом, в предложенных Белым трех первых главах нового романа Струве увидел злую пародию на свою, в отличие от либеральной деятельности, малоизвестную и в этом смысле — интимную, эпоху жизни. Пародию тем более удачную, что вышла она совершенно непроизвольно, из исследования «ставрогинской» природы русского радикализма. Упомянутые три главы сам Белый называл «непонятными» (С. 556), а Блок — «злыми» (С. 567). И в этом немотивированном «злом» контексте с полной очевидностью для Струве выделялись ясные и «мотивированные» разоблачения его духовной эволюции. И никакие идеи романа не могли уже повлиять на решение уязвленного в самом интимном Струве. Ему лично портретный адресат разоблачения был яснее, чем самому автору романа.

Вполне возможно, что общие предпосылки для конкретного взрыва вообще были глубоки и крылись в сложившейся антипатии. Философ А.З. Штейнберг (1891–1975), ещё молодым человеком, в начале 1910-х годов, сотрудничавший по рекомендации В.Я. Брюсова в библиографическом отделе «Русской Мысли» и в 1914-м лично общавшийся со Струве, свидетельствовал, что независимо от усилий Брюсова «Струве, впрочем, не признавал ни Блока, ни Белого».[30] Учитывая разницу в возрасте между собеседниками и сугубо деловой характер их общения, можно признать, что Штейнберг составил своё впечатление об отношении Струве к Белому исходя из прямо высказанных им формулировок, не отягощённых политесом. Однако и этот ответ — не окончательный. Один из сыновей Струве — Константин Петрович (1900–1948), пройдя Гражданскую войну как её участник и жертва, не смог из-за этого закончить своё базовое школьное образование и, вырвавшись в эмиграцию, в начале 1920-х аккуратно записывал, что ему рекомендовали старшие (среди коих, несомненно, угадывается доминирующая воля самого

30 *А.З. Штейнберг*. Литературный архипелаг [1974] / Подг. текста Н. Портновой и В. Хазана. М., 2009. С. 47.

отца — П.Б. Струве) непременно прочитать из философской и художественной литературы. Рядом с трудами других авторов в его записной книжке 1921–1922 годов, рядом с трудами великих философов и мыслителей, записан «Петербург» Андрея Белого.[31] Отвергнув роман по личным мотивам, Струве не смог не признать его величие.

31 ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 2. Ед. хр. 251. Л. 29.

Забытый текст П.Б. Струве о Балканах,
Проливах и целях войны

Пётр Бернгардович Струве (1870–1944), став либералом к моменту формирования в России главной либеральной партии (конституционно-демократический, на деле с очень большой примесью социализма), не был политически очень успешен как либерал. Его либерализм навечно остался в тени его марксизма и социализма. Но — как идейный лидер русской практической философии *политического идеализма* — Струве был очень успешен и сумел сформировать целую интеллектуальную традицию. Центром этой традиции было ныне нередкое на Западе, а тогда повсюду не очень распространённое идейное превращение практической политики в идеологию. Она стремилась подчинить, например, внешнюю политику России продуманному строю идей. Старалась заменить характерную для русской государственной риторики — историософию *исторического призвания* России — практической идеологией национальных интересов.

Конечно, все эти усилия Струве в 1917 году провалились. И Гражданская война 1918–1920 годов не спасла их, обессмыслила их, подчинив риторику Струве — идейного и государственного делателя Белого дела — о национальных интересах России благоусмотрению былых союзников, а теперь интервентов.

Понимая провал своих риторических усилий, Струве никогда, ни словом, ни проектом составления собрания своих новых трудов, не возвращался к своей политической философии, как она выразилась в его публицистике 1911–1916

годов.[1] После (наполовину газетного) собрания 1911 года[2] нового авторского сборника не появилось.[3] Наиболее фундаментальный до сих пор биографический и библиографический труд Ричарда Пайпса о Струве[4] фиксирует его политическую мысль этого времени широкими мазками, оставляя без адекватного внимания главные в ней идейные перевороты. Все эти перевороты в политическом сознании Струве развивают его доктрину «Великой России», вдохновлённую британским империализмом, который сопровождал внешнюю государственную мощь внутриполитическим либерализмом, но подчиняют доктрину новой реальности войны 1914 года.[5] Ниже впервые републикуемая (и не учтённая в библиографии Р. Пайпса) статья Струве ясно показывает, что война 1914 года заставила его внести коррективы в свою риторику — и эти коррективы требуют специального описания. Часть перемен отразилась в этой статье.

А в целом корпусе его публицистики 1914–1916 годов эти до сих пор в науке (кроме выше указанного моего очерка) не описанные коррективы, кратко говоря, выглядят так: Струве

(1) радикально отказался от германского образца для индустриально-политического развития России и радикально (не менее радикально, чем тогда

1 Главные новации содержатся в новом прочтении корпуса ежедневных газет, прежде всего, «Биржевых Ведомостей» и именно их отдельного ежедневного «Второго издания». См. например: *Петр Струве*. Листки // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 27. 29 января 1915. С. 1–2 (об отставке А.В. Кривошеина); *Петр Струве*. Последние сроки // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 43. 14 февраля 1915 года. С. 1; *Петр Струве*. Власть реальных задач // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 259. 21 сентября 1915 года. С. 1; *Петр Струве*. Неотвратимое совершается // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 280. 12 октября 1915 года. С. 1; *Петр Струве*. Реальное соотношение сил. Против малодушия и мелкодушия // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 301. 2 ноября 1915 года. С. 1; *Петр Струве*. Оздоровление русского политического сознания // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 306. 7 ноября 1915 года. С. 1; *Петр Струве*. Факты, о которых следует помнить и напоминать // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 320. 21 ноября 1915 года. С. 1; *Петр Струве.* Листки // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 322. 23 ноября 1915 года. С. 1.

2 *Петр Струве.* Patriotica. Политика, культура, религия, социализм. Сборник статей за пять лет (1905–1910 гг.). СПб., 1911. Переизд.: *П.Б. Струве.* Patriotica. Политика, культура, религия, социализм / Сост. В.Н. Жукова и А.П. Полякова. М., 1997.

3 Только наследник Струве, известный культуртрегер Н.А. Струве собрал представительную антологию его эмигрантской публицистики: *Петр Струве*. Дневник политика (1925–1935). М., 2004.

4 *Ричард Пайпс*. Струве: левый либерал, 1870–1905 / Т. 1 [1970] / Пер. А. Захарова. М., 2001; *Ричард Пайпс.* Струве: правый либерал, 1905–1944 / Т. 2 [1980] / Пер. А. Захарова. М., 2001.

5 Подробно я пишу об этом в очерке «”Великая Россия” и “Ближний Восток” П.Б. Струве: британские вдохновения и разрушение Османской империи и Австро-Венгрии (1908–1916)», вошедшем в настоящую книгу.

же — его антипод Ленин) разочаровался[6] в германской политической культуре и, в частности, социал-демократии, поддержавшей германский (и именно прусский) милитаризм[7], глубоко приняв опыт огосударствления экономики и тотальной мобилизации;

6 Именно разочаровался, поскольку ещё за несколько лет до войны, уже выбрав себе в качестве политического образца Англию, Струве исповедально признавался в любви к немецкой культуре (которую он, как известно, понимал в самом широком смысле, включая технологический уклад и институты): «Пишущему эти строки чужда всякая противонемецкая тенденция. Будучи русским по воспитанию и чувствам, я чувствую сильное притяжение к мощной немецкой культуре; не только происхождением, но и множеством духовных нитей я связан с ней: немецкая наука и немецкая культура мне не только знакомы, они мне дороги и милы» (*Петр Струве*. Размышления. V // Слово. СПб. № 475. 5(18) июня 1908. С. 1).

7 Струве пытался оригинально отделить зло прусского милитаризма от блага германского империализма. Развивая формулу А. Бергсона о войне с Германией как противостоянии «цивилизации и варварства», Струве писал, что год 100-летия создателя Германской империи канцлера Бисмарка станет годом разрушения империи: «В юбилейном 1915 году германские патриоты будут одевать трауром статуи Бисмарка», ибо «прусское императорство в лице Вильгельма II своими собственными руками, в поистине варварском безрассудстве разрушило могущество Германской империи» (*Петр Струве*. Цивилизация и варварство // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 191. 12 августа 1914 года. С. 1). В начале Струве отмечал, что в борьбе с Германией и её союзниками «человеческие и продовольственные ресурсы России практически неисчерпаемы» (*Петр Струве*. «Терпение и уверенность» франкфуртской газеты // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 275. 4 ноября 1914 года. С. 1). Он не отказался от сути своего прогноза и позже, признавая: «…длительная война при разумном ведении её со стороны противо-германской коалиции неминуемо приведет к поражению Германии» (*Петр Струве*. Кто жаждет мира? // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 37. 8 февраля 1916. С.1). Полагаясь на экономическое истощение Германии, он писал: «…только величайшие ошибки и величайшее малодушие противников Германии могут дать ей победу» (*Петр Струве*. Подлинное соотношение сил // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 23. 25 января 1916 года. С. 1). При этом он вполне понимал тяжесть войны для России: «…этого никогда ещё не было ни с нами, ни с нашими предками» (*Петр Струве*. Нечто, никогда ещё не бывшее // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 1. 1 января 1916 года. С. 1). И с самого начала войны призывал учащуюся молодёжь идти в офицеры (так сделали его старшие сыновья Глеб 1898-го и Алексей 1899 года рождения в 1917 году), потому что «война будет продолжительной и упорной» (*Петр Струве*. Долг перед родиной // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 223. 13 сентября 1914 года. С. 1; *Петр Струве*. Нормальная жизнь и исключительная обстановка // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 234. 24 сентября 1914 года. С. 1). Об офицерской судьбе Г.П. и А.П. Струве см.: *М.А. Колеров.* Заметки по археологии русской мысли: Булгаков, Струве, Розанов, Котляревский, Флоровский, Бердяев, журнал «Скифы», ГАХН // Исследования по истории русской мысли [11]: Ежегодник за 2012/2014 годы. М., 2015 (главка «Исторические планы семьи Струве в 1917 и 1920 гг.»). В кон-

(2) пересмотрел своё отрицательное отношение к «украинству» и униатству, позитивно приняв их влияние в Галиции, присоединяемой к России;

(3) пошёл против риторики своей религиозно-общественной среды, выступив «адвокатом» католицизма в интересах военного союза с Францией и политического союза с Польшей;

(4) категорически выступил за аннексию Проливов у Османской империи, за прямое расчленение которой он не выступал ранее, опасаясь реакции Англии как главного союзника и покровителя России и одновременно — одного из главных претендентов на османское наследие.

Об особых чертах источника: газетная публицистика времени войны, откровенно говоря, и не могла быть собрана Струве ни в 1917 году, ни тем более позже. Очевидно, реальность и порождаемые ею надежды настолько изменились, что их переиздание имело бы разрушительные последствия для политической репутации Струве — настолько они были бы не адекватны свершившейся катастрофе. Однако их значение для реконструкции идей, руководивших русским либерально-государственным политическим идеализмом в годы Первой мировой войны вплоть до Февральского переворота 1917 года, весьма велико.

Резюмируя, можно сказать, что его, политического идеализма, представления о мобилизованных ресурсах и оперативной мощи России, способности России к тотальной войне и идущей в военное время реформы управления страной[8], намерениях Британской империи в её отношении оказались не соответствующими действительности.

це 1914 года Струве вошёл в Организационный комитет по сбору пожертвований на Рождество русским воинам, вместе с А.А. Блоком, А.Л. Волынским, З.Н. Гиппиус, А.И. Куприным, Д.С. Мережковским, Н.К. Рерихом и мн. др.: Елка в окопах // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 289. 18 ноября 1914 года. С. 1. С самого же начала войны Струве очень высоко оценивал мощь противника и патриотическое единство Германии: «*…враг силен во всех отношениях*» (*Петр Струве.* В ожидании решения // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 244. 4 октября 1914 года. С. 1. См. также: *Петр Струве*. Состояние умов в Германии // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 237. 27 сентября 1914 года. С. 1; *Петр Струве.* Непобедимая армада цеппелинов // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 246. 6 октября 1914 года. С. 1). Хотя и предрекал Германии внутренние потрясения: *Петр Струве*. Ответственность за возникновение войны // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 255. 15 октября 1914 года. С. 1.

8 Об этом, в частности, мой очерк «Предшественник образа-теории В.А. Маклакова о “безумном шофёре”: Е.Н. Трубецкой “Поучительная катастрофа” (1905)» в настоящей книге.

Приложение

Петр Струве. Верные и неверные пророчества Ф.М. Достоевского (1914)[9]

Из великих русских художников Достоевский всех больше отдавался публицистике. Его публицистика такая же тяжеловесная и в то же время такая же пронизанная гениальными мыслями, как и его беллетристика. И там, и тут он громоздит факты, озаряя их светом глубочайших идей и прозрений.

Сейчас поневоле вспоминаются пророчества Достоевского, ибо мы реально приблизились к некоторым граням, к которым в свое время подходила мысль Достоевского. Русско-турецкая война 1877–1978 гг. взволновала и вдохновила великого писателя, и он ставил рождение ею проблемы с полной ясностью и громадной силой.

«Константинополь должен быть наш!», — провозгласил он в «Дневнике писателя».

Обосновал он это требование двояко. Во-первых, — восточно-христианским православным призванием России. Вообще, вся публицистика Достоевского сильно окрашена вероисповедным цветом. В политике видит он путь к торжеству православия; как политик, он был глубоко, фанатично враждебен католичеству.

Но помимо этого вероисповедно-религиозного мотива, — требовать для России Константинополь, у Достоевского действовал мотив чисто политический, совершенно практический.

Достоевский гениально предвидел, что России целый век «придется… бороться с ограниченностью и упорством славян, с их дурными привычками, с их несомненной и близкой изменой славянству». Очень долго славяне не поймут «славянского единения в братстве и согласии». «Объяснять им это беспрерывно, делом и великим примером, будет всегдашней задачей России впредь». Тут пророчески предвосхищена действительная роль России именно за последние годы.

Для того, чтобы так действовать на славян, и должна Россия, по мысли Достоевского, владеть Константинополем. «Россия, владея Константинополем,

9 Биржевые Ведомости. 2 изд. СПб. № 316. 15 декабря 1914 года. С. 1.

будет стоять именно как бы на страже свободы всех славян и *всех восточных* народностей… С уничтожением… мусульманского владычества может наступить в этих народностях, выпрыгнувших вдруг из гнета на свободу, странный хаос… Новой единительной для них силой и будет Россия, именно тем отчасти, что твердо станет в Константинополе. Она спасет их друг от друга, и именно будет стоять на страже их свободы. Она будет стоять на страже всего Востока и грядущего порядка его».

Здесь выражена мысль, которая именно теперь получает особый и значительный смысл, как живая возможность и реальная задача для России. Это пророчество Достоевского нам понятно, ибо идем так или иначе, но быстрыми шагами к тому будущему, которое так смело предвосхищал Достоевский в своих размышлениях о Константинополе, славянстве и России.

Но вероисповедная точка зрения, на которой стоял великий писатель, затемнила его взор в другом вопросе. Он был враждебен до крайней степени, а потому несправедлив к католичеству. Католичество рисовалось ему в каком-то поистине фантастическом образе мирового великого инквизитора. Этот инфернально-властолюбивый католицизм идет к союзу с социализмом и социальной революцией.

«Католичество умирать не хочет, социальная же революция, и новый, социальный период в Европе тоже несомненен: две силы несомненно должны согласиться, два течения слиться. Разумеется, католичеству даже выгодны будут резня, кровь, грабеж и хотя бы даже антропофагия. Тут-то оно и может надеяться поймать на крючок, в мутной воде, ещё раз свою рыбу, предчувствуя момент, когда, наконец, измученное хаосом и бесправицей, человечество бросится к нему в объятия, и оно очутится вновь, но уже всецело и наяву, нераздельно ни с кем и единолично, “земным владыкою и авторитетом мира сего” и тем окончательно уже достигнет цели своей».

Неудивительно, что при таком понимании соотношения великих исторических сил основанная Бисмарком Германия рисовалась Достоевскому не только как друг, но и как вечная союзница России и её мирового призвания. Ослепленный своей враждебностью к католичеству и видя во Франции какое-то дьявольское совмещение католицизма и социализма, Достоевский звал Россию к союзу с врагом католицизма, протестантской Германией, вождем которой он справедливо считал Бисмарка.

«Мы нужны Германии даже более, чем думаем. И нужны мы ей не для минутного политического союза, *а навечно*. Идея воссоединенной Германии широка, величава и смотрит в глубь веков. Что Германии делить с нами? объект ее — все западное человечество. Она себе предназначила западный мир Европы, провести в него свои начала вместо римских и романских начал и впредь стать

предводительницею его, а России она оставляет Восток. Два великие народа, таким образом, предназначены изменить лик мира сего. Это не затеи ума или честолюбия; так сам мир слагается. Есть новые и странные факты и появляются каждый день. Когда у нас, еще на днях почти, говорить и мечтать о Константинополе считалось даже чем-то фантастическим, в германских газетах заговорили многие о занятии нами Константинополя как о деле самом обыкновенном. Это почти странно сравнительно с прежними отношениями к нам Германии. Надо считать, что дружба России с Германией нелицемерна и тверда и будет укрепляться чем дальше, тем больше, распространяясь и укрепляясь постепенно в народном сознании обеих наций, а потому, может быть, даже не было и момента для России выгоднее для разрешения Восточного вопроса окончательно, как теперь. В Германии, может быть, даже нетерпеливее нашего ждут окончания нашей войны. Между тем действительно за три месяца нельзя теперь поручиться. Кончим ли мы войну раньше, чем начнутся последние и роковые волнения Европы? (вот идея неизбежной социальной революции. П.С.) Всё это неизвестно. Но поспеем ли мы на помощь Германии, нет ли, Германия во всяком случае рассчитывает на нас не как на временных союзников, а как на вечных».

У Достоевского, как и у многих наших «восточников», не было живого ощущения Запада. Его представление о католичестве было, с чисто политической точки зрения, фантастично и, кроме того, в религиозном и историческом смысле оно было глубоко ошибочно. Достоевский был неправ, не видя в католицизме великой религиозной силы, не оценивая в нем подлинной христианской стихии и настоящей кафоличности, т.е. вселенского или универсального характера.

Нарисовав себе фантастический в значительной мере образ католицизма и всецело плененный чисто временной социалистической идеей неизбежной грядущей кровавой социальной революции, Достоевский пришел к своей идее вечного русско-германского союза. Теперь в связи с наступившими событиями, когда Россия, в союзе с западными державами, Францией и Англией, борется с Германией и Турцией из-за Ближнего Востока, идея вечного русско-германского союза представляется нам какой-то чудовищной гротеской.

В этом больном порождении политической фантазии Достоевского, однако, сказывается та же сила громадного воображения великого писателя, которая так блистательно дает себя знать в гениальных прозрениях о Константинополе, славянстве и России.

Напоминание об аберрации политической фантазии Достоевского в настоящий момент может быть полезным предостережением. В политике фантазию вообще стерегут великие опасности. Политика должна располагать широкими и дальновидными идеями, но *эти* идеи должны быть всегда ясны — до прозрачности — и свободны от всякой призрачности.

Школа лояльности:
«Декларация трудовой интеллигенции» (1920)

Исследователи давно и детально изучают историю взаимоотношений большевистской власти и русской интеллигенции в 1917 — начале 1920-х годов, фокусируясь не только на конфликтах или общих для них социалистических и культурных мотивах, но и на такой специфической теме, как поиск формулы лояльности интеллигенции к власти большевиков, в котором лидируют академики, «военспецы», футуристы и «сменовеховцы» (национал-большевики).

Наукой давно показано, как навстречу друг другу в 1918–1921 годах в России развивались интеллигентское идейное и практическое желание «сильной власти» и большевистская политика по привлечению «буржуазных специалистов» к экспертному участию в управлении страной (в военной, экономической, технологической, внешнеполитической сферах) и по нейтрализации внутренней оппозиции и белой эмиграции. Именно эту, политически инструментальную роль в этом играли родившиеся в среде русской политической эмиграции идейные течения «сменовеховство» в начале 1920-х, во второй половине 1920-х — «евразийство», в начале 1930-х — движение «пореволюционной молодёжи». Известны многочисленные факты активного участия большевистской политической разведки (ГПУ-ОГПУ) в создании этих движений или их руководстве. Однако внимание к богатой теме манипуляции идейными движениями в эмиграции и антисоветским подпольем в СССР ослабевает там, где манипуляция носит краткий, тактический и не получивший большого развития характер. Примером несоответствия тактических целей и места в истории мысли, политики и литературы служит «сменовеховство», достойный очерк манипулятивности которого ещё не написан. Оно ярко продемонстрировало, насколько острополитической была и насколько быстро отпала

нужда большевиков в «сменовеховстве». Существенно важно обратить внимание и на общеполитические мотивы этой манипуляции: все принципиальные решения о специальных политических и медийных операциях в среде русской эмиграции неизменно принимались на высшем уровне политического руководства в советской России и СССР — в Политбюро ЦК РКП-ВКП(б).

Общим местом исследований о взаимоотношениях большевиков с подсоветской (находившейся на территории СССР, внешне лояльной, но в частных проявлениях — оппозиционной) и антисоветской интеллигенцией в России и эмиграции стало утверждение об использовании большевиками присущего многонациональной русской интеллигенции (после 1917 года и большевистского Брестского мира с Германией и её союзниками 1918 года, во время войны с Польшей 1920 года) патриотизма и «великодержавного» (политического, имперского) национализма. Считается, что большевики технологически грамотно использовали это настроение вне и внутри страны для укрепления своей власти, и спор идёт лишь о том, когда именно наступил «великодержавный поворот» в собственной политике большевиков: в выборе доктрины строительства «социализма в одной стране» в период заигрывания Троцкого со сменовеховством и церковным обновленчеством в начале 1920-х, в дни поворота Сталина к созданию официальной системы интегрального исторического знания в 1934-м, в годы Великой Отечественной войны или в 1945-м, в час праздничного тоста Сталина «за русский народ», или после, в дни борьбы с «космополитизмом» и короткого периода государственного антисемитизма накануне смерти Сталина в 1953-м.

Однако из основного потока исследований идейной близости и инструментального подхода правящих большевиков к русской интеллигенции часто выпадает именно инструментальный их смысл, то есть продиктованный самыми конкретными обстоятельствами их тактический характер. Ещё весной 1919 года, воспользовавшись открытым письмом весьма высокопоставленного интеллигента на советской службе профессора Воронежского сельскохозяйственного института, председателя Центрального управления государственными предприятиями кожевенной промышленности М.П. Дукельского (1875–1956) о развязанной большевиками травле интеллигенции деклассированными элементами от имени советской власти, В.И. Ленин (вместе с М. Горьким) выступил 27 марта 1919 года на митинге в Таврическом дворце с «Ответом на открытое письмо специалиста», который был опубликован в большевистской «Правде» уже на следующий день. Дукельский писал: «Если вы хотите “использовать” специалистов, то не покупайте их, а научитесь уважать их, как людей, а не как нужный вам до поры до времени живой и мертвый инвентарь». Относительно неподцензурная интеллигентская печать привет-

ствовала этот демарш.[1] А большевики, видимо, предположили, что для диалога со специалистами таких демаршей будет достаточно. Ленин ответил:

> «Саботаж был начат интеллигенцией и чиновничеством, которые в массе буржуазны и мелкобуржуазны… Если бы мы "натравливали" на "интеллигенцию", нас следовало бы за это повесить… чтобы очищение шло полнее и быстрее, надо, чтобы искренняя беспартийная интеллигенция помогала нам в этом. Когда она будет составлять группы лично знакомых друг другу лиц, выступать от их имени с призывом лояльной работы в советских учреждениях, с призывами "служить трудящемуся брату", если употребить выражение открытого письма, тогда муки родов нового общественного уклада значительно сократятся и облегчатся»
>
> *(Правда. № 67. 28 марта 1919 года) —*

и орган подсоветской интеллигенции удовлетворённо ответил: «…налицо зародившаяся потребность в сближении».[2] Но таких сигналов оказалось явно недостаточно. «Группы лично знакомых друг другу лиц» из среды интеллигенции не составились, «выступать от их имени с призывом лояльной работы в советских учреждениях, с призывами "служить трудящемуся брату"» никто не стал. И это бремя пало на саму советскую власть.

Если в 1918 году перед советской властью стояла задача привлечения в Красную армию масс профессиональных военных от фронтового офицерства до сотрудников Генерального штаба — и эта задача была решена, то, например, в 1920 году, когда полная военная победа советской власти в Гражданской войне стала реальностью, главной задачей большевиков внутри страны стало гражданское управление деградировавшими за истекшие годы городским обществом и хозяйством в океане крестьянской экономики — и сопутствующий им крайний дефицит элементарных управленческих кадров. Во внешней политике перед большевиками встала задача — после прекращения военной интервенции иностранных государств на территорию России и поддержки ими альтернативных государственных центров: зафиксировать внешние границы страны, добиться дипломатического признания своей власти и — главное — добиться

1 *Беспартийный*. Об интеллигенции: (Письмо со стороны) // Вестник литературы. 1919 (апрель). № 4 (Журналы «Вестник литературы» (1919–1922), «Летопись Дома литераторов» (1921–1922), «Литературные записки» (1922): Аннотированный указатель / Отв. ред. А.Ю. Галушкин. М., 1996. С. 29).

2 Журналы «Вестник литературы» (1919–1922), «Летопись Дома литераторов» (1921–1922), «Литературные записки» (1922): Аннотированный указатель / Отв. ред. А.Ю. Галушкин. М., 1996. С. 29. (*Беспартийный*. Об интеллигенции: (Письмо со стороны) // Вестник Литературы. 1919 (апрель). № 4).

преодоления блокады и восстановления внешнеэкономических отношений, которые позволили бы советской России использовать иностранные технологии и капиталы для управления экономикой страны и укрепления власти.

Все остальные обстоятельства 1920 года вроде агрессии Польши на историческую территорию России и неудачной революционной агрессии советской России против Польши, породивших всплеск общенационального патриотизма, а затем и ликвидация последнего очага альтернативной общенациональной государственности в лице врангелевского Крыма, — нисколько не могли изменить названных приоритетов. Внешнее признание ради внешних технологий и капиталов стало принципиальной задачей советской власти. Степень остроты непризнания и экономической блокады большевиков была хорошо проиллюстрирована условиями Юрьевского мирного договора большевистского РСФСР с Эстонией от 2 февраля 1920 года. По этому договору советская Россия ради выгод приобретения внешнеэкономического «окна» через (контролируемую Англией, где вскоре надолго поселился нарком торговли и промышленности (затем — внешней торговли и одновременно — полпред в Англии) РСФСР Л.Б. Красин) Эстонию пошла на условия, которые современный исследователь законно уподобляет «капитуляции, поскольку… речь идет явно об аннексии (Ивангород и Печоры) и контрибуции (золото и концессии)».[3]

Уступки эти, хотя и находились в тени деятельности Коммунистического Интернационала и глубокого убеждения большевистского большинства в близости мировой революции, которая делала ничтожными и тактическими любые текущие соглашения и государственности на окраинах советской России, более всего, однако, находились в контексте ещё более тактически важных событий. А именно в контексте окончания антантовской блокады большевиков и принципиального открытия враждебного капиталистического мира для общения с советской Россией. Для такого общения большевикам требовались хоть какие-нибудь профессиональные инструменты, способные разговаривать с Западом на одном языке, — и, главное, хоть какой-нибудь общий язык, пригодный для начального диалога. Дело в том, что 16 января 1920 года Верховный союзный Совет стран Антанты принял постановление о возобновлении торговых отношений с советской Россией. А накануне, 15 января 1920 го-

3 Расширение границ соседа за счёт своей этнографической территории, уплата ему 15 миллионов рублей золотом и согласие на лесную концессию в миллион десятин на территории России, освобождение Эстонии от всех долгов Российской империи, возвращение ей вывезенных ценных бумаг, отказ от передачи и возмещения движимого и недвижимого имущества российской казны, в том числе портов, военных и гражданских судов, захваченных Эстонией, норма о том, что преференции следующих международных договоров РСФСР, которых нет в договоре с Эстонией, автоматически будут распространяться и на Эстонию и т. п.

да, в газете «Известия» было опубликовано постановление ВЧК за подписью её главы Ф.Э. Дзержинского о прекращении применения высшей меры наказания — расстрела по приговорам ВЧК и её местных органов.

Середина февраля 1920 года стала временем особой активности главы советского правительства и лидера большевиков В.И. Ленина в диалоге с Западом. В серии целенаправленных официальных интервью представителям западной прессы Ленин с присущей ему откровенностью изложил программу такого диалога, названного им «мирное сожительство с народами». 18 февраля в интервью американскому информационному агентству Ленин сказал: «Пусть американские капиталисты не трогают нас. Мы их не тронем. Мы готовы даже заплатить им золотом за полезные для транспорта и производства машины, орудия и проч. И не только золотом, но и сырьем… Мы за [экономический] союз со всеми странами, никого не исключая… Обмен машин на хлеб, лен, на другое сырье — может ли он быть неблаготворным для Европы? Явно не может не быть благотворным». Отвечая на вопрос агентства «Готова ли Россия вступить в деловые сношения с Америкой?», Ленин повторил: «Конечно, готова, как и со всеми странами. Мир с Эстонией, которой мы сделали громадные уступки, доказал нашу готовность идти ради этого, при известных условиях, даже на концессии». При этом в ответ на вопрос «Должна ли Россия еще бояться контрреволюционного вмешательства извне?» («Должна, к сожалению») прямо сформулировал единственное политическое условие — невмешательство в ход Гражданской войны в России.[4]

Вскоре, в беседе с ещё одним американским журналистом, Ленин дал предельно откровенную формулу сделки: «Мы в России имеем пшеницу, лен, платину, поташ и много полезных ископаемых, в которых испытывает острую потребность весь мир. В конце концов, мир должен будет прийти к нам за этим, невзирая на то, большевизм у нас или не большевизм… В прошлом мы пожертвовали всем, чтобы одержать победу над нашими вооруженными противниками, а теперь мы направим все наши усилия на восстановление экономики».[5]

Однако, несмотря на всю объективную заинтересованность тогдашних мировых держав в освоении природных ресурсов России, механизм принятия их решений о дипломатическом признании именно большевиков и советской власти — законной властью России — и как минимум установлении

4 *В.И. Ленин.* Ответ на вопросы берлинского корреспондента американского информационного агентства Universal Service Карла Виганда. 18 февраля 1920 года. Ср.: *В.И. Ленин*. Ответ на вопросы корреспондента английской газеты Daily Express. 18 февраля 1920 года.

5 *В.И. Ленин.* Беседа с корреспондентом американской газеты The World Линкольном Эйром. Напечатано на английском языке 21 февраля 1920 г. в газете «The World» № 21368.

с ними экономических отношений — находился целиком в сфере прикладной политики и принятия политических решений, подверженных целому спектру персональных, публичных и экспертных воздействий. Советская власть имела все основания опасаться, что русская эмиграция, сконцентрировавшая цвет прежней и антисоветской экономики и политики, деловую и экспертную среду (в том числе остатки государственных институций Временного правительства, Учредительного собрания, администраций Колчака, Врангеля и т. п. за рубежом и в изгнании), связанная бесчисленными нитями с действующими властями и элитами иностранных государств, — будет первой, кто приложит все усилия, чтобы торпедировать надежды большевиков на признание и вытекающие из него материальные выгоды. Большевикам было хорошо известно, что в среде этой эмиграции доминировали либеральные и социалистические круги, одновременно близкие и политическим системам послевоенной Европы, и риторике послефевральской России.

И поэтому в начале 1920 года была предпринята первая попытка нащупать риторическую коммуникацию с этой средой, из опыта которой, как можно предполагать, и выросли все последующие усилия советских спецслужб в области сменовеховства, евразийства и «советского патриотизма».

3 марта 1920 года, в день неформальной годовщины манифеста императора Николая II об отречении от престола и победы Февральской революции 1917 года, в центральной советской газете «Известия ВЦИК», тогдашний главный редактор которой Ю. Стеклов впоследствии занял видное место в пропаганде лояльности русской интеллигенции к большевизму и, в частности, в политическом продвижении сменовеховства в среде советской бюрократии и «буржуазных специалистов», появилась редакционная статья «Знамение времени». Статья информировала: в России создаётся «Союз трудовой интеллигенции», инициаторы которого 18 февраля 1920 года (то есть накануне другой значимой для политического класса старой России даты — отмены крепостного права 19 февраля 1861 года) приняли «Декларацию трудовой интеллигенции».

Здесь важно уточнить, что в 1917 году другой «Союз трудовой интеллигенции» был в ряду ярко антибольшевистских организаций. Теперь инициаторы его «второго издания», по-видимому, сознательно шли на использование старого имени, демонстрируя, что для некогда антибольшевистской интеллигенции принципиально изменились времена. Немного спустя, обсуждая навязчивое пропагандирование сборника «Смена Вех» (в котором антисоветская эмигрантская интеллигенция хором признавала советскую власть легитимной и национальной) в советской публичной среде, компетентный наблюдатель точно уловил «экспортный» характер подобного рода большевистских инициатив для интеллигенции. Видный участник сборника «Вехи» (1909), к *антире-*

волюционному, но лоялистскому, национально-государственному наследию которого прямо апеллировала «Смена Вех», А.С. Изгоев процитировал выступление участника дискуссии о «Смене Вех» в Доме литераторов в Петрограде («споры о “Смене Вех”. Кому это нужно? Опять-таки только Европе, чтобы доказать ей, что у нас есть умственная жизнь») и, протестуя, заметил: «…интеллигенция не игрушка, содержимая для заграницы».[6] Но участники и сторонники «Смены Вех» и упомянутого союза, напротив, были как раз именно этой «игрушкой, содержимой для заграницы», тактическим инструментом большевиков.

Идеологическим стержнем этой тактической инструментальности большевики легко выбрали то ближайшее, что лежало в идейном поле рядом с их доктринальным опытом, и то, что уже было принято ими во внимание в практике управления кризисным хозяйством страны. Доктринально близкими, то есть хорошо знакомыми из азбуки марксизма и коммунизма, им были сетования меньшевиков на то, что Россия ещё промышленно и технологически не доросла до коммунизма, который, по Марксу, должен быть высшей стадией после наивысшего развития капитализма, то есть *призыв к внепартийному развитию производительных сил*. Практически понятным им был идентичный, *нейтральный призыв к промышленному развитию* известного инженера и экономиста-практика В.И. Гриневецкого, с антикоммунистических позиций, но вполне реалистически нарисовавшего картину послевоенного промышленного возрождения России и получившего максимально положительные отклики Н.И. Бухарина и В.И. Ленина. Он писал в своей прославленной книге:

> «…надо требовать, чтобы наша экономическая политика в будущем направлялась только реальными заданиями, какие бы отдалённые социальные или политические цели она себе ни ставила; надо, чтобы вся политика и все классовые интересы были бы подчинены до конца одной цели — экономическому воссозданию России и развитию её производительных сил».[7]

«Известия» опубликовали список учредителей союза (полнота написания имён в источнике здесь сохранена): В.М. Бехтерев, С.Ф. Ольденбург, А.Н. Зак, В.А. Щавинский, З.Ф. Кан, В.В. Тарновский, Зандеберг, Н.С. Цвылев, Синягин, А.Я. Брафман, Желватых, В. Плансон, Е.С. Каратыгин, Н.В. Ивановский, Марголис, Л.Н. Фрезе, С.И. Дзеконский, П.Н. Воронов, Н.И. Пантюхов, Г.М. Хржановский, Б.Б. Сабанеев, М. Горький, А.К. Бабицевский, С.Н. Корф, Н.А. Елачич, Н.Н. Рейнке, И.Н.

6 *А.С. Изгоев.* О задачах интеллигенции // Парфенон. Сборник Первый / Редактор А.Л. Волынский. СПб., 1922. С. 32, 39.

7 *В.И. Гриневецкий.* Послевоенные перспективы русской промышленности. Харьков, 1919. С. 181.

Ефремов. Согласно газете, эти люди утвердили проект «Положения о Союзе трудовой интеллигенции», пункт первый которого называл целью союза «всемерное содействие наиболее целесообразному использованию интеллигентных сил России в целях воссоздания ее культурно-хозяйственной жизни». Редакционная статья «Известий» прозрачно и неуклюже толковала эту инициативу как переход на сторону советской власти «интеллигенции крупно-буржуазной, стоявшей весьма близко к заправилам прежней промышленности»: «в виду предстоящего возобновления экономических отношений с Западом, специалисты, стоящие близко к торгово-промышленным кругам, будут в полной мере использованы государством». При этом эмигрантские круги, по мнению советского органа, «отныне не будут иметь ни малейшего права говорить ни от имени “русской интеллигенции”, ни от имени торгово-промышленной буржуазии».[8]

В приложении к статье «Известий» была также опубликована упомянутая «Декларация трудовой интеллигенции». Этот текст, несомненно, написанный под детальным контролем советского политического руководства, за полтора года до «Смены Вех» и общественного Всероссийского комитета помощи голодающим (Помгол) стал **первым программным документом пробольшевистской агитации, который имел своей целью использование остатков старого политического класса России в интересах внешней легитимации российского большевизма на Западе.**

Однако этот «Союз трудовой интеллигенции» практически не оставил общественно-политического следа. В конце апреля 1920 года Польша начала масштабное наступление против советской России и политическая повестка дня

8 [*Ред.*] Знамение времени // Известия [ВЦИК]. № 48 (895). 3 марта 1920 года. С. 1. В литературе авторство этой статьи нередко приписывается Н.А. Гредескулу, однако эта публикация анонимна. Тем не менее сама ошибка показательна: старый либерал Н.А. Гредескул именно тогда, быстро перейдя на сторону большевиков, пытался публично сформулировать мотивы и принципы своей лояльности к новым властям и, несомненно, по их плану выступил 20 июня 1920 года в московском Доме печати с докладом «Интеллигенция на переломе», который затем был опубликован в газете «Известия» (11, 12, 15 и 29 июля 1920 года) в весьма обширном объёме (об этом и о централизованно организованных откликах советской печати см.: *А.Ю. Галушкин.* К истории «сменовеховского» движения // Русский Берлин. Международная научная конференция, 16–18 декабря 2002 / Сост. М.А. Васильева, Л.С. Флейшман. М., 2006. С. 20; 32, прим. 4. Гредескул на весь 1920 год стал звездой большевистской пропаганды. С восхищением цитируя отмеченную пафосом радикального диктаторского принуждения «Экономику переходного периода» (1920) Н.И. Бухарина, Гредескул писал: «Интеллигенция несомненно “переламывается”, в ней уже идет целое движение навстречу новому. Это движение идет преимущественно “снизу”; оно еще встречает большое сопротивление, главным образом, “сверху”, от “мудрецов мира сего”, от “мудрецов вчерашнего дня”». (*Н. Гредескул.* Одиночная попытка или общественное движение? // Известия ВЦИК. № 181 (1028). 17 августа 1920 года. С. 2).

резко изменилась. Вместе с изменившимися обстоятельствами вскоре отпала и тактическая нужда в использовании старой интеллигенции для налаживания связей с Западом. Лишь 12 июля 1920 года высший орган распорядительно-экономической власти — Президиум Высшего Совета Народного Хозяйства вынес решение «дать заключение в МСНК (Малый Совнарком — правительственную комиссию для решения оперативных административных вопросов. — *М.К.*) об Обществе трудовой интеллигенции».[9] Но, похоже, заключение не родилось и бюрократическая судьба союза прекратилась. Последним всплеском её эфемерной риторической активности стало сообщение центрального органа большевиков, газеты «Правда» о том, что по инициативе известного своей особой политической гибкостью Н.А. Гредескула[10] создана «Ассоциация трудовой интеллигенции»[11]. Других сведений о её деятельности пока нет.

9 Протоколы Президиума Высшего Совета Народного Хозяйства. 1920 год. Сборник документов / Отв. сост. Е.В. Хандурина. М., 2000. С. 190.

10 На взгляд из эмиграции его фигура — в сравнении с «национал-большевизмом» Н.В. Устрялова — приобрела символический характер: «Еще до “устряловщины” возникла в советской России “гредескуловщина”. В отношении к родоначальнику последней, тоже профессору, “жизнь повернулась” также не на один десяток градусов. От протопоповской “Воли России” к советским “Известиям” и от нравственного возмущения террором революционеров как “убийством из-за угла, втайне приготовленном и предательски осуществленном”, к столь же нравственной проповеди о слиянии интеллигенции с террористической властью — дистанция немалого размера. Однако, по сравнению с “устряловщиной”, и “редескуловщина” приобретает положительные черты… Гредескулы не боролись вчера против тех, к кому они призывают идти на помощь сегодня. Устряловы с таким же азартом боролись против большевиков вчера, как беззаветно готовы служить им сегодня. Гредескулы и Брусиловы капитулировали, находясь “на том берегу”, в царстве смерти, — Устряловы предались на сторону “красного империализма” из приличного “далека”. Чувствительные и недалекие Гредескулы задаются мучительным лишь для них и по существу бесплодным вопросом: “почему это интеллигенция, носительница вечных идеалов равенства и братства, в трагический для народа момент от него “отвернулась”? Устряловы же поют осанну советской власти и, как могут, способствуют ее признанию, питая вредную, широко распространенную на Западе — от Ллойд-Джорджа и Уэльса и до L›Humanite — унизительную для русского народа легенду о том, что власть в России возможна либо царская, либо большевистская. “Гредескуловщина” порождена нуждой, чувствительностью, недомыслием. “Устряловщина” — гораздо более низменного происхождения. Ее создала та же психология, которая заставляет тех же самых людей — при изменившихся даже не на 180 градусов внешних обстоятельствах — то тянуться к чужим физиономиям, то подобострастно припадать к их же “ручке”…» (*Марк Вишняк*. [Рец.:] Проф. Н. Устрялов. В борьбе за Россию. Харбин: Окно, 1920 // Современные записки. 1921. Кн. III. С. 274–275). См. также: Гредескул зовет интеллигенцию // Общее Дело. 13 января 1921 года.

11 *А.Ю. Галушкин*. К истории «сменовеховского» движения. С. 21.

Ниже по единственной известной газетной публикации републикуется и комментируется полный текст «Декларации трудовой интеллигенции». Автор комментария стремился расшифровать тактически значимый для большевистских инициаторов декларации политический смысл текста и одновременно привязать его к риторическим формулам той интеллигенции и той буржуазии, к которым, по замыслу большевиков, и должен был обращаться этот искусственный и недолговечный союз.

Приложение

Декларация трудовой интеллигенции

Группа русской трудовой интеллигенции, принадлежащей к различным оттенкам политической и социальной мысли, являющейся непосредственной свидетельницей[12] происходивших в России в течение последних лет событий и объединившаяся на признании необходимости приложить теперь же свой труд и знания к восстановлению производительных сил страны и к сохранению остатков уцелевшей после мировой войны и революционного процесса культуры, обращается к руководящим общественным кругам Европы и Америки[13] и к зарубежным своим соотечественникам[14] с изложением своего взгляда на то, какие пути могли бы привести к скорейшему возрождению культурных и деловых сношений Запада с Россией[15].

12 *Непосредственной свидетельницей* — противопоставление авторов из среды внутрироссийской «трудовой интеллигенции» той части отвергаемой «буржуазной интеллигенции», что пережила события Гражданской войны вдалеке от событий, в эмиграции. Искусственное противопоставление подсоветской интеллигенции, то есть действующей в подневольных условиях советской власти, как единственной «непосредственной свидетельницы» — остальной интеллигенции, будто бы не имеющей непосредственного опыта событий, одновременно (1) выводит антибольшевистскую либеральную и социалистическую интеллигенцию, проведшую годы Гражданской войны в рядах белых армий и администраций, за рамки диалога и (2) игнорирует сам факт её существования и значимость её антибольшевистских свидетельств на Западе.

13 *Руководящим общественным кругам Европы и Америки* — эвфемизм, позволяющий не употреблять большевистских риторических классовых оценок вроде «буржуазных правительств» и «эксплуататорских классов», компромиссно расширяющий за счёт политической оппозиции на Западе спектр тех, к кому обращаются от имени «общественных кругов» России авторы декларации.

14 *Зарубежным своим соотечественникам* — вновь обращение к политической и, более всего, торгово-промышленной эмиграции через голову ещё действующих на территории России антибольшевистских правительств и «общественных кругов».

15 *Культурных и деловых сношений Запада с Россией* — ясно, что обращение к общественности Запада с призывом о «возрождении культурных сношений» направляется авторами декларации не по адресу, ибо прекращение этих сношений в условиях непризнанности советской России странами Запада, а также в условиях

В России уже три года идет революция[16], выражающаяся в коренной ломке старых устоев, изыскании новых форм политического и социального уклада, народной жизни и сопровождающаяся неизбежными эксцессами[17]. Брожение это болезненно ощущается всем миром, нуждающимся в покое после потрясений беспринципной войны[18] и в культурных средствах, необходимых для восстановления порядка и нового строительства; этим преимущественно объясняется, по нашему мнению, стремление правящих кругов иностранных держав воздействовать на создание в России прочного политического

большевистской диктатуры, установившей тотальную цензуру в сфере внутренней и внешней культурной деятельности, ни в коей мере не было инициативой общественности Запада. Призыв же о «возрождении деловых отношений» — не более чем призыв к установлению экономических связей с большевистской Россией без предварительных условий её политического признания.

16 *Три года идет революция* — авторы исторически изображают революции Февраля и Октября 1917 года как единый процесс, в чём сознательно сближаются с их право-монархическими критиками, изображающими коммунистический эксперимент прямым следствием свержения самодержавия. Таким образом авторы принуждают либеральных и военных организаторов Февральской революции признать себя столь же ненавистными для защитников прежнего режима, как и организаторы революции Октябрьской — и тем самым нейтрализовать их собственную антибольшевистскую борьбу и предложить им антимонархическую, но государственническую коалицию с большевиками. Авторы от имени подсоветской «трудовой интеллигенции» стремятся уверить адресатов декларации в том, что действующий большевистский режим является не просто исторически, но и идейно преемственным по отношению к Февральской революции.

17 *Неизбежными эксцессами* — инициированные победителями Октябрьской революции Брестский мир, «военный коммунизм» и красный террор, таким образом, не только помещаются в контекст Февральской революции, но и изображаются в качестве «неизбежных эксцессов» общего революционного процесса, за которые большевики не несут отдельной ответственности.

18 *Беспринципной войны* — аллюзия на широко распространённые в годы Первой мировой войны взаимные пропагандистские упрёки политиков и деятелей культуры Англии, Франции, России, с одной стороны, и, прежде всего, Германии, с другой стороны, в (технологически неизбежных из-за резкого усиления разрушительной мощи средств войны) «варварских» методах ведения войны, приведших к массовым жертвам среди гражданского населения и уничтожению памятников культуры. Впрочем, упоминание о «беспринципности» мировой войны — в условиях продолжающейся не менее жестокой и истребительной Гражданской войны в России — заставляет усомниться в «свидетельской» адекватности авторов декларации, либо предположить, что декларация адресована лишь тем на Западе, кто не интересуется мерой «беспринципности» происходящих в России событий.

и экономического строя[19]. Но насколько необходимы дружеское содействие и помощь заграницы в экономической и производительной эволюции России[20] в общечеловеческих интересах и для обоюдной пользы, настолько безрезультатно и даже вредно вмешательство извне, в особенности вооруженное, в область внутренней политики стопятидесятимиллионного народа[21]. Это та

19 *Стремление правящих кругов иностранных держав воздействовать на создание в России прочного политического и экономического строя* — эта предельно компромиссная и иносказательная формула призвана «оправдать» прямое военное вмешательство стран Запада в Гражданскую войну в России на стороне белых армий, новых националистических движений и правительств на окраинах бывшей Российской империи. Другая цель — заменить риторический ряд об интервенции (ничем не обоснованным) предположением о том, что преобладающим мотивом вмешательства Запада в Гражданскую войну в России было якобы именно желание создать в России некий нейтральный, но «прочный политический и экономический строй», а не расчленить её в своих империалистических и колониальных интересах. В такой подмене риторики прямо читается предложение советской России устами «близкой Западу» «трудовой интеллигенции» переориентироваться с поддержки антибольшевистских движений и администраций на как минимум экономическое признание большевиков в уважение к демонстрируемой ими «прочности» режима.

20 *Помощь заграницы в экономической и производительной эволюции России* — имеются в виду только потребности советской России в рынках сбыта. Главный интерес РСФСР состоял в доступе к кредитным ресурсам и технологиям Запада, но вовсе не в «помощи» в эволюции экономической политики большевиков в сторону от военного коммунизма к новой экономической политике, в качестве «временного отступления» допускавшей легализацию мелкого и среднего товарного производства в сфере промышленности и городских услуг. Тем не менее двусмысленная формула «эволюции» намеренно избрана авторами декларации для поддержания надежд Запада и русской эмиграции на необратимую буржуазную экономическую и, следовательно, политическую эволюцию советской власти в сторону от коммунизма и диктатуры, по пути признания частной собственности в промышленности, демонополизации внешней торговли и прямого допуска иностранного капитала к освоению природных ресурсов России. Именно надежда на такую эволюцию и служила главным обоснованием установления торговых отношений с большевиками, а затем и их признания странами Запада.

21 *Безрезультатно и даже вредно вмешательство извне, в особенности вооруженное, в область внутренней политики стопятидесятимиллионного народа* — после риторических предположений о заинтересованности Запада в «прочном политическом и экономическом строе» в России, это — прямое осуждение военной интервенции. Ко времени составления декларации на территории исторической России оставалось лишь два очага вооруженного сопротивления большевикам при поддержке иностранцев: в Крыму и Таврии и на Дальнем Востоке. Пользовавшийся наибольшей поддержкой Запада верховный правитель России адмирал Колчак в Сибири потерпел военное поражение от большевиков и был ими расстрелян 7 февраля 1920 года в Иркутске.

область, в которой русский народ ценою борьбы и страданий должен самостоятельно строить свою жизнь и свое будущее, ибо нет сомнений, что насильственное воздействие не дает положительных результатов, а, в большинстве случаев, служит даже источником новых страданий для революционного народа, обрекая на гибель уцелевшие остатки его культуры.

Соответственно сему нашим зарубежным соотечественникам, отсутствующим в России уже более двух лет[22], необходимо пересмотреть многие из своих взглядов и убеждений, как уже не соответствующих современным потребностям страны, а равно настроению и воззрениям как широких народных масс, так и многочисленных групп интеллигенции, значительно эволюционировавшей за это время, когда дни и часы можно было считать за годы. Можно не соглашаться со многим происходящим в России и подлежащим безусловному осуждению, но необходимо, чтобы отрицательные явления временного и преходящего характера[23] не заслоняли от русской интеллигенции всего русского народа, для облегчения страданий которого следует идти по пути уступок, не останавливаясь ни перед какими личными жертвами[24].

22 *Зарубежным соотечественникам, отсутствующим в России уже более двух лет* — судя по тому, что в конце 1917 — начале 1918 года из России в эмиграцию выехали (в первую очередь из-за большевистской политики тотальной национализации) представители торгово-промышленных кругов, а вовсе не абсолютное большинство представителей «цензовой» и «трудовой» интеллигенции (либерального и социалистического политического класса), оставшейся в России, то очевидно, что декларация обращена к тем русским деловым кругам в эмиграции, чьё мнение об условиях хозяйствования в большевистской России было бы наиболее значимым для западных правительств и экономических властей. Из этого также следует, что участники антибольшевистских и белых движений и правительств, в 1918, 1919 и 1920 годах боровшиеся на территории России, авторами декларации отсекались и как негодные, некомпетентные свидетели событий, и как соотечественники, и как сторона для диалога.

23 *Отрицательные явления временного и преходящего характера* — авторы декларации вновь, без каких-либо фактических оснований, берут на себя смелость утверждать, что политическая и экономическая программа большевиков, реализованная в военном коммунизме, более всего породившая «отрицательные явления» в области производства и распределения, — «временна», как временна Гражданская война в борьбе за общенациональную власть. Большевистские политические редакторы текста, санкционировавшие появление такой формулировки в декларации, заведомо исходили из того, что её более обширное толкование как якобы обещания отказа от большевистской политической и экономической программы (задолго до новой экономической политики) не имеет никаких оснований и является простым обманом.

24 *Можно не соглашаться со многим происходящим в России и подлежащим безусловному осуждению, но необходимо… идти по пути уступок, не останавливаясь ни перед какими личными жертвами* — авторы декларации прямо сводят принципиальные (полити-

Несомненно, современное политическое и экономическое положение России крайне затруднительно: страна нуждается и в правовом творчестве[25], без которого немыслима ни культурная, ни деловая жизнь, и в экономических реформах, и в таких средствах, при которых только и возможно производительное использование её сил. Но какими путями пойдет русский революционный процесс дальше, какие руководящие идеи в нем, в конце концов, восторжествуют[26], и в чем выразится происходящий в толще народа психологический сдвиг — предугадать пока невозможно, и тем более трудно повлиять на него мерами насильственного воздействия[27].

ческие, экономические, военные, идейные) конфликты своих адресатов с большевиками к «личным» конфликтам, оперирующим в лучшем случае моральными оценками политики большевиков. Именно потому они считают возможным принести их личные интересы в жертву объективной реальности победившего большевизма.

25 *Страна нуждается и в правовом творчестве* — в эзоповом политическом языке дореволюционной России «правовое творчество» — аналог юридически закреплённых политических реформ, расширяющих личную и общественную политическую и экономическую свободы. Очевидно, что и в этом случае большевики, санкционируя Декларацию, не санкционировали надежд на расширение сферы политической свободы в России.

26 *Какими путями пойдет русский революционный процесс дальше, какие руководящие идеи в нем… восторжествуют* — намёк на широко обсуждавшиеся наблюдателями разногласия между «левыми» (радикальными) и «умеренными» большевиками, от результата противоборства которых (и победы последних) на Западе и в эмиграции ждали «буржуазной эволюции» советской власти. Тема этих разногласий неизменно использовалась ответственными переговорщиками советской России на Западе (Л.Б. Красин, Г.В. Чичерин, др.) для завоевания доверия деловых и политических кругов Запада и эмиграции.

27 *В чем выразится происходящий в толще народа психологический сдвиг… трудно повлиять на него мерами насильственного воздействия…* — ещё одно распространённое в современной декларации публицистике и частной переписке представителей антибольшевистской интеллигенции в эмиграции и в России, а также в свидетельствах лояльных большевистскому режиму (подсоветских) интеллигентов. В общих чертах оно сводилось к ряду свидетельств-предположений о том, что в массе населения России, в её демократическом большинстве, вызванном к активной жизни революциями 1917 года, растут религиозные настроения, восстанавливается непартийный национализм или патриотизм, увеличивается отторжение от большевиков при внешней к ним лояльности и т. п. Все эти соображения должны были подчеркнуть верхушечный характер большевистской власти, неспособной противостоять развивающимся под нею «органическим процессам», которые в итоге приведут либо к соответствующему перерождению большевистской власти, либо к её падению. При этом ускорение этих процессов, «насильственное воздействие», то есть свержение режима в ходе антибольшевистской революции, Гражданской войны или военной интервенции, признавалось противоречащим более глубоким «органическим процессам» в народе и, самое главное, лишённым шансов на успех.

Единственно ясное в нашем русском вопросе — это то, что изолировать от всего остального мира население колоссальной страны[28] в ожидании разрешения им своих социальных и политических проблем[29] невозможно. Этого не позволяют жизненные интересы и современное положение вещей повелительно требует:

1) Прекратить поддержку вооруженного вмешательства[30] в исключительно внутренние дела России.

28 *Изолировать от всего остального мира население колоссальной страны* — авторы ставят знак равенства между международной политической и экономической изоляцией (блокадой) большевиков и проистекающей из неё изоляцией (блокадой) подвластного большевикам населения. В большевистской риторике того времени, однако, «изоляция» советской России вскоре была противопоставлена проекту мировой революции и строила на традиции «изолированного государства» доктрину «социализма в одной стране» (об этом подробно см.: *М.А. Колеров*. Сталин: от Фихте к Берия. Очерки по истории языка сталинского коммунизма. М., 2017 (Очерк «Фихте, Лист, Витте, Сталин: изолированное государство, протекционизм, первоначальное социалистическое накопление и “социализм в одной стране”»). Но в момент декларации, подменяя изоляцию большевиков — изоляцией народа России, авторы декларации производят формулу, ставшую одной из ключевых в ходе борьбы большевиков и ряда деятелей эмиграции за признание советской России на Западе, установления с нею сначала экономических, а затем политических отношений. Согласно этой формуле, изолируя большевиков, нельзя изолировать подвластный им народ, но следует, признав большевиков, «втянуть» их в международную кооперацию (по Троцкому, в «международное разделение труда») и получить прямой доступ к воздействию на подвластный им народ — и тем самым помочь внутренней антибольшевистской эволюции страны. Очевидно, однако, что из установления отношений Запада с советской Россией в условиях 1920-х годов вовсе не создавалось никаких социально значимых контактов с населением, которые могли хотя бы теоретически подрывать политическую монополию большевиков.

29 *В ожидании разрешения им своих социальных и политических проблем…* — ещё одна риторическая уловка: установление и укрепление в результате Гражданской войны власти большевиков уже воспринимались как совокупность необратимых политических и социально-экономических итогов революции, именно то состоявшееся «разрешение», которое в ходе дальнейшей эволюции могло лишить власти большевиков, а вовсе не «ожидание» Запада. «Ожидание» Запада, выливавшееся в форму политико-экономической блокады, было категорически неприемлемо именно для высшего политического и экономического руководства большевиков, столкнувшегося с предельным не только в России, но в других странах, дефицитом экономических ресурсов, необходимых для элементарного выживания большевистского государства в России.

30 *Прекратить поддержку вооруженного вмешательства…* — в применении к Западу — отказ от поддержки вооружённой борьбы Вооружённых сил Юга России (во главе с Деникиным, а затем — Врангелем) против большевиков.

2) Возобновить возможно скорее культурные и деловые сношения с Россией, независимо от существующего в ней ныне строя[31].

3) Оказать широкое и всестороннее содействие русскому народу в области восстановления его культурных, производительных и хозяйственных сил.

Глубоко веруя в то, что Россия преодолеет все трудности и возродится к новой культурной жизни, мы убеждены, что руководящие круги европейского общественного мнения, сочувствуя нашему начинанию, откликнутся на наш призыв и помогут русскому народу в его усилиях выйти на путь мирного труда.

Учредители Союза трудовой интеллигенции.
18 февраля 1920 год

31 *Возобновить возможно скорее культурные и деловые сношения с Россией, независимо от существующего в ней ныне строя…* — установить экономические отношения Запада с большевиками как легитимной властью в России.

Призывал ли о. Сергий Булгаков к еврейским погромам в 1920 году?

Старый друг С.Н. Булгакова (1871–1944) по его студенческим 1890-м годам в Московском университете, где Булгаков учился на юридическом факультете, М.О. Гершензон (1869–1925), с 1893 по 1901 год бывший личным секретарём историка, профессора этого университета П.Г. Виноградова, пронёс внимание к трудам и личности Булгакова через всю свою творческую жизнь. Вершиной их творческого сотрудничества стало совместное участие в сборнике «Вехи» (к участию в которых Булгакова пригласил именно Гершензон). Основой их взаимного доверия была юношеская ещё искренность, когда они выяснили взаимные согласия и разногласия, сошлись в пристрастии к марксизму[1], а затем разошлись в пристрастиях религиозно-конфессиональных. «Еврейский вопрос», очевидно, был выяснен между ними с первых же лет знакомства[2], несомненно, под особым влиянием «Национального вопроса в России» В.С. Соловьева. Собственное наследие Булгакова даёт достаточно общедоступного и хрестоматийного материала по исследованию булгаковских интерпретаций «еврейского вопроса», хотя несомненно, что далеко не все относящиеся к делу тексты (особенно из повременной печати) известны и введены в научный оборот.[3]

1 *М.А. Колеров*. Гершензон и марксисты: к вопросу об идейной свободе писателя // Исследования по истории русской мысли. [3] Ежегодник за 1999 год. М., 1999.

2 См.: В ожидании Палестины: 17 писем С.Н. Булгакова к М.О. Гершензону и его жене (1897–1925) / Публ. М.А. Колерова // Неизвестная Россия: XX век / Гл. ред. В.А. Козлов. Вып. 2. М., 1992.

3 См., например: «антиеврейский погром, в сущности, есть антихристианский погром. (…) Падаю ниц пред тобой, многострадальный народ еврейский, народ-Мес-

Когда Гершензон умер, о. Сергий Булгаков, уже высланный из советской России, написал его вдове 12/25 апреля 1925 года в Москву: «Христос Воскресе! Дорогая Мария Борисовна! Давно испытываю потребность подать Вам свой голос, послать благословение, сказать, как я с Вами в постигшем Вас горе. Я искренно любил и уважал его и, кроме того, привык чувствовать себя благодарным ему в течение всей своей жизни, за которую видел столько горячей к себе любви, ревнующей, верной, преданной. Мне трудно и скорбно, что я не могу о нём молиться как о своём духовном сыне или хотя единоверце, т.е. за литургией, но молюсь о нём, как можно. Храню благодарную память о наших последних встречах, особенно в Даниловом[4] монастыре. Мы настолько сверстники и вместе прожили жизнь, что вместе с ним уходит в могилу уже и кусок моей жизни». Поэтому так важны именно суждение и свидетельство Гершензона об участии Булгакова в общественной судьбе «еврейского вопроса» на излёте Гражданской войны в России, как известно, идеологически и исторически неразрывно связанной с ярким участием русского еврейства в революционной борьбе и установлении советской власти на стороне красных, со страдательной и в целом неудачной борьбой русских евреев на стороне белых. Русским евреям пришлось разделить наибольшую часть морально-исторических претензий русского общества к красным, не говоря уже о взрыве идеологического и бытового антисемитизма в стране, где во власти и политической оппозиции резко увеличилось присутствие евреев, более не ограниченных ни чертой оседлости, ни государственной церковностью.

сия, воплотивший Христа, не могу поднять глаз на тебя от стыда, горя и смущения» (*Сергей Булгаков.* В дни скорби и позора // Киевские Отклики. 25 октября (7 ноября) 1905 года. С. 4). А также — статьи Булгакова в «Сыне Отечества» о еврейском вопросе и перепечатку в: Киевские Отклики. № 179. 1 (14) июля 1905 года. С. 2. См. также публикацию в настоящем сборнике: Молодой Булгаков о еврейском вопросе: *С. Булгаков*. Два критерия (1905).

4 Там же. С. 136–137. В публикации ошибочно: «Донском». «В день Св. Духа еп. Феодор имел служить в кладбищенском храме Св. Духа, и туда шли мы из Данилова монастыря крестным ходом, я шел в стихаре с дьяконской свечой рядом с епископом. То было немалое расстояние, но прошли его спокойно и беспрепятственно. К рукоположению пришли в храм и друзья мои, бывшие тогда в Москве. Вспоминаю прежде всего о. Павла Флоренского (со своим Васей), участвовавшего и в литургии, М.А. Новоселова, Прейса, Вяч. Ив. Иванова, Н.А. Бердяева, П.Б. Струве (?), кн. Е.Н. Трубецкого, Гр. А. Рачинского, В.К. Хорошко, А.С. Глинку (Волжского), М.О. Гершензона, Л.И. Шестова, Е.А. Аскольдову и др. Все они после службы участвовали и в дружеском чаепитии, духовенством храма для нас радушно устроенном» (*С.Н. Булгаков* «Мое рукоположение») 11 июня 1918 года в Даниловом монастыре Булгаков был рукоположен в дьяконы, а через две недели — в храме Св. Духа на Даниловском кладбище — в иереи.

Гершензон писал Льву Шестову 13 января 1923 года из германского Баденвейлера, где был на лечении, о своих хлопотах за Булгакова перед одним из всемогущих большевистских вождей, председателем Московского совета, членом Политбюро РКП(б) Л.Б. Каменевым, перед которым хлопотали многие: «… прошлой осенью… решил я пойти к нему и начисто поговорить о возможности для С.Н. Булгакова вернуться в Москву… Я знал из письма С.Н. и от Маруси [Булгаковой], что он всё время держался в стороне от политики; но К<аменев> не слушал моих уверений; в конце концов он заявил: разве вы не знаете, что Б<улгаков> написал призыв к еврейским погромам, который был расклеен во всех городах Крыма? Я ответил, конечно, что это возмутительная ложь, что Б. *на это неспособен*; а он мне: сам Родичев подтвердил этот факт в заграничной газете, и Б. ведь не опроверг».[5] Как будет подробно сказано ниже, к выяснению этого факта идейно-политической биографии Булгакова уже осенью 1920 года был привлечён и соученик М.О. Гершензона по семинарию П.Г. Виноградова на историко-философском факультете Московского университета, близкий знакомый Булгакова с 1890-х годов[6], адвокат, защитник М. Бейлиса на процессе по делу о ритуальном убийстве А. Ющинского (1913), масон, либеральный политик, посол Временного правительства и белых правительств во Франции В.А. Маклаков (1869–1957), побывавший непосредственно в ходе инкриминируемых Булгакову событий во врангелевском Крыму.

Авторитетный исследователь «еврейского вопроса» в России и русской эмиграции О.В. Будницкий указывает, что о погромных проповедях Булгакова в Крыму и о том, что они даже расклеивались на стенах в виде прокламаций, действительно было подробно написано в эмигрантской печати в конце октября 1920 года, но вскоре опровергнуто другом Булгакова.

> «"По газетным сведениям, — писал в "Еврейской трибуне" известный публицист Бор. Мирский (Миркин-Гецевич), — С. Булгаков, проживая

5 *М.О. Гершензон.* Письма к Льву Шестову (1920–1925) / Публ. А. Д'Амелиа и В. Аллоя // Минувшее. 6 / Гл. ред. В. Аллой. М., 1992. С. 276–277. Ответные письма см.: Лев Шестов. Письма Михаилу Гершензону [1917–1924] / Публ. В. Проскуриной // Еврейский журнал. Москва; Нью-Йорк; Тель-Авив; Женева, 1992.

6 Эту юношескую близость не следует преувеличивать там, где она сталкивалась с вопросами принципиальными. В Государственной Думе всё ещё левый Булгаков, видимо, столкнувшись с актами либерального политиканства, писал 20 мая 1907 года: «…вот уже три дня прошло после посещения мною Думы, а я никак не могу освободиться от чувства омерзения, возбуждённого гг. Гессеном, Маклаковым и Тесленко. Ох, какая это… Особенно же первые двое» (Представительные учреждения Российской империи в 1906–1917 гг.: Материалы перлюстрации Департамента полиции / Отв. ред. В.В. Шелохаев. М., 2014. С. 87–88).

в Крыму, принимает активное участие в антисемитской, попросту даже погромной агитации; философ и священник, учёный и монах, писательским авторитетом и клобуком подкрепляет чёрное дело чиновников Освага, ретивых полицмейстеров и тёмной, злобствующей, без вины виноватой площадной черни… Писатель, вдумчивый и умный, философствующий, ставший антисемитом… от этого нельзя отмахнуться… Булгаков в российских условиях фигура значительная, идеологическая, и его внезапный антисемитизм нужно выделить из всей группы однородных явлений, именуемых на юге России "общественным антисемитизмом". Булгаков стоит совсем особняком; его нынешний антисемитизм, — дикий, безобразный, выявляющийся, по газетным сообщениям, чуть ли не в церковной санкции еврейского истребления, — тоже особенный… После "На пиру богов" — уличная погромная агитация на севастопольских стенах…". На страницах той же "Еврейской трибуны" в защиту Булгакова в частности и русской церкви вообще выступил А.В. Карташев…: "К сожалению, — писал он — в число проповедников погромов впопыхах записали профессора, ныне священника С.Н. Булгакова. Мог ли ученик и продолжатель словом и делом В.С. Соловьёва стать автором погромных прокламаций? Для меня ни на минуту не было сомнения, что это обычная неграмотность информаторов в вещах по существу им непонятных. Булгаков стал монархистом. Это явление для соловьёвца-теократа ничего странного в себе не заключает… Пошлая связь монархизма с антисемитизмом во всяком случае неприменима к такому благородному, вершинному достижению русской культуры, каким рисуется личность С.Н. Булгакова". Карташев допускал, что на почве монархизма мог вырасти "даже своего рода антисемитизм". Но только высокоидеологический, в форме религиозного антагонизма или культурной борьбы идей, и уж никак не в пошлой, грязной и глупой форме погромной агитации… из С.Н. Булгакова сделали карикатуру глупого погромщика, расклеивающего смрадную дичь по заборам Севастополя. Такого рода невежественное, непродуманное смешение всякой монархической идеологии с погромностью не способствует объективному выяснению истины и утишению политических и национальных страстей… Церкви всегда были глубоким культурообразующим фактором в чеканке национальных типов и государственных организмов… Русская церковь никогда не была антисемитской…»

Каково было содержание «прокламаций», принадлежавших перу Булгакова, и можно ли было в них усмотреть призыв к погрому, судить трудно, ибо их тексты не сохранились. Но в том, что какие-то «соблазнительные» тексты

Булгакова распространялись, вряд ли можно сомневаться. Об этом говорят не только «еврейские» и советские источники. По возвращении в Париж Маклаков рассказывал своему коллеге по Русской политической делегации Н.В. Чайковскому, что Врангель просил его при содействии Булгакова помочь воспрепятствовать распространению некоего обращения священников к населению, способного спровоцировать погромы. При первых же словах Маклакова об этом обращении к населению Булгакова сказал: «Я сам его написал…». В итоге О.В. Будницкий утвердительно заключает об авторстве С.Н. Булгакова в отношении антиеврейской прокламации священников Крыма, появившейся в сентябре 1920 года.[7]

В ноябре 1920 года врангелевский Крым был взят большевиками. Разумеется, сам Булгаков не имел никакой возможности читать в Крыму эмигрантскую прессу, которую в то время в советской России регулярно не читали даже высшие чины власти[8], равно как и не мог опровергнуть её сообщений. Биограф Булгакова С.М. Половинкин сообщает: «В это время в еврейской среде прошел слух, что Булгаков приехал устроить еврейский погром. Этот слух был

7 *Бор. Мирский.* Проповедь Булгакова // Еврейская трибуна. Париж, 22 октября 1920 года; опровержение: *А.В. Карташёв.* Антисемитизм и русская церковь // Там же. 3 декабря 1920 (В.А. Маклаков — Б.А. Бахметеву 21 октября 1920 года// «Совершенно лично и доверительно»: Б.А. Бахметев — В.А. Маклаков. Переписка 1919–1951. В 3-х тт. Т. 1. Август – сентябрь 1921 года / Под ред. О. Будницкого. М., 2001. С. 523–524, прим.31); *О.В. Будницкий.* Российские евреи между красными и белыми (1917–1920). М., 2000. С. 272–274. См. также: С.Н. Булгаков о духовных корнях большевизма / Публ. С.В. Филимонова // Отечественные архивы. М., 2002. № 4.

8 Только с лета 1922 года высшие руководители большевиков смогли регулярно читать эмигрантскую прессу. После того как по запросу В.И. Ленина его библиотекарь сообщила ему о каналах получения оригиналов белогвардейской литературы властями (1. Госиздат не получает; 2. Запрошенные Лениным №№ 8 и 9 «Смены Вех» получила от Воровского (НКИД); 3. Регулярное получение белогвардейской литературы только в ВЧК; 4. Зиновьев получает нерегулярно прямо из Берлина; 5. Каменеву нерегулярно привозят приезжие), 18 апреля 1922 года Секретариат ЦК РКП(б) решил снабжать губкомы партии эмигрантской периодической литературой в следующем составе: «Время» (суворинское), «Руль» (кадетский), «Последние новости» (милюковские), «Голос России» (черновский), «Накануне» (сменовеховский), «Социалистический вестник» (меньшевистский). 26 мая 1922 года Политбюро ЦК по предложению Дзержинского приняло постановление «О белогвардейской литературе» о рассылке эмигрантских книг по членам Политбюро и централизации всей работы в ГПУ. Дзержинский предлагал: «Обязать членов Политбюро уделять 2–3 часа в неделю на просмотр ряда некоммунистич. (зачёркнуто: «белогвардейских») изданий и книг и проверять исполнение, требуя письменных отзывов и добиваясь присылки в Москву без проволочки всех некоммун. изданий» (Большая цензура: Писатели и журналисты в Стране Советов. 1917–1956 / Сост. Л.В. Максименков. М., 2005. С. 39, 46–47).

«подтвержден» большевистской печатью, которая писала, что Булгаков написал воззвание духовенства с призывом избивать евреев»[9]. След советской печати в обсуждении этого вопроса вновь выводит на фактические события. О.В. Будницкий заключает: «По-видимому, авторы советского антирелигиозного журнала каким-то образом получили информацию из Парижа. Говоря о Булгакове как авторе погромной прокламации, анонимный советский публицист ссылался на “очень известного русского дипломата”. Несомненно, им мог быть только В.А. Маклаков».[10]

Здесь надо уточнить, что — как широко известно исследователям — никакой сложности для советских специальных служб в получении оперативной информации из заграничной печати не было, представительный комплект периодических изданий русской эмиграции также был доступен широкому кругу политического руководства большевиков, а его содержание ретранслировалось в специальных внутрипартийных и внутриведомственных бюллетенях. Интересно также, что в 1920 году в Париже в качестве неофициального представителя большевиков появился экс-министр Временного правительства, меньшевик и масон, бакинский знакомый И.В. Сталина, близкий сотрудник другого члена Политбюро ЦК РКП(б) Л.Б. Каменева и представителя большевиков в Лондоне Л.Б. Красина (в 1894-м он встречался с Булгаковым в крымском имении родителей жены Булгакова Токмаковых в Олеизе) — М.И. Скобелев. Этот М.И. Скобелев близко общался в Париже с Маклаковым, а Сталин в Политбюро непосредственно курировал вопросы большевистского присутствия в заграничной печати.

Следует восстановить специально еврейский контекст событий в Крыму, где традиционно проводил лето Булгаков ещё с середины 1890-х годов и где он поселился, вслед за семьёй, постоянно в 1918-м, чтобы оценить остроту инкриминируемого Булгакову выступления. Число евреев в Крыму в дореволюционную эпоху было невелико, но интенсивно росло, особенно с началом Первой мировой войны, прямо затронувшей боевыми действиями черту оседлости:

9 *С.М. Половинкин.* Священник Сергий Булгаков и Крым // София: Альманах: Вып. 1: А.Ф. Лосев: ойкумена мысли. Уфа, 2005 (опубл. также в: Москва — Крым. Историко-публицистический альманах. Вып. 3. М., 2001; Крым. Историко-краеведческий альманах. Вып.1. М., 2004). Цит. по: http://www.didaskal.ru/deloN10138. Далее автор даёт глухую ссылку на источник сведений о слухе в еврейской среде: «Церковь и революция. 1920. № 9–12». По-видимому, речь идёт о государственном (Наркомата юстиции) пропагандистском антицерковном журнале: Революция и церковь. № 9–12. М., 1920. О.В. Будницкий прямо указывает источник: Под флагом религии: в стане фон-Врангеля // Революция и церковь. 1920. № 9–12. С. 53 (*О.В. Будницкий*. Российские евреи между красными и белыми. С. 74, прим. 161).

10 *О.В. Будницкий*. Российские евреи между красными и белыми. С. 74, прим. 161.

в 1881–1882 годах — от 2% в Севастополе до 10% всего населения Крыма (точным числом 2.709 человек) в Симферополе, в 1914-м в Крыму было 40–45.000 евреев-раввинистов и до 8.000 караимов. Первые еврейские погромы прошли в Крыму в 1905 году: Евпатория, Симферополь, Севастополь, Феодосия, Керчь. В 1918-м по Крыму прокатился классовый «матросский» террор против еврейской и караимской элиты, прекратившийся в 1918–1919 годах при немецкой оккупации и кадетском Втором Крымском правительстве во главе с С.С. Крымом (министр юстиции — В.Д. Набоков, министр внешних сношений М.М. Винавер, Д.С. Пасманик (в 1917–1919 — редактор газет «Ялтинский голос» и симферопольской «Таврический голос»).[11] При Врангеле в 1920-м бытовой антисемитизм в Крыму носил политический антибольшевистский характер, но, несмотря на это, численность еврейского населения Крыма резко увеличилось (до 100–150.000 человек)[12] за счёт бежавших от большевиков евреев. Исследователь приводит слова Врангеля: «В народных массах действительно замечается обострение ненависти к евреям… Народ не разбирается, кто виноват. Он видит евреев-комиссаров, евреев-коммунистов и не останавливается на том, что это часть еврейского населения, может быть, оторвавшаяся от другой части еврейства, не разделяющего коммунистических учений и отвергающего советскую власть», — и продолжает уже о новой власти:

> «В ноябре 1920 года Крымом окончательно завладевает большевистское правительство. По полуострову прокатывается новая волна погромов, на этот раз проводившихся не столько по этническому, сколько по имущественному признаку. Вновь гибнут не успевшие уехать из Крыма промышленники, интеллигенты, бывшие белогвардейцы и просто непохожие на пролетариат люди… Следует сказать, что евреи были не только среди пострадавших в ходе красного террора, но и, что называется, по ту сторону баррикад. Массовым террором и расстрелами белогвардейцев и “буржуазных элементов” в Крыму заведовали венгерский еврей Бела Кун и Р.С. Землячка-Самойлова (Р.С. Залкинд)… (в 1920–1921 гг.

11 Публикации «Таврического голоса» и др. крымских изданий 1919–1920 годов о Булгакове собраны и переизданы крымским историком: *С.Б. Филимонов*. Из прошлого русской культуры в Крыму: поиски и находки историка-источниковеда. Симферополь, 2010. С. 126–156 (предпубликацию см.: С.Н. Булгаков о духовных корнях большевизма / Публ. С.Б. Филимонова // Отечественные архивы. М., 2002. № 4). См. также: *М. Колеров*. С.Н. Булгаков в Крыму осенью 1919 года // Исследования по истории русской мысли. [1] Ежегодник за 1997 год. СПб., 1997.

12 Считается, что общая численность населения врангелевского Крыма составляла 600–700.000 человек, то есть доля еврейского населения достигала в нём в 1920 году 15–25%.

в Крыму было расстреляно более 40.000[13] сдавшихся белых). В результате погромов, голода 1921–1922 годов, военных действий, террора и массового отъезда за рубеж, население Крымской Иудеи резко сокращается. По некоторым данным, в 1923 году в Крыму проживало около 40.000 евреев-раввинистов и около 4–5 тысяч крымчаков».[14]

Историк крымского периода Булгакова С.М. Половинкин так описывает крымский контекст событий: 16 октября 1919 года Булгаков был избран профессором Таврического университета в Симферополе при ректоре Р. Гельвиге. 9 декабря 1919-го Г.В. Вернадский писал А.А. Корнилову: «Здесь теперь С.Н. Булгаков, избранный профессором нашего университета по кафедре политической экономии.[15] Ты ведь знаешь, что Булгаков теперь священник. Он служит по воскресеньям и праздникам, очень хорошо говорит проповеди. Вообще замечательно много вносит он в симферопольскую жизнь, как светскую, так и церковную. Деятельное участие он принимает в здешнем религиозно-философском кружке». Ядро кружка составляли: Булгаков, Г.В. Вернадский, П.П. Кудрявцев, В.А. Тернавцев, И. Четвериков.[16] 28 сентября 1920 года ректором университета был избран В.И. Вернадский. После занятия Крыма боль-

13 Общее число жителей Крыма на тот момент составляло 800.000 (из них городского — 300.000). Максимальные оценки расстрелянных красными — до 100.000 человек: *А.Г. Зарубин, В.Г. Зарубин*. Без победителей. Симферополь, 1997. С. 231. Минимальные оценки числа расстрелянных опираются на цифру 8.000 и более человек. Максимальная современная оценка расстрелянных с конца ноября 1920-го по март 1921 года представителей офицерства белой армии, администрации, несоветской интеллигенции и священников не превышает 50.000, при этом круг лиц, принимавших решения о массовых расстрелах, прежде всего, пленных, очень широк и отнюдь не сводится к мифологизированным фигурам Б. Куна и Р. Землячки: *Дмитрий Соколов*. «Железная метла метет чисто…» Советские чрезвычайные органы в процессе осуществления политики красного террора в Крыму в 1920–1921 гг. М., 2017. С. 141–246, особенно 240–243.

14 *Михаил Кизилов*. Крымская Иудея: Очерки истории евреев, хазар, караимов и крымчаков в Крыму с античных времён до наших дней. Симферополь, 2011. С. 286, 290, 291–292, 293–294 (переизд.: М., 2012).

15 Булгаков был исключён из числа преподавателей Таврического университета почти сразу после занятия Крыма красными — 13 ноября 1920 года.

16 В Крыму были активны и историки, чьи занятия привлекали Булгакова: например, 18 октября 1920 Булгаков участвовал в открытом заседании Таврической учёной архивной комиссии «по случаю исполнившегося столетия со времени пребывания в Тавриде А.С. Пушкина» (*С.Б. Филимонов*. Хранители исторической памяти Крыма. О наследии Таврической учёной архивной комиссии и Таврического общества истории, археологии и этнографии (1887–1931 гг.). Симферополь, 2004. С. 125).

шевиками в ноябре 1920-го Булгаков был изгнан из университета.[17] Он писал по этому случаю: «Из числа же профессоров университета я был исключен за принятие священства дважды: из Московского — немедленно по рукоположении, из Симферопольского – по занятии его большевиками».

Епископ армии и флота при Врангеле, митрополит Вениамин (Федченков) свидетельствовал в своих воспоминаниях, что Булгакову, бывшему с 1920 года членом Временного Высшего Церковного Управления (ВВЦУ) епархий Юга России, Крымский архиерейский Синод (ВВЦУ) действительно поручил составить «покаянное послание» для богослужений во Владимирском соборе в Севастополе 12–14 сентября 1920-го.[18] Изучение история участия Булгакова в переустройстве и жизни Русской православной церкви сначала как мирянина, а затем и как духовного лица, обнаруживает, что Булгакову не впервые поручалась выработка церковной позиции по отношению к острым общественным вопросам — во вполне специфическом их контексте. В конце ноября 1917 года 33 члена Поместного Собора Православной Всероссийской Церкви духовного звания (в основном — епископы) обратились к Собору с инициативой поручить именно члену Собора от мирян Булгакову выработать позицию церкви одновременно об отношении к масонству и к социализму. Они писали: «Так как масонство и социализм приобретают всё больше и больше последователей среди православного русского населения, то просим Собор отозваться на это явление особым посланием, каковое желательно поручить Члену Собора[19], профессору С.Н.

17 С.Н. Булгаков был исключен из числа преподавателей Таврического университета 13 ноября 1920 года.

18 *Митр. Вениамин (Федченков)*. На рубеже двух эпох. М., 1994. С. 353, 268.

19 С.Н. Булгаков был избран на Поместный Собор на Таврическом епархиальном съезде от мирян епархии и уже 2 мая 1917 года выступил от их имени с речью на Первом Всероссийском съезде духовенства и мирян в Москве. Однако его участие в первой сессии Собора (15 августа – 9 декабря 1917 года) продемонстрировало, что в общецерковном контексте Булгаков не пользовался достаточным признанием: например, в заседании Собора 21 августа при выборах членов Совета Поместного Собора от мирян Булгаков был выдвинут лишь тремя членами Собора и не был избран (ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 4. Л. 27 об.). Дальнейшее активное участие в дискуссии Собора вокруг проблемы церкви и государства осенью 1917 года придало ему достаточно влияния среди членов Собора. И уже 8 декабря 1917-го Булгаков был предложен в кандидаты от мирян наибольшим числом членов Собора — 157 записок (Там же. Л. 286) — и получил наивысшее число голосов «за» при выборах членов Высшего Церковного Совета от мирян. В этот совет, например, были избраны со следующими результатами: Булгаков — 210 «за» и 42 «против», А.В. Карташёв — 173 «за» и 77 «против», Е.Н. Трубецкой — 156 «за» и 93 «против» (Там же. Лл. 282–283).

Булгакову».[20] Результативного продолжения эта инициатива не имела, но постановка проблемы социализма в контексте антимасонской конспирологии была примечательным принуждением Булгакова к тому, чтобы увидеть в социалистическом перевороте России «двойное дно». Можно предполагать, что в Крыму это «двойное дно» Булгаков видел яснее.

В воскресенье 22 сентября (5 октября) 1919 года в Религиозно-философском обществе в Симферополе Булгаков выступил с докладом «Духовные корни большевизма». Его содержание изложили крымские газеты. 24 сентября «Таврический голос» опубликовал запись доклада, где воспроизвёл, в частности, следующие положения:

> «К. Маркс, создавший наукообразную форму социализма, – апостол всемирного большевизма, и это из него русские большевики взяли девиз: "экспроприируй экспроприирующих". Наукообразный социализм, только и говорящий о непрерывной борьбе за материальные интересы, явление очень древнее. Его знает история еврейского народа, встретившись с ним более 2000 лет назад, и когда ждали прихода Мессии, который создал бы рай на земле. И это ожидание вызвало чисто большевистские революции, как, например, в Иерусалиме, когда в нём, осаждённом римскими войсками, свирепствовал тот же террор, какой мы видим сейчас у нас, то же истребление буржуазии, такой же захват власти. К. Маркс, иудейский апокалиптик, только повторил древнюю иудейскую веру в мессианизм… Победа над большевизмом должна быть не в плодах, а в корнях. Победить нужно всю «новую историю» и заменить её новейшей, которая должна стать христианской».[21]

В тот же день симферопольские «Южные ведомости» сообщали:

«Революционное движение в еврействе 2000 лет тому назад (в момент зарождения христианства) и ожидание пришествия Мессии для установления *рая* на *земле* С.Н. Булгаков считает чуть ли не первым проявлением большевизма. Силою оружия удастся победить большевиков. Но большевизм остаётся пока непобеждённым, так как корни его лежат глубоко в сердцах людей…»[22].

20 Заявление Председателю Поместного Совета Православной Всероссийской Церкви // ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 596. Л. 1–2 (оригинал письма: Д. 616). Здесь же: Заключение Соборного Совета о передаче заявления в Отдел внешней и внутренней миссии и постановление Собора от 25 ноября 1917 года об утверждении заключения Соборного Совета.

21 *С.Б. Филимонов.* Из прошлого русской культуры в Крыму: поиски и находки историка-источниковеда. С. 132–134. Анонс доклада: С. 130–131.

22 Там же. С. 137.

25 сентября 1919 года в публичном заседании Религиозно-философского общества, посвящённом памяти В.В. Розанова, Булгаков (наряду с тогдашним епископом Вениамином[23]) выступил с новым докладом — о Розанове. Газета «Южные ведомости» обратила внимание на то, что «довольно подробно остановился на отношении Розанова к еврейскому вопросу, отношении, вытекающем из его религиозного миросозерцания: сначала филосемитизм, потом, в дни дела Бейлиса, антисемитизм, а в дни большевиков — опять своеобразный филосемитизм».[24] Примечательно, что в русской общеполитической и литературно-научной периодике, расколотой тогда на белую и красную территории, а также в эмиграции, с особым вниманием собиравшей взаимно неточные сведения и слухи о смертях известных лиц по обе взаимно изолированные стороны фронта Гражданской войны, в некий сводный некролог, наряду с Розановым (тоже не раз похороненным в белой прессе при жизни), летом 1920 года был включён и сам Булгаков: слухи о его смерти, не имея ещё достаточных данных для их полной проверки, воспроизвёл орган старой интеллигенции «Вестник литературы» в заметке «Мнимоумерший писатель. Умершие и заживо погребённые».[25]

Антибольшевистская газета «Великая Россия», выходившая тогда в белом Ростове-на-Дону, тоже обратила внимание на общественную активность Булгакова в Крыму и зафиксировала первые «погромные» обвинения. В давно введённом в научный оборот обзоре корреспондента газеты, опубликованном под заглавием «Неделя о Булгакове» 6 (19) ноября 1919 года, в частности, тоже рассказывалось о докладе Булгакова «Духовные корни большевизма», поставившего в ряд предтеч большевизма «иерусалимских большевиков 2000 лет назад» и вождей радикальной интеллигенции Белинского, Чернышевского и других. В связи с этим газета свидетельствовала: «Некоторые социалисты обиделись за Чернышевского; в еврейской среде прошёл слух, что Булгаков приехал устраивать еврейский погром… Не скоро ещё совершится обновление в русском обществе».[26]

Итак, год спустя после крымского выступления Булгакова с докладом о большевизме, Крымский архиерейский Синод поручил о. С. Булгакову составить «покаянное послание» для богослужений во Владимирском соборе

23 *С.Б. Филимонов*. Из прошлого русской культуры в Крыму: поиски и находки историка-источниковеда. С. 132–134. Анонс доклада: С. 103.

24 Там же. С. 142.

25 Журналы «Вестник литературы» (1919–1922), «Летопись Дома литераторов» (1921–1922), «Литературные записки» (1922): Аннотированный указатель / Отв. ред. А.Ю. Галушкин. М., 1996. С. 89 (Июль 1920. № 7 (19)).

26 *М. Колеров*. С.Н. Булгаков в Крыму осенью 1919 года: *Vegetus*. Неделя о Булгакове // Исследования по истории русской мысли. [1] Ежегодник за 1997 год . СПб., 1997. С. 236.

в Севастополе 12–14 сентября 1920 года. Исследователь приводит сообщение газеты «Крымский вестник» от 11 (24) августа 1920-го: «День покаяния. Высшее Церковное Управление на юго-востоке России имело суждение о мерах к поднятию в тылу религиозно-нравственного чувства. С этой целью решено: назначить на 14 сентября день покаяния, подготовив христиан к этому дню трёхдневным постом — 12, 13 и 14 сентября. В послании среди многочисленных грехов россиян поминалось и убийство царской семьи с невинными детьми».[27] По этому поводу решено обратиться с воззванием к народу и красноармейцам, текст воззвания будет выработан профессором-священником С.Н. Булгаковым. Духовенству предложено подготовить паству ко дню покаяния. Кроме того, поручено председателю Высшего Церковного Управления преосвященному Димитрию, архиепископу Таврическому и Симферопольскому, обратиться с ходатайством к Главнокомандующему [Вооружёнными силами Юга России П.Н. Врангелю] и начальнику управления внешних сношений [П.Б. Струве] о доставлении к этому времени из Сербии вывезенного туда образа Чудотворной иконы Божией Матери». Образ Знаменской (Курской) Божьей Матери был доставлен из Сербии 14 (27) сентября 1920 года и 20 октября (2 ноября) был перевезен в Ялту, откуда 14 ноября, накануне вступления Красной армии, был эвакуирован за границу.[28]

Дополнительный свет на кратко описанные по повременной печати события проливает переписка В.А. Маклакова. Её ярчайшая часть — переписка с послом Временного правительства в США Б.А. Бахметевым — давно опубликована О.В. Будницким, но случайно не встретила заинтересованного внимания со стороны исследователей Булгакова.

Посетив с конца сентября по 6 октября 1920 года[29] в качестве главы Совещания русских послов врангелевский Крым для выяснения перспектив его устойчивости в условиях готовящегося наступления красных, Маклаков подробно информировал Бахметева об итогах поездки, о встрече с П.Н. Врангелем в письме от 21 октября 1920 года: «Когда я был в Севастополе, то мне

27 *С.Б. Филимонов*. Из прошлого русской культуры в Крыму: поиски и находки историка-источниковеда. Симферополь, 2010. С. 121. Здесь уточнение даты проведено С.Б. Филимоновым, а со ссылкой на воспоминания митр. Вениамина (Федченкова) ошибочно датировано это событие 1919 годом здесь: *С.М. Половинкин.* Свящ. Сергий Булгаков и Крым // С.М. Половинкин. Русская религиозная философия. Избранные статьи. СПб., 2010. С. 257, 270.

28 *С.Б. Филимонов*. Из прошлого русской культуры в Крыму: поиски и находки историка-источниковеда. С. 389–390.

29 «Совершенно лично и доверительно»: Б.А. Бахметев — В.А. Маклаков. Переписка 1919–1951. В 3-х тт. Т. 1. Август – сентябрь 1921 года / Под ред. О. Будницкого. М., 2001. С. 519, прим. 1 (примечание О.В. Будницкого).

передавали о проповедях, которые духовенство произносит в церквах, а иногда даже и на площадях; говорили, будто [прот. В.И.] Востоков призывает к погромам[30](…) в церквах ведётся реставрационная [монархическая. — *М.К.*] пропаганда, а отдельные намёки на роль еврейства [в революции, делаемые] в этой пропаганде, конечно, питают и настоящих погромщиков… Этого рода проповеди, как раз во время моего приезда, получили некоторое обострение… Произведя в пределах доступного анкету (опрос. — *М.К.*) в Севастополе, я не могу не признать, что всё это страшно преувеличено».

Маклаков признал реальной опасность погромов и погромного настроения духовенства и высказал уверенность в том, что если они будут преодолены, это будет иметь позитивное внешнеполитическое значение: «Направление мысли нашего духовенства при перевороте в религиозную сторону, вообще народное настроение, конечно, покажет демократическому Западу и Соединённым Штатам, насколько, с их точки зрения, была бы выгоднее победа Колчака, Деникина или Врангеля, то есть смена одной власти другой, хотя бы имеющей реакционные задатки, но всё-таки же властью, понимающей обязанности государства, насколько такая победа была бы предпочтительнее стихийного крушения большевизма народной волной». В «погромных» слухах упоминалось и имя Булгакова. Как сообщил Маклаков, Врангель в разговоре с ним высказался за то, чтобы погромная пропаганда была преодолена силами самой церковной иерархии: «Он не только со мной не спорил, но сейчас же во всём согласился, согласился в том, что вообще проповеди духовенства принимают уродливую форму; я запретил, сказал он, печатать в газетах послания этих епископов, и действительно, в газетах были напечатаны только краткие изложения со смягчением всех углов… Было бы желательно, говорил он, чтобы… проповедь была обуздана самими же епископами, чтобы в самой церкви пробивались другие течения… И он настойчиво рекомендовал мне дружески поговорить с Булгаковым, который был моим товарищем по университету, с которым мы были в самых лучших отношениях, который был, наконец, совершенно культурным человеком и на которого он рассчитывал как на возможного представителя такого рода культурного духовенства». По итогам встречи и беседы с самим Булгаковым Маклаков однозначно опроверг слухи об участии Булгакова в погромной агитации, возложив ответственность за распространяемые о нём слухи на «неграмотность информаторов» (именно

30 «Совершенно лично и доверительно»: Б.А. Бахметев — В.А. Маклаков. Переписка 1919–1951. В 3-х тт. Т. 1. Август – сентябрь 1921 года / Под ред. О. Будницкого. М., 2001. С. 522, прим. 25 (примечание О.В. Будницкого): в неопубликованных воспоминаниях В.И. Востокова говорится, что «22 сентября 1920 г. его вызвал Врангель и потребовал прекратить» антисемитскую агитацию «под угрозой высылки из Крыма».

эту формулу, несомненно восходящую к формулировке Маклакова, употребил в печати и А.В. Карташёв, адвокатируя Булгакова), но то, что далее подробно рассказал Маклаков, позволяет заключить, что, развивая в своих публичных докладах философский поиск «корней большевизма» в иудейском духе революции, Булгаков вовсе не случайно получил задание сформулировать антиреволюционное обращение к пастве и вовсе не далеко отстоял от идейного строя упомянутой агитации, понимая, что дело собственно погромной агитации проистекает из того же строя идей. Не призывая к погромам, он был убеждён и убеждал других, что именно иудейский корень русской революции должен быть преодолён на пути христианизации.

Маклаков свидетельствовал в письме к Бахметеву от 21 октября 1920 года:

> «Булгаков стал монархистом. Это явление для соловьёвца-теократа ничего странного в себе не заключает… Пошлая связь монархизма с антисемитизмом во всяком случае неприменима к такому благородному, вершинному достижению русской культуры, каким рисуется личность С.Н. Булгакова. Допускаю, что на такой почве может вырасти даже своего рода антисемитизм. Но только высоко идеологический, в форме религиозного антагонизма или культурной борьбы идей, и уж никак не в пошлой, грязной и глупой форме погромной агитации… Я действительно говорил с Булгаковым и после этого много стало для меня понятным. Мы с Булгаковым встретились очень дружески и дружески разошлись, проговорив целую ночь и целое утро. Я скажу больше, мы кое до чего договорились, но всё-таки между нами обнаружилась такая пропасть в исходных точках, после которой никакое соглашение не представляется возможным. Основная позиция Булгакова всё-таки же та, что у духовенства сейчас совершенно задача не политическая, не партийная, а задача воспитательная; Россия погибла именно потому, думает он, что народ испортился, что русская душа развратилась, и развратилась она потому, что она забыла религиозные идеалы и усвоила начала современного мировоззрения, жаждущего материальных благ, и т.д. Поэтому Булгаков думает, что духовенству нужно полностью и целиком сделать призыв к этим чувствам и настроениям народной души, не смущаясь никакими политическими, тактическими и партийными соображениями. Говоря грубо, он мне сказал, что предпочитает, чтобы Россия сделалась большевистской вся целиком, откуда она выйдет перерождённою в духе христианства, чем стала бы буржуазно-демократической, самодовольной, благоустроенной, но забывшей Бога… Но Булгаков совершенно признаёт, что государство не может стать на эту точку зрения, что у него свои задачи; он согласился со

мною, что хотя он мне указывал, что эти проповеди в Крыму возможны потому, что Врангель стоит на Перекопе, а последнее мыслимо только потому, что Запад даёт ему ружья; и что если бы Врангель исчез, то те чудотворные иконы, которые были привезены в Севастополь при громадном стечении народа (я видел эту встречу), были бы исщеплены на кусочки и потом синематографы это бы показывали. Булгаков согласился и с этим, но вывод у него простой: Врангель не устоит и они будут побиты. Но что же делать. Это Божеское попущение.

Что же касается до того, что они своими проповедями мешают Врангелю, то в конце концов, хотя из этого и не следует, что они должны от своей точки зрения отказаться, но даже не согласен в том, чтобы духовенство ему мешало; напротив, нам, дипломатам, следует только использовать эту реакционную тенденцию духовенства, чтобы ещё на больший пьедестал поставить культурность Врангеля и его сравнительный либерализм... В области политической Булгаков против даже парламентской монархии, он хотел бы просто возвращения к самодержавию; он признаёт, что никаких шансов на успех у него нет, но так как он не политик и не тактик, он проповедник, то этот вопрос об успехе его не касается. Что же касается до антисемитизма, то здесь я встретил, пожалуй, самый опасный вид антисемитизма: подозрение, если не говорить убеждение, что вообще всем миром владеет объединённый еврейский кагал, организованный где-то такое в Америке в коллегию, и что большевизм был сознательно напущен им на Россию... У него большие сомнения, что это правда, и он настойчиво и очень подробно допрашивал меня о том, в какой мере теми данными, которыми я располагаю, можно было бы опровергнуть это представление. Он выпытывал у меня о моих связях с масонством, о том, что мне приходилось там видеть и слышать, и о raison d›etre существования масонства и т.д.; словом, я вижу, что для Булгакова, если не теперь, то в будущем, а для менее культурных епископов и в настоящее время, преобладающая роль евреев среди большевистских главарей не случайность и объясняется не историческими причинами, а есть только проявление той тенденции завоевать мир, которая приписывается [евреям]. Булгаков определённый противник погромов и с этой стороны признаёт, что проповеди Востокова, хотя и не погромные, — он это отрицает, — но могут вызвать не христианские и очень опасные чувства в массе. Он достаточно культурен, чтобы это признать, но, с другой стороны, Булгаков мог бы дать опору гораздо более опасной, я бы сказал, отжитой тенденции государства смотреть с совершенным удовлетворением на самозащиту от еврейства; я бы не

удивился, если бы Булгаков одобрил, если не черту оседлости, то запрет вступать в государственную службу и вообще правовые ограничения еврейства».[31]

Вскоре врангелевский белый Крым был взят красными и погрузился в массовый красный террор. В истории белого движения он остался во многом уникальным, хоть и обречённым, опытом «левой политики правыми руками», военной автократии, реализовавшей рыночную аграрную реформу и остановившей столь распространённые в белом тылу еврейские погромы. Исследователь резюмирует: «Недолгий опыт врангелевского периода белого движения продемонстрировал, что при наличии политической воли и решительности погромы и антисемитскую агитацию вполне можно было пресечь даже в условиях Гражданской войны и морального разложения рядовых солдат и значительной части офицерского корпуса. Правда, следует иметь в виду, что врангелевский эксперимент был локализован во времени и пространстве: длился в течение чуть более полугода и проводился на территории лишь одной их губерний бывшей Российской империи».[32]

Булгаков был изгнан с кафедр. Оказалось, что, если не считать участия в мемориальном пушкинском заседании Таврической учёной архивной комиссии 18 октября 1920 года, последним общественным деянием Булгакова стало составление текста «покаянного воззвания» церкви. Можно утверждать, что и разговор его с Маклаковым, и предположительно продолженная им в воззвании линия церковно-философского преодоления «большевистского» иудаизма, которая в откликах эмигрантской печати и советских вождей превратилась в «призывы к еврейским погромам», стали не только предметом его творческих размышлений, но и причиной его общественно-политического, «репутационного» беспокойства. Два года спустя, высланный из советской России властями, Булгаков всё ещё держал в голове этот «погромный» идейный след, который, как видно, появился ещё *до* церковного проповедничества 1920 года — осенью 1919 года, как реакция не на *церковное*, а на сугубо *идейное* выступление Булгакова. Мемуарист свидетельствовал о Булгакове:

«Я был одним из последних, с кем он простился в Севастополе и я же оказался, вероятно, первым русским, встретившим его в Константинопо-

31 «Совершенно лично и доверительно»: Б.А. Бахметев — В.А. Маклаков. Переписка 1919–1951. В 3-х тт. Т. 1. Август – сентябрь 1921 года / Под ред. О. Будницкого. М., 2001. С. 254, 255–257, 258.

32 *О.В. Будницкий.* Российские евреи между красными и белыми. С. 497.

ле после высылки из СССР[33]. Не могу, конечно, этого утверждать, но и не могу отделаться от тогдашнего впечатления, что годы советчины как-то его внутренне надломили. И наши разговоры на разные темы привели меня к некоторому общему заключению: даже для людей самого большого ума их эмоции играют огромную роль, временами даже смещающую их основную духовную линию. Между прочим, помню, что вскоре после приезда он сказал мне, что П.Б. Струве хочет собрать оставшихся в живых участников «Вех» и выпустить новый сборник. Но у Струве возникли разногласия с Бердяевым. «П.Б. пишет все о смуте… Нет уж, какая там смута!» Очень беспокоило о. Сергия то, что кто-то приписал ему погромные проповеди в Крыму у белых, чего, конечно, не было. И он спрашивал, где это было напечатано».[34]

Когда в конце 1920-х в СССР (в статье Б. Кандидова «”Дни покаяния” в Крыму в сентябре 1920 года (историческая справка по неопубликованным материалам)» в журнале «Антирелигиозник» (1929. № 7)) вновь появились сведения о погромной агитации Булгакова, тот встревожился и в письме в редакцию «Пути» сообщил подробности дела, как оно ему представлялось. Он напомнил о заседании Высшего Церковного управления на Юге России (председатель архиеп. Димитрий. архим. Феофан, еп. Вениамин, прот. Г. Спасский, П.Н. Апраксин, прот. С. Булгаков, секретарь Е.И. Махараблидзе) — и по просьбе прот. Востокова о «церковном осуждении» с поручением Булгакову «составить проект вероучительного определения о *природе социализма*» и представить его ВЦУ (в этом случае Булгаков использовал сокращённую аббревиатуру). Такой проект, по его словам, был составлен, но в ВЦУ не рассмотрен. И далее Булгаков разъяснил, что в своём проекте сообщил ВЦУ об отсутствии оснований к вероучительному осуждению социализма.[35]

Из изложенного следует сделать вывод о том, что по поручению церковного руководства в сентябре 1920 года Булгаков составил как минимум проект «покаянного послания» к пастве, которое получило широкое распространение в Севастополе, в том числе в виде «прокламаций», и не содержало в себе прямой призыв к погромам, но давало для них — в конкретных обществен-

33 О хронологии этого пути см: *М.А. Колеров*. С.Н. Булгаков в 1923 году: из Константинополя в Прагу // Исследования по истории русской мысли. [6]. Ежегодник за 2003 год. М., 2004. С. 598–604.

34 *Н.А. Цуриков.* Мои встречи с о. Сергием Булгаковым (1908–1934) / Публ. В.А. Цурикова // Н.А. Цуриков. Прошлое. М., 2006. С. 346.

35 *С. Булгаков*. Православие и социализм (Письмо в редакцию) [30 ноября / 13 декабря 1929] // Путь. Париж, 1930. Февраль. № 20. С. 93–95.

но-исторических условиях — идейную и «церковную санкцию». Конфликтный и опасный общественно-политический смысл такого рода «послания» был очевиден главе военной и гражданской власти белого Крыма генералу Врангелю и не мог не быть очевиден самому Булгакову, имевшему, в отличие от самого Врангеля, личный многодесятилетний опыт публичной политики, революционной, парламентской и церковно-общественной. Сведения о такой косвенной «погромной агитации» Булгакова по мере его публичных выступлений в Крыму распространялись в печати уже с 1919 года и в 1920-м и дальнейшие годы получили лишь новое подтверждение и дыхание. Легко ли соединялась эта публичная политика Булгакова с его культурно-философскими убеждениями — вопрос риторический, ибо с любыми убеждениями практическая политика вступает в конфликт и любые индивидуальные, а не школьные, убеждения оставляют достаточный простор для противоречащих им применений.

Русские писатели и «Русская Мысль» (1921–1923): Бунин, Ремизов, Цветаева

Материалы семейной переписки и частной документации Петра Бернгардовича (1870–1944) и Глеба Петровича (1898–1985) Струве и прежде не атрибутированной корреспонденции, отложившейся в фонде Струве из «Пражского архива» в ГАРФ в составе сборных (фактически — россыпных) дел, всё ещё недостаточно исследованы специалистами. Тому причиной и их величина, и плохой почерк основных действующих лиц.

Эти материалы касаются истории возобновленного Петром Струве в эмиграции журнала «Русская Мысль» (София, 1921; Прага, 1922; Берлин, 1923; Париж, 1927)[1]. Ближайшими, штатными сотрудниками редакции журнала были: с января до декабря 1921 года — П.Н. Савицкий, с мая до февраля 1922-го — К.И. Зайцев, с начала 1922-го — Н.А. Струве, весной и с осени 1922-го — Г.П. Струве. Осенью 1922 года, по окончании оксфордского Balliol College, Глеб Струве переселился в Берлин и в Берлин же решено было перенести из Праги издание журнала.

По своему направлению эмигрантская «Русская Мысль» значительно отличалась от «Русской Мысли» 1907–1918 годов во главе с тем же П.Б. Струве[2]:

1 Полная пономерная роспись содержания журнала этого периода опубликована мной: «Русская Мысль» (1921–1927) // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник за 1997 год / Отв. ред. М.А. Колеров. СПб., 1997.

2 См.: *М.А. Колеров*. П.Б. Струве в русском идейно-политическом и литературном процессе: новая биография // Исследования по истории русской мысли. 11: Ежегодник за 2012–2014 годы. М., 2015. С. 344–365; *М.А. Колеров*. Журнал «Русская Мысль» (1907–1918) и библиография русской периодики // Русский Сборник. Исследования по истории России. Т. XXI. М., 2017.

она, прежде всего, по материальным причинам, стала менее универсальной, более бедной содержанием, а политически — гораздо более узкой, радикально настроенной не только против большевизма, но и против тех частей эмиграции, что не разделяли её политического радикализма.

В части художественной старая «Русская Мысль» была действительно довольно широка. Глеб Струве в частном письме обрисовал так:

> «В литературном смысле "Русская Мысль" из всех старых, "заслуженных" толстых журналов (я не говорю о вновь появившихся вроде "Заветов" и "Северных Записок") была наиболее открыта для "модернистских" течений (особенно по сравнению с либеральным "Вестником Европы" и народническим "Русским Богатством")...».[3]

Современный читатель заслугу этого разнообразия возложит скорее на то, что литературный отдел журнала возглавляли В.Я. Брюсов[4], Д.С. Мережковский и З.Н. Гиппиус[5], С.Л. Франк. Для послереволюционной эпохи журнала такая открытость оказалась невозможной.

Но вряд ли причина этому кроется в перемене редакторской воли Струве, переставшего прислушиваться к знатокам художественного творчества. Даже в дореволюционные годы, по практически единодушному убеждению современников и исследователей (не согласных в этом с Г.П. Струве), беллетристические и поэтические публикации «Русской Мысли» при Струве, за редкими исключениями, носили на себе явственные следы художественной посредственности и провинциализма. Качество беллетристики в журнале в целом было заметно ниже среднего уровня современной ему периодики. Репутация «Русской Мысли» создавалась иными, философскими и культур-критически-

3 «Ваш Глеб Струве». Письма Г.П. Струве к В.Ф. Маркову / Публикация Дж. Шерона // Новое литературное обозрение. № 12. М., 1995. С. 138. Материалы к суждению об ограниченности и ситуативности этой «открытости», а также о роли идей С.Л. Франка в формировании привлекательности журнала для новой гуманитарной интеллигенции см. в письмах Б.М. Эйхенбаума: Переписка Б.М. Эйхенбаума и В.М. Жирмунского / Публ. Н.А. Жирмунской и О.В. Эйхенбаум // Тыняновский сборник: Третьи Тыняновские чтения / Отв. ред. М.О. Чудакова. Рига, 1988. С. 283–285.

4 Об этом см.: *М.А. Никитина*. «Русская мысль» // Русская литература и журналистика начала XX века. 1905–1917: Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1984. С. 26–47.

5 См., например: Письма Д.С. Мережковского к супругам Пети / Публикация Р. Нежинской // Новое литературное обозрение. № 12. М., 1995. С. 113, 117 (письмо от 11/24 ноября 1908 года).

ми публикациями самого широкого круга авторов, пределы которого распространялись гораздо далее круга так называемого (либерально-консервативного) «религиозно-философского ренессанса», составленного ближайшими друзьями и сотрудниками Струве. Такая представительность интеллектуальных сил в журнале, конечно, не в последнюю очередь обусловливалась исторической ситуацией 1900—1910-х годов, когда самая «общая скобка» социал-либеральной политической оппозиционности объединяла большую часть интеллектуальной элиты. И такая «отрицательная консолидация» не требовала от редактора чрезвычайных организаторских усилий. К 1921–1923 годам все изменилось: антибольшевизм сам по себе уже не мог консолидировать столь же широкую политическую оппозицию (тем более — в эмиграции) и круг философско-политических союзников Струве катастрофически сократился. В новых условиях, несмотря на целый ряд вполне успешных публикаций (В.В. Шульгина и З.Н. Гиппиус), беллетристическая бледность «Русской Мысли» стала тяжкой и нетерпимой для Струве проблемой. Его политические амбиции требовали собирания в антибольшевистском журнале всего самого яркого и качественного не только из эмиграции, но и изо всей русской культуры. Но его растущий политический правый радикализм весьма затруднял успешное и равноправное сотрудничество с писателями и поэтами, а редакторская практика по-прежнему строилась на основе идеологизированной философской критики, традиционно бесчувственной к сложности и разнообразию художественного творчества. И прогрессирующая к 1927 году художественная примитивизация «Русской Мысли» стала для этого подхода логическим результатом.

Обозревая художественную часть издания, в посвященном «Русской Мысли» специальном параграфе своего фундаментального труда «Русская литература в изгнании» Глеб Струве писал:

> «И.А. Бунин дал в первый же номер прекрасный, но старый, еще в России написанный рассказ «Исход», а позже, в 1923 году, семь стихотворений... Наиболее крупной и значительной беллетристической вещью в «Русской Мысли» был печатавшийся в 1923 году и оставшийся незаконченным роман А. Ремизова «Канава»... Из вещей известных поэтов, помимо уже упомянутых семи стихотворений Бунина, на первом месте следует поставить прекрасный цикл стихов о Добровольческой армии, написанных еще в Москве, Марины Цветаевой».[6]

6 *Глеб Струве.* Русская литература в изгнании [1956]. Изд. 3-е, испр. и доп. / Сост. К.Ю. Лаппо-Данилевский. Париж; М., 1996. С.54. О «Канаве» см. также: Там же. С. 82. О Бунине в «Русской Мысли»: Там же. С. 68, прим. 27.

Новые материалы позволяют дать развернутый комментарий к этим тезисам об участии в журнале И.А. Бунина, А.М. Ремизова, М.И. Цветаевой и сообщить некоторые обстоятельства контактов издания и Струве с А.Н. Толстым, Андреем Белым, Д.С. Мережковским, З.Н. Гиппиус, В.Ф. Ходасевичем и др.

1. И.А. Бунин

Р.М. Янгиров опубликовал 18 писем И.А. и В.Н. Буниных к П.Б., его жене Н.А. и сыну Алексею П. Струве по материалам ГА РФ[7]. Однако упомянутые выше материалы, оставшиеся вне пределов исследовательского внимания, содержат еще несколько писем Бунина и ряд новых сведений по истории взаимоотношений Струве и Бунина в первые годы эмиграции.

В качестве главы Управления (с ноября 1920 года — заведующего частью) внешних сношений правительства П.Н. Врангеля (до 21 января 1921-го[8]), в конце 1920 года эвакуированного из Крыма, Струве задержался в Константинополе. Жена Струве Нина Александровна вместе с тремя сыновьями в сентябре 1920 нелегально эмигрировала из Петрограда через Финляндию и в октябре поселилась в пригороде Парижа Фонтене-о-Роз. Оттуда она и сообщала сыну Глебу о первых встречах четы Струве с Буниными.[9] 24 ноября

7 Письма Буниных Струве / Публ. Р.М. Янгирова // De Visu. 1994. № 3/4. С. 33–44.

8 Об отставке с этого поста см. письмо П.Б. Струве к Н.А. Струве от 19 января 1921 года: ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 2. Д. 99. Л. 21.

9 Сам П.Б. Струве и его сын А.П. уже встречались в Париже с Буниными в период работы Струве в правительстве Врангеля. Об этом см. запись В.Н. Муромцевой-Буниной от 15 июня 1920 года: «Струве человек обаятельный, он остроумен и тонок (…) П.Б. предлагал Яну стать во главе национальной лиги. Он хочет основать во всех европейских центрах отделения» ([*В.Н. Муромцева-Бунина.* Дневник] // Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие материалы / Под редакцией Милицы Грин. В 3-х томах. Т. II. Frankfurt am Main, 1981. С. 14). В продолжение этой истории см. запись от 26/13 августа 1920 года: «Телеграмма от Струве. Вызывает Яна и Карташева в Севастополь» (Там же. С.16). После отставки из правительства Врангеля Струве включил Бунина в сферу своих самых первых политических контактов в среде эмиграции, направленных на создание широкого антибольшевистского фронта, что также отразилось в записях жены Бунина: 16 ноября 1920 года — «Вчера был у нас П.Б. (…) постарел за это время, но все такой же очаровательный, благородный человек. Он говорил, что теперь он себя чувствует еще более подчиненным Врангелю, чем раньше…»; 21 ноября 1920 года — «Струве просил свести его с [эсерами] Авксентьевым, Фондаминским и Рудневым, чтобы инициативу этого взял на себя Ян. Сегодня мы были у всех трех» (Там же. С. 18–19).

1920 она писала: «Вчера мы с папой были у Petit. Там были Мережковские[10], Бунины, которых я видела в первый раз». 25 ноября, говоря, очевидно, о том же, она прибавила к списку гостей Пети (Пти, Пэти) А.В. Карташева. И 29 ноября: «Сегодня я обедаю с папой у Буниных».[11] Из Константинополя в Париж 2/3 января 1921 года Струве направил жене для рассылки по парижским адресам ряд своих писем, в том числе Бунину.[12] Уже два дня спустя, 5 января Струве сообщал:

> «Здесь возник проект основания и возрождения в Софии «Русской Мысли» со всеми (принципиально) отделами. Об этом намерении я прошу тебя немедленно сообщить Ив. Ал. Бунину и А.И. Куприну с приглашением их сотрудничать, причем я хотел бы, чтобы Бунин взял на себя создание и редактирование беллетристического отдела. (…) Как только вопрос о возрождении «Р.М.» будет решен, я пришлю телеграмму Бунину. Желательно, чтобы он заранее обдумал вопрос и приступил к подготовке материала. Кроме того нужно, чтобы Бунин, Карташев и ты подумали, кого следует теперь же привлечь к сотрудничеству».[13]

16 января 1921 года Н.А. Струве, уведомляя сына Глеба о возобновлении журнала, писала: «Завтра еду к Бунину по папиному поручению, просить его организовать и заведовать беллетристическим отделом Русской Мысли».[14] 17 января, из Софии (там находилось взявшееся за издание журнала Российско-Болгарское издательство, которое возглавляли Н.С. Жекулин и П.П. Сувчинский), уведомляя, что технические вопросы издания «Русской Мысли» решены (в тот

10 Софья Григорьевна Балаховская-Пети (1870–1966) и Евгений Юльевич Пети (1871–1938) — знакомые Струве с начала 1900-х годов. См.: Письма Д.С. Мережковского к супругам Пети / Публикация Р. Нежинской // Новое литературное обозрение. № 12. М., 1995. (С. 109–110: Эжен (Евгений Юльевич) Пети — в течение многих лет близкий сотрудник французского социалиста Александра Мильерана. С назначением последнего премьер-министром (январь–сентябрь 1920 года) — начальник его канцелярии, по назначении Мильерана президентом Франции (сентябрь 1920-го — июнь 1924 года) генеральный секретарь президентской администрации. О нём и его связях в России: «Революционное христовство»: Письма Мережковских к Борису Савинкову / Вст. статья, подг. текстов и комм. Е.И. Гончаровой. СПб., 2009. С. 127, прим. 13.

11 ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 2. Д. 165. Лл. 60, 50 об. Письма С. Балаховской-Пети к Струве этого времени см.: Там же. Оп. 1. Д. 143. Лл. 31–33.

12 ГАРФ. Ф. 5912. Д. 98. Л. 14.

13 Там же. Л. 16.

14 Там же. Д. 165. Л. 74 об.

же день, когда они были решены[15]), Струве напоминал: «Переговорила ли ты, Нина, с И.А. Буниным и А.В. Карташевым о "Русской Мысли"?».[16] 18/19 января Н.А. Струве сообщала, наконец, о результатах своих переговоров с Буниным:

> «Вчера и сегодня вела разговоры по поводу Русской Мысли, вчера с Буниным, сегодня с Антон Владимировичем. Оба очень рады возобновлению Рус. Мысли, думали кого еще пригласить в ближайшие сотрудники».[17]

В конце января Струве уже был в Париже и смог навещать свою семью в Фонтене-о-Роз. Из Парижа в его пригород Фонтене-о-Роз 30–31 января 1921 года Бунин и направил ответ на письмо Струве от 29 января: «Весьма рад сотрудничать в "Русск. Мысли". Но необходимо нам с Вами поговорить по этому делу — необходимо повидаться. (…) свидание, а не переписка, потребно и по другому делу — по делу о переезде в Чехию».[18] 8 февраля Н.А. Струве информировала сына об итогах личных бесед Струве и Бунина: «Первая книжка почти набрана и скоро выйдет. Но огорчил папу здесь Бунин. Он на слишком денежную почву ставит этот вопрос, требует для беллетристики оплаты в 500 fr. лист. При такой цене издавать Русскую Мысль нельзя».[19] В недатированном закрытом письме (по почтовому штемпелю — от 10 февраля) Бунин приглашал Струве на собеседование:

> «Среда. Дорогой Петр Бернгардович, не будете ли добры позавтракать у нас с устрицами в пятницу (после завтра) или в субботу — в 1 ч. дня?

15 *М.А. Колеров*. Братство св. Софии: «веховцы» и евразийцы (1921–1925) // Вопросы философии. 1994. № 10. С. 144–145.

16 ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 2. Д. 98. Л. 19 об. 18/19 января Н.А. Струве в письме к Глебу цитировала телеграмму Петра Струве жене: «Сообщи Бунину и Карташеву, что возобновление Русской Мысли дело решенное. Прошу энергической поддержки» (Там же. Д. 165. Л. 77).

17 Там же. Лл. 79 об. – 80. Реакция самих Буниных была менее оптимистичной: «Едва ли выйдет что-либо из этой затеи, особенно слабо будет в беллетристическом отношении» (*В.Н. Муромцева-Бунина*. Дневник. С. 26: 22 января / 4 февраля 1921). 3 сентября 1928 года о проекте создания в Белграде русского журнала во главе со Струве жена Бунина записала: «…обсуждался вопрос о том, пойдут ли к Струве писатели. Ян думает, что пойдут, если не будет политики» (Там же. С. 181–182).

18 Письма Буниных Струве. С. 35. Струве агитировал своих корреспондентов переехать на Балканы. См. запись жены Бунина от 29 января / 11 февраля 1921 года: «Петр Берн. думает, что Россия в будущем будет жить с Германией и Балканами» (*В.Н. Муромцева-Бунина*. Дневник. С. 27).

19 ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 2. Д. 98. Л. 104.

Будет один очень милый господин, желающий поговорить с Вами по делу (не политическому!). Если можете, известите, какой день — пятница или суббота — Вам удобнее. Поклон Вашему дому! Ваш Ив. Бунин».[20]

Проступившая в этом послании сдержанная ирония писателя по поводу чрезвычайной политической активности Струве в Париже, думается, не была случайной и не осталась незамеченной. Как бы то ни было, 15 февраля 1921 года Струве писал сыну Глебу о его стихотворениях: «Я выберу для "Русской Мысли". Давать их Бунину, не судя, я не буду. Я с ним в оценке многого совершенно не схожусь. Веяния новой жизни ему чужды в значительной степени».[21] Впрочем, под веяниями Струве вполне мог подразумевать не только свою политическую ангажированность[22], но и своего рода подвижническое нестяжательство. Два дня спустя Н.А. Струве заметила: «Папу очень смущает вопрос о беллетристике, т. к. Бунин положительно смотрит на Р.М. только с точки зрения гонорара, а она больших гонораров давать не может».[23]

20 ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 1. Д. 143. Л. 39. По рекомендации Бунина в Париже Струве встречался и с Марией Константиновной Пилкиной: Там же. Л. 271.

21 Там же. Оп. 2. Д. 164. Л. 131 об.

22 Тем не менее и с Буниными Струве делился самыми острыми политическими слухами-новостями. В разгар Кронштадтского восстания, «вчера вечером, весь мокрый, пришел к Ельяшевич Струве. Он получил телеграмму от сына [А.П.] из Берлина: "Большевицкое правительство свергнуто". Они не верят, но взволновались очень». (*В.Н. Муромцева-Бунина.* Дневник. С. 29: 22 февраля / 7 марта 1921 года). Кстати, Р.М. Янгиров без достаточных оснований написание фамилии Ельяшевича даёт через *Э.* В.Б. Ельяшевич — коллега Струве по экономическому отделению СПб. Политехнического института, экстраординарный профессор по кафедре гражданского права. См. современное В.Б. Ельяшевичу общепринятое написание его фамилии: ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 1. Д. 295. Лл. 60, 62; Д. 118. Л. 21; Оп. 2. Д. 90. Л. 30 об.; Русская Мысль. София, 1921. Кн. VIII/IX и мн. др. Есть, однако, и единичные примеры противоположного толка (Эльяшевич): Возрождение (Париж). 21 февраля 1926 года. № 264. О Ельяшевиче см. также: *Г. Аляев, Т. Резвых*. Дружба, испытуемая жизнью: К переписке С. Франка и В. Ельяшевича // Исследования по истории русской мысли [12]: Ежегодник за 2015 год. М., 2016. И еще несколько замечаний. В опубликованном Р.М. Янгировым письме В.Н. Буниной от 18 июня 1924 года (№ 17, об этом письме см.: Ф. 5912. Оп. 2. Д. 101. Л. 7 об. См. также письмо Н.А. Струве к мужу от 20 апреля 1923 года: «Посылаю тебе письмо Буниной, Веры Никол., к тебе и ко мне» (Там же. Оп. 1. Д. 119. Л. 27) — идет речь о некой Полине Львовне. В примечаниях к письму публикатор ошибочно определяет её в супруги В.Б. Ельяшевичу. Супругу, однако, звали Фанни Осиповна, а Полина Львовна была лишь родственницей этой четы. Ф.О. Ельяшевич — переводчица, её переводы из М. Даутендей и К. Фибих см.: Русская Мысль. 1911. Кн. 4–12.

23 ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 2. Д. 164. Л. 114.

Разница во взглядах на гонорар, вероятно, и положила конец проектам бунинского руководства литературным отделом журнала.

Тем не менее Бунин не оставил планов привлечения к «Русской Мысли» симпатичных сотрудников. В результате в феврале–марте 1921 года он сам привлекался А.Н. Толстым в свидетели его усиленной работы над обещанным журналу сочинением «Повесть, рассказанная вечером на улице Ренуар», впоследствии озаглавленным «Посрамленный Калиостро». Бунину пришлось даже превратиться в своеобразного поручителя перед Струве для выдачи Толстому аванса («Бог свидетель и Иван Александрович (sic!), что я всю неделю был болен и валялся»). 10 марта Толстой писал о своей повести: «[В] воскресенье я могу сдать ее Вам, хотя мне было бы особенно приятно прочесть ее вслух Вам и еще кому-нибудь, напр. Ивану Александровичу (sic!)».[24]

24 См.: *Алексей Н. Толстой.* Посрамленный Калиостро. Повесть // Русская Мысль. София, 1921. Кн. V/VII. С. 78–114. А также письма Толстого к Струве: ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 1. Д. 143. Лл. 344–351. Расписки его жены Натальи Толстой на общую сумму 1000 франков: Там же. Д. 174. Лл. 18–19. Вскоре после этого Толстой ступил на сменовеховский путь и стал для «Русской Мысли» и Струве образцом ненадёжности и предательства. Даже личное общение с Толстым служило теперь исчерпывающей отрицательной характеристикой: 1 ноября 1922 года Глеб Струве писал брату Константину о некоем писателе: «…якшается с Василевским и Толстым, этими прихвостом и хамом из “Накануне”» (Там же. Оп. 2. Д. 289. Л. 70 об.). Опыт сотрудничества с Толстым повлиял и на перспективы послереволюционных отношений между журналом и Андреем Белым (об их дореволюционном багаже см. мою статью в настоящей книге: *М.А. Колеров.* Почему П.Б. Струве отказался печатать «Петербург» А. Белого?). Ещё в 1921 году (Кн. III/IV, V/VII) журнал поместил отклики Ю. Никольского и К. Мочульского на труды Белого. А 1 марта 1922 года Глеб Струве рекомендовал отцу известную статью Белого в первом номере «Новой русской книги» (ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 1. Д. 112. Л. 12 об.). 29 марта 1922 года Глеб писал отцу из Берлина: «Сегодня я был у Андрея Белого по поводу моих стихов и имел с ним довольно любопытный разговор. Вот тебе от него что-нибудь для “Р.М.” получить, а то художественная часть там действительно “schwach” (а он был бы рад заработку в чешской валюте)» (Там же. Л. 28–28 об.). Одновременно этому сообщению, формируя апрельский номер журнала, и Н.А. Струве писала мужу: «Нельзя ли у Белого взять какую-ниб. беллетристику или стихи, Глеб у него был и Андр. Белый очень одобрил его статьи [в “Русской Мысли”], т. что Глеб думает издавать сборник. Некот. стихи взял Ан. Белый для своего журнала» (Там там же. Оп. 1. Д. 122. Л. 255 об.). 8 апреля 1922 Струве так отвечал на эти предложения: «Я совершенно не имею никакого доверия к А. Белому. Купить его две книги “Русская Мысль” не может, а вот ведь Алексей Толстой взял да и продал себя Ключникову [“Накануне”]. Сейчас нужна величайшая осмотрительность. Если Глеб напишет Андрею Белому, я ничего против этого не имею» (Там же. Оп. 2. Д. 99. Л. 59–59 об.). Стихотворения Глеба Струве, впрочем, тоже не появились в редактируемой Белым «Эпопее». См. также: Там же. Оп. 1. Д. 294. Л. 428.

25 февраля 1921 года (по штемпелю, закрытое письмо) он писал Струве:

«Дорогой Петр Бернгардович, дней десять тому назад я дал Вам рассказ Кн. В.В. Барятинского. Сообщите, пожалуйста, как решили Вы его судьбу? Интересует меня также, чем кончилось дело с моим рассказом. Не заедете ли как-нибудь к нам? Хочу поговорить с Вами, не желает ли "Рус. Мысль" напечатать в 3–4 книгах мои записки о русск. революции (что я видел с марта 1917 г.) с большим количеством художества. Лучше всякого романа, а дешево! Поклон Вашему милому дому. Ив. Бунин».[25]

По-видимому, в те же дни Бунин (в недатированном письме) рекомендовал и произведения иных авторов:

«Дорогой Петр Бернгардович. Был у меня Гребенщиков, говорил, что он согласился бы отдать весь роман за 4000 фр. чохом, если бы Вы ему дали авансом тысячи 2. Докладываю Вам об этом. Наш низкий поклон Нине Александровне и Вашим детям. Ваш Ив. Бунин. Известите меня о судьбе моего рассказа, пожалуйста».[26]

О судьбе своего рассказа «Исход» Бунин волновался совершенно напрасно — еще 23 февраля представитель редакции при Российско-Болгарском книгоиздательстве в Софии П.Н. Савицкий сообщал Струве: «Рассказ Бунина сдан в набор».[27] «Исход» вышел в первой же (сдвоенной: январь-февраль) книжке журнала, а 24 марта автор получил за него 500 франков гонорара.[28]

Вскоре Бунин напоминал Струве и о знакомом писателя Г.Д. Гребенщикова писателе Е.Н. Чирикове[29]:

25 ГАРФ. Ф.5912. Оп. 1. Д. 143. Л. 38. См.: *Ив. Бунин.* Исход. Рассказ // Русская Мысль. София, 1921. Кн. I/II. С. 191–199. Бунинские «Окаянные дни» в журнале так и не появились.

26 ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 1. Д. 143. Л. 40. Письмо Гребенщикова к Струве из Ялты от 27 августа 1920 года, письмо Бунина к Гребенщикову из Парижа от 8 февраля 1921 года о "Русской Мысли" см.: И.А. Бунин и Г.Д. Гребенщиков. Переписка / Публ. В.А. Росова // С двух берегов. Русская литература XX века в России и за рубежом / Ред.: Р. Дэвис, В.А. Келдыш. М., 2002. С.258, 236.

27 Там же. Д. 169. Л. 193.

28 Расписка о получении: ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 1. Д. 174. Л. 16. 30 марта директор-распорядитель Российско-Болгарского книгоиздательства П.П. Сувчинский напоминал Струве: «Обращаем Ваше внимание, что Иван Алексеевич Бунин, по-видимому, не получил [авторского] номера "Русской Мысли"» (Там же. Д. 169. Л. 172 об.).

29 Струве должен был хорошо помнить Чирикова еще как автора марксистского «Самарского Вестника» (1896–1897), в котором он сам сотрудничал. Вообще публицистическая роль Чирикова в близкой Струве марксистской печати конца 1890-х – начала 1900-х была очень заметной.

«8 Апр. 1, rue Jacques Offenbach, Paris XVI.

Дорогой Петр Бернгардович, у Вас начало повести Чирикова "Исповедь". Чириков прислал мне окончание ея. Если эту повесть Вы для "Рус. Мысли" не берете, будьте добры возможно скорее доставить мне ее начало: такова просьба Чирикова, который поручает мне передать "Исповедь" в "Совр. Записки", если, повторяю, она пойдет в "Рус. Мысли". Наш поклон Нине Александровне. Ваш Ив. Бунин».[30]

Подобными же хлопотами была вызвана и «закрытка» от 30 апреля 1921 года (по штемпелю): «Дорогой Петр Бернгардович. С праздником Вас, Нину Александровну и всех Ваших сынов. Черкните словечко — взяли ли стихи В. Сирина (Набокова)? Ваш Ив. Бунин».[31]

Почти год спустя, в начале 1922 года, Н.А. Струве, приступая (вместо К.И. Зайцева и П.Н. Савицкого) к редакционным обязанностям, писала мужу: «Нам очень нужна хорошая беллетристика. Возьми у Бунина».[32] Но журнальные взаимоотношения Струве и Бунина застопорились, а писатель вспоминал

30 ГАРФ. Ф.5912. Оп. 1. Д. 143. Л. 37. См. материалы о хлопотах Чирикова и получении им гонорара за опубликованную «Опустошенную душу (Исповедь)» (1922. Кн. I/II-III) и др.: Там же. Оп. 1. Д. 143. Лл. 133 об., 355–356; Д. 169. Л. 174; Д. 174. Л. 220.

31 ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 1. Д. 143. Л. 41. Достаточно регулярное сотрудничество В.В. Набокова в «Русской Мысли», однако же, вовсе не сразу приобрело собственную, независимую от бунинской рекомендации, инерцию и было подкреплено откликом Глеба Струве на его перевод из Кэрролла. В письме к матери от 26 октября 1922 года Глеб ещё признавался: «Сирин очень милый, но (…) я стихов его не люблю», но уже 17 ноября сообщал: «Я познакомился с Сириным, и он оказался очень славным мальчиком. И стихов у него много неплохих» (Там же. Оп. 2. Д. 89. Лл. 70, 86). Новый импульс сотрудничеству придало берлинское сближение (ноябрь 1922 – апрель 1923) с Набоковым Глеба Струве, внутренне и в силу жизненных обстоятельств родственного если не самому Набокову, то, по крайней мере, герою его «Подвига»: покинувший Россию в декабре 1918-го, Глеб учился в одном из оксфордских колледжей и практически не видел Гражданской войны. Поэтому в 1919–1920 годах и отдал существенную дань и национал-большевизму, и моралистическому возвращенчеству. По эпистолярному свидетельству Глеба Струве от 31 января 1924 года, сам «Сирин нашел, что он ужасно похож на меня» (Там же. Д. 90. Л. 18 об.). См. также: Там же. Оп. 1. Д.122. Л.250; Д. 172. Л. 55; Д. 174. Л. 28; Оп. 2. Д. 289. Л. 89. Об откликах Г.П. Струве на сочинения Набокова см.: «Ваш Глеб Струве». Письма Г.П. Струве к В.Ф. Маркову / Публикация Дж. Шерона // Новое литературное обозрение. № 12. М., 1995. С. 146, прим. 4 (в этой же публикации — о литературном кружке Г.П. Струве в Берлине в начале 1920-х годов: С. 150, прим. 90–94, С. 135–136; также: Г. Струве. Владимир Набоков по личным воспоминаниям, документам и переписке / Публ. Г. Поляка // Новый журнал. 1992. № 186).

32 ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 2. Д. 122. Л. 255 об.

о редакторе по совершенно иному поводу. В конце января 1922 года из Парижа в Прагу Бунин обращался к Струве с просьбой: «Мережковский говорил с Вами, как трудно положение некоторых из писателей, живущих в Париже, и отправил Вам письмо на имя К.П. Крамаржа с просьбой передать это письмо и снабдить его Вашим ходатайством. Помогите, дорогой, помогите, пожалуйста!».[33] Струве откликнулся на просьбу Бунина и снабдил письмо Мережковского к покровителю чешской программы помощи русским писателям и ученым, одному из первых лиц Чехословацкой Республики, женатому на русской, русофилу и спонсору «Русской Мысли» К.П. Крамаржу[34] своим ходатайством[35]. При-

33 Письма Буниных Струве. С. 36. Р.М. Янгиров ошибочно датировал письмо апрелем 1922 года. Дотошность, проявленная Струве в хлопотах за Мережковского, разумеется, предопределялась не просьбой Бунина, а активным и тесным журнальным сотрудничеством Струве с З.Н. Гиппиус и Д.С. Мережковским в 1921–1922 годах. Уже 12 февраля 1921 года, месяц спустя после возобновления журнала, Н.А. Струве сообщала сыну Глебу, что Петр Струве «получил от Гиппиус очень интересный Дневник “Большевистские дни”, записанный в Петерб. в 1919 году, кот. она привезла с собой» (ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 2. Д. 98. Л. 112 об.). В этом деле Струве пришлось, однако, преодолеть сопротивление своего тогдашнего сотрудника Савицкого. Тот осторожно писал Струве 18 февраля: «Творение Гиппиус — очень неровное» (Там же. Оп. 1. Д. 169. Л. 194). Тем не менее 29 марта Струве, должно быть, принял окончательное решение о публикации Дневника. Это вызвало редчайшую по резкости реакцию Савицкого в письме от 5 апреля: «Быть может, я ошибаюсь и заранее готов каяться: но ничего за последние месяцы не вызывало у меня большего отвращения, чем чтение “Дневника” Зинаиды Гиппиус: вот женщина, готовая метать жребий о ризах России, — для того, чтобы сделать из них новые для себя портьеры, — старые отняли большевики! (Это не значит, что её дневник не интересен; но в моральном смысле он подлинно мерзостен!)… Ей, так же, как Павлу Милюкову, я не взялся бы писать апологий!» (Там же. Л. 174–174 об.) Публикация Дневника Гиппиус началось в первой же книжке возобновленной «Русской Мысли». 7 мая 1921 Гиппиус жаловалась редактору: «Я уже потеряла надежду увидеть “Русскую Мысль” и собираюсь, по примеру Бунина, купить её. Я думаю, скоро уже выйдет следующая книга?» Еще большие претензии автора вызвала задержка (по вине директора-распорядителя издательства Н.С. Жекулина, стоившей ему должности — Там же. Оп. 1. Д. 169. Л. 94) гонорара (Там же. Оп. 1. Д. 143. Лл. 107–109, 191–192, 193, 307; Д. 169. Л. 239, 241, 242; Расписки о получении: Там же. Д. 174. Лл. 262, 13, 14, 214). И все же хлопоты о чешской стипендии имели своим следствием и чисто журнальные проекты: 20 февраля 1922 года Струве писал жене: «Завязал переговоры с Мережковским о напечатании большой его рукописи об Египте, Вавилоне и Греции (философия религии!)» (Там же. Оп. 2. Д. 99. Л. 3 об.; Письма Буниных Струве. С. 42, примечание 5 к письму 1). Специально письма Мережковского к Струве этого времени см.: Там же. Оп. 1. Д. 80.

34 См. об этом: Е.П. Серапионова. Карел Крамарж и Россия, 1890–1937 годы: идейные воззрения, политическая активность, связи с российскими государственными и общественными деятелями. М., 2006.

35 См. копию сопроводительного ходатайства Струве: ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 1. Д. 69. Л. 1.

мечательно, что немедленно по получении бунинского прошения Струве решил использовать ситуацию в интересах журнала и на списке книг, 26 января 1921 года направленных в редакцию берлинским издательством И.В. Гессена «Слово», — против сборника рассказов Ремизова, Замятина и др. «Собачья Доля» надписал: «Дать отзыв прошу И.А. Бунина».[36] Разумеется, тщетно.

После этого и после нового приезда Струве в Париж, 9 февраля 1922 года Глеб Струве писал матери из Парижа в Прагу[37]: «Вчера в день папиного рождения мы обедали у [Б.Э.] Нольде, а вечер провели у Мережковских (…) Были уже у Бунина, у Petit (…)»[38], — преобладающей заботою парижан была, конечно, не «Русская Мысль». В тот же день, 9 февраля, жена Крамаржа Наталья Крамарж по поручению мужа отвечала на ходатайство Струве по его парижскому адресу:

> «Министр-президент Швегла (Svegla) определил следующие пособия: Мережковскому вместе с женой Гиппиус в месяц три тысячи чешских корон. Бунину две тысячи и Шмелеву две тысячи ч<ешских> к<орон>. При этом министр выразил пожелание, чтобы означенные лица переехали на жительство в Прагу (но это не обязательно). Надо, чтобы все они коллективно по означенному поводу обратились письменно к Швегле, причем муж просит эту бумагу адресовать ему (т. е. моему мужу), а ни в каком случае не Бенешу, тоже не по адресу Швегле. К<арел> П<етрович> сам бумагу передаст министру Швегле».[39]

Требуемое письмо, за подписями Мережковского, И.С. Шмелева и Гиппиус (без Бунина), было составлено и отложилось в архиве Струве.[40] 4 марта

36 ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 1. Д. 148. Л. 9.

37 Очевидно, именно перед этим приездом Струве из Праги в Париж он получил от приват-доцента М.А. Циммермана недатированное письмо с просьбой напомнить (в Париже) Бунину и Мережковскому об их «предположенных лекциях» в пражском русском Народном Университете в конце февраля — начале марта [1922]: Там же. Оп. 1. Д. 140. Л. 23.

38 Там же. Д. 89. Л. 20.

39 Там же. Д. 69. Л. 12–12 об.

40 См. его недатированный текст: Там же. Д. 137. Л. 53. История с чехословацкими стипендиями имела своё продолжение. В бумагах Струве сохранилось следующее письмо (второй экземпляр машинописи) к К.П. Крамаржу: «13 Авг. 1924 г. Глубокоуважаемый Карел Петрович. Месяцев семь тому назад мы, группа писателей, живущих во Франции, — И. Бунин, З. Гиппиус, Д. Мережковский и И. Шмелев, — обратились к Вам с просьбой исходатайствовать нам помощь от Чехо-Словацкого Правительства. Вы были так добры, что согласились это сделать, и в скором вре-

1922 года, пересылая письмо Н.П. Крамарж жене в Прагу, Струве поручал ей дополнительно выяснить условия чешского правительства: «Я получил прилагаемое письмо от Н.П. Крамарж, но оно не заключает ответа на мой вопрос относительно Бунина. Нужно было бы узнать, чем будет пользоваться Бунин в Чехословакии, куда его пригласило правительство. Н.П. ответила на это совершенно неопределенно и бестолково (…) Бунину следует послать кн. 1 "Русск. Мысли" по адресу: 1 Rue Jaques Offenbach, Paris 16e».[41] На следующий день, 5 марта Струве вновь упоминал имя писателя: «Вчера был у Petit. Были Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, И.А. и В.Н. Бунины, Бунаков-Фондаминский. Все, поскольку вообще чего-нибудь ожидают, ожидают близкого падения большевиков или смены их другими близкими к ним "левыми" (по отношению к ним более правыми) элементами, что равноценно падению большевиков и вообще крушению революции».[42] Струве продолжал беспокоиться и о материальном положении Бунина и, наверное, именно поэтому поручал жене (как секретарю редакции «Русской Мысли») 21 марта 1922: «Можно теперь же назначить даровые экземпляры следующим лицам: (…) 8) И.А. Бунину 1 экз.».[43]

Лишь 1 ноября 1922 года возник касающийся «Русской Мысли» новый литературный план Бунина, когда писатель предложил Струве «немедленно взять гениальный рассказ», но 18 декабря Струве вынужден был от него отказаться, оказавшись не в силах «немедленно» заплатить за «гениальный рассказ» 1000 крон.[44] Может быть, об этом плане полгода спустя вспомнил Глеб Струве: он сообщал отцу 18 апреля 1923 года из Берлина в Прагу:

> мени мы получили через П.Б. Струве известие, что помощь нам будет оказана, что распоряжение о ней уже сделано. Но вот прошло семь месяцев, как мы не имеем никаких известий по этому делу. Недели же две тому назад нами получено письмо от П.Б. Струве, что и Вы удивлены, что дело не исполнено. Это дает нам смелость еще раз обратиться к Вам лично и напомнить, как важна нам эта помощь, как мы благодарны за обещанную поддержку Вам и Вашей стране и как мы продолжаем надеяться на нее. Мы не сомневаемся, что та мертвая точка, на которой наше дело остановилось, есть только простая случайность и что Вам будет легко ее преодолеть. Вы знаете, как тяжко наше положение. Ждем Вашего ответа, глубокоуважаемый Карел Петрович, и просим принять уверение в нашей преданности Вам» (Там же. Д. 272. Л. 74). Об этом также в публикации Р.М. Янгирова: Письма Буниных Струве. С. 39.

41 Там же. Оп. 2. Д. 83. Л. 22 об.

42 Там же. Д. 99. Л. 24 об.

43 Там же. Оп. 1. Д. 172. Лл. 55, 66 об.

44 Письма Буниных Струве. С. 36, 42.

> «О рассказе Бунина я писал Ляле [Алексею П. Струве[45] в Париж]. Он ответил мне, что скоро увидит Ив. Ал. и поговорит об этом. С тех пор я ничего не получил. Обещал ли Бунин наверное? (…) Указывал ли Бунин размер своего рассказа?»

И об этом же ровно месяц спустя, убеждая отца отказаться от надежд на бунинское сочинение (и не резервировать для него место в конце номера, набирающегося в последнюю очередь): «Ляля пишет, что Бунин уехал на юг Франции и что достать от него рассказ будет теперь нелегко. Ляля полагает, что Бунин обидится, если его вещь пойдет одной из последних».[46]

Новым предметом консультаций Бунина со Струве становилось соревнование за нобелевское лауреатство, подробно исследованное Р.М. Янгировым.[47] Приведенные Янгировым сведения дополняются ещё одним документом. 7 декабря 1922 года, накануне обращений к Струве самого Бунина, из Парижа к нему апеллировал и А.В. Карташев:

45 Алексей Петрович Струве (Ляля) оставался единственным парижским посредником семьи Струве в её отношениях с Буниным. 21 февраля 1924 года Глеб Струве в письме к матери из Берлина, сообщая о финансовых затруднениях накануне поездки в Париж, рассказывает о своём обращении к брату: «Я просил Лялю — не мог ли бы он достать мне некоторую сумму от Парижского союза писателей — они дают такие ссуды на переезд. Просил его сделать через Бунина» (Там же. Оп. 2. Д. 90. Л. 20 об.). 25 февраля 1924 года Глеб вновь писал матери — теперь уже из Парижа о свадьбе Алексея П. Струве с Екатериной Андреевной Катуар: «Со стороны Ляли были кроме Ал. Вас. <?> и нас [сыновей Струве, кроме Льва] — Оболенские, Карташевы, Бунины (И.А. был свидетелем и с удовольствием расписался как потомственный дворянин и академик Императорской Российской Академии)» (Там же. Л. 34 об.; см. также: Лл. 35 об., 37 об.). Об этой свадьбе — письмо В.Н. Буниной к Н.А. Струве от 25 февраля 1924 года: Письма Буниных Струве. С. 39–40.

46 Ф. 5912. Оп. 2. Д. 99. Л. 38.

47 Ср.: *П.Б. Струве*. И.А. Бунин. Речь, произнесенная в Белграде 20-го ноября и оглашенная в Париже на чествовании И.А. Бунина 29-го ноября 1933 г. // П.Б. Струве. Дух и слово. Статьи о русской и западно-европейской литературе / [Сост. Н.А. Струве]. Paris, 1981. Новые данные см. в публикации по материалам Нобелевского комитета в Архиве Шведской Академии: *Татьяна Марченко.* Избрание и не: Русские писатели и Нобелевская премия (1914–1937 гг.) // Книжное обозрение «Ex Libris НГ». 11 мая 2000 года. С. 3. Об общественно-политическом контексте в зарубежной Европе и русской эмиграции вокруг Нобелевской премии Бунина и его конкурентах, в частности М. Горьком и И.С. Шмелёве, см. в тематическом сборнике: От Бунина до Пастернака. Русская литература в зарубежном восприятии. К юбилеям присуждения Нобелевской премии русским писателям. Международная научная конференция. Москва, 16–19 ноября 2009 / Сост. Т.В. Марченко. М., 2011. См. также материалы архивной переписки: *Ирина Белобровцева.* Нобелевская премия в восприятии И.А. Бунина и его близких // Русская литература. СПб., 2007. № 4.

«Дорогой Петр Бернгардович! Пишу по экстренному вопросу, требующему срочного разрешения до 31-го декабря. Возникла мысль о выдвигании на Нобелевскую премию к январю 1923 года, вместо рекламируемого с большевистской стороны Горького, кого-нибудь с нашей стороны из русских писателей. Прямо говоря — Бунина. По статуту премии могут выдвигать кандидатов: 1) Академии Наук, 2) Лавреаты премии и 3) профессора литературы и истории. Мы могли бы в известной мере использовать все эти возможности. По пункту 3-му, напр., П.Г. Виноградов и Н.П. Кондаков могли бы подписаться на представлении или порознь или вместе. По пункту 2-му можно было бы обратиться к Ромэну Роллану, хотя и "другу" Горького, но все вероятно достаточному джентльмену, чтобы не отказать в посредстве представить на премию достаточно ценимого им Бунина. По пункту 1-му может быть нам следовало бы иметь дерзновение выступить или от лица всего академического Союза или от Русского Института в Праге. А для верности может быть нужно было бы соединить все эти три способа вместе. Пусть бы Кондаков и Виноградов представили Бунина от себя, одновременно Парижская Академическая Группа уговорила бы Р. Роллана представить Бунина от его имени. И — наша Пражская "Академия Наук" сделала бы независимое представление в Стокгольм».[48]

Активизация взаимоотношений корреспондентов имела и некоторое издательски-политическое продолжение. Убедившись, что гонорарные запросы Бунина для «Русской Мысли» невыполнимы, Струве не отказался от проектов политического с ним сотрудничества. Так, А.В. Карташев же напоминал Струве о ходе составления (с участием Струве, М.И. Ростовцева, В.Л. Бурцева, Д.Д. Гримма) так называемого «Сборника "непримиримых" [к большевизму]» и сообщал: «Бунин, хотя и воздыхает, но хочет написать».[49] А весной 1923-го организованное при струвианском журнале издательство «Русская Мысль» (Berlin W.15, Bayerischestr. 9) объявило о готовящемся по инициативе Русского Национального Комитета выходе в свет сборника статей «Межа» — «при участии И.А. Бунина, Д.Д. Гримма, А.В. Карташева, А.И. Куприна, П.И. Новгородцева, П.Б. Струве, И.С. Шмелева и др.».[50]

48 ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 1. Д. 63. Л. 13.

49 ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 1. Д. 63. Л. 13–13 об. См. также: Материалы к творческой биографии П.Б. Струве / Публ. М.А. Колерова // Вопросы философии. 1992. № 12. С. 109: примечание 7.

50 Русская Мысль. Берлин, 1923. Кн. III/V. Об этом проекте см.: [*А.В. Карташев*.] Проспект [сборника «Межа» (1923)] // М. Колеров. Индустрия идей. Русские общественно-политические и религиозно-философские сборники. 1887–1947. М., 2000. С. 119–122.

Список авторов проектированного сборника хорошо дополняет информация не датированного баллотировочного списка руководящих членов Русского Национального Комитета с указанием количества набранных ими голосов, также сохранившегося в фонде Струве. Наибольшее число голосов в этой правой эмигрантской организации (сто шесть) досталось, наряду с В.Л. Бурцевым и Ф.И. Родичевым, Струве. За ним следовали Бунин (вместе с наиболее активным организатором Комитета А.В. Карташевым он набрал сто пять голосов) и А.И. Куприн (сто четыре).[51]

Лишь 14/27 июля 1923 года Бунин вспомнил о «Русской Мысли» как о журнале. Из Грасса, где он проводил лето, Бунин писал Глебу Струве:

> «Дорогой Глеб Петрович. Давно обещал П.Б. дать что-нибудь для "Рус. М." и вот посылаю наконец несколько стихотв<орений>. Поручаю их Вашей заботливости, очень боюсь корректорской невнимательности, невежественности и своевольности, прошу воспроизвести оригинал точнейшим образом, с сохранением каждый моей запятой и каждого моего маленького и большого тире.
>
> Гонорар – по мере Вашей силы и возможности. Рассказ надеюсь дать немного позднее. Напишите, как теперь выходит "Рус. М." — правильно ли — и каково её будущее? Ваш Ив. Бунин.
>
> P.S. У меня проводит лето Иван Сергеев<ич> Шмелёв. Он уже сжёг свои корабли, уже написал яростную статью для сборника А.В. Карташева. Немедля просите его дать статью или рассказ для "Рус. Мысли". И дайте ему пристойный гонорар — он оч<ень> беден, а "Р.М." не разорится, потратив неск. лишних крон».[52]

Полученные стихотворения были немедленно включены в очередной номер журнала[53], но бунинского рассказа он не дождался.

Интенсивное общение Бунина со Струве прекратилось.[54] Лишь в конце

51 ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 1. Д. 294. Лл. 419–421. См. также материалы расширенного собрания Бюро Временного Русского Комитета Национального Объединения в Париже 8 марта 1921 года: в качестве «членов союза литераторов и ученых» на нем присутствовали И.А. Бунин, А.И. Куприн и А.А. Яблоновский (Там же. Д. 297. Л. 322 (печатное)).

52 Там же. Д. 171. Л. 82. Об этом также: Д. 172. Л. 78 об.

53 Русская Мысль. Прага — Берлин, 1923. Кн. VI/VIII. С. 3–7 («Семь стихотворений»).

54 О редких контактах того времени см. в записях жены Бунина: 3 января 1924 — «Струве похудел, отрастил бороду, стал красив и не утерял своей очаровательной улыбки. Он много рассказывал о настроениях в Праге (…) П.Б. говорил, что главное разделение эмиграции произошло из-за Милюкова, в отношении к белому движению»; 2 сентя-

1924-го — начале 1925 года возобновляется их активное общение, когда Струве, в связи с проектами издания газеты, все чаще бывает в Париже и вскоре возвращается туда на постоянное жительство. 15 января 1925 года он сообщает жене из Парижа: «Из знакомых видел пока только (…) Трубецких, Бернацких и Буниных, т. к. всех их мне нужно было видеть по делу».[55] Впрочем, на продолжение «Русской Мысли» тогда уже мало кто рассчитывал — и это заставляет считать приводимые сведения лишь косвенно относящимися к теме настоящих заметок.

Летом 1925 года Струве ненадолго возглавил большую ежедневную парижскую газету «Возрождение», во главе которой он уже не был ограничен в средствах, предоставленных на издание крупным нефтепромышленником и благотворителем А.О. Гукасовым. Поэтому любимым автором газеты стал Бунин.[56] Примечательно, что когда газета провела мини-опрос писателей о лучшем произведении русской эмигрантской литературы (в нём приняли участие Амфитеатров, Арцыбашев, Гиппиус, Зайцев, П.Н. Краснов, Г.П. Струве,

бря 1924 года — рассказ М.И. Ростовцева о встрече со Струве: «Струве очень постарел. Длинная седая борода. Мы сидели иногда с ним часа полтора и молчали. Можно ли раньше было вообразить, чтобы Струве молчал. Да и о чем спорить, взгляды общие у нас с ним. Даже и поспорить нельзя» (*В.Н. Муромцева-Бунина.* Дневник. С. 120, 130).

55 ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 1. Д. 101. Л. 34. В дневнике жены Бунина эта встреча не отразилась. Живший в Париже с начала марта 1924 года Глеб Струве с Буниными практически не общался. Лишь на Пасху этого года — 27 апреля — он написал матери: «Мы отправились к Буниным, не рассчитывая на их приглашение, а желая проститься, т. к. они во вторник на Святой уезжают в Grasse на 6 месяцев; Ив. Ал. собирается писать там роман» (Там же. Оп. 2. Д. 90. Л. 57 об.). Ближайшая запись жены Бунина — от 11 июня 1925 года: «Сегодня Струве разъяснял непонимающим, что такое консервативный либерализм. (…) [Вспоминая прежнюю его встречу с Фондаминским, Рудневым и Авксентьевым] Я помню, какими маленькими, юношами какими-то казались мне все эти эс-эры рядом с ним» (*В.Н. Муромцева-Бунина.* Дневник. С. 142). Следующие упоминания там же: 9 апреля / 27 марта 1926 года (С. 154), 3 сентября 1928 года (С. 181–182), 20/7 октября 1928 года (С. 184).

56 «Бунин был первым, кто получил приглашение в газету, в тот момент ещё не имевшую названия», с предложением руководить литературным отделом, но Бунин отказался от руководства (*О. Казнина.* Газета П.Б. Струве «Возрождение»: к вопросу о независимости печатного слова в эмиграции // Периодическая печать российской эмиграции. 1927–2000 / Под ред. Ю.А. Полякова и О.В. Будницкого. М., 2009. С. 96–97). См., в частности, его сочинения в газете: *И. Бунин*. Очарованный инок // Возрождение. № 370. 6 июня 1926 года; *И. Бунин*. Окаянные дни. Из одесских заметок 1919 г. // Возрождение. № 165. 14 ноября 1925 года; *И. Бунин.* Из «Дела корнета Елагина» // № 277. 6 марта 1926 года; *И. Бунин.* Человек, который умер от страха // Возрождение. № 312. 10 апреля 1926 года; *И. Бунин.* Записная книжка // Возрождение. № 513. 28 октября 1926 года.

Цветаева, Чириков, Шмелёв), большинство назвало «Митину любовь» Бунина[57] В августе 1927 года, когда А.О. Гукасов изгнал Струве из «Возрождения», Бунин в знак солидарности ушёл вслед за ним.

2. А.М. Ремизов

Сочинения Ремизова были знакомы читателям еще дореволюционной «Русской Мысли». Однако, как известно, это стало возможным исключительно благодаря настойчивым рекомендациям близких сотрудников Струве по журналу — сначала Ю.И. Айхенвальда, З.Н. Гиппиус и Д.С. Мережковского, а затем — А.В. Тырковой и одно время члена редакции журнала и его пайщика С.В. Лурье.[58]

Едва начав приобщаться к непосредственному редактированию журнала, Глеб Струве подверг критическому анализу его материалы и в особенности его «беллетристический отдел», совершенно несопоставимый по качеству не только с общественно-философскою частью журнала, но даже с его рецензионным отделом, в 1922–1923 годах вступившим в период максимального разнообразия и представительности.

> «Нельзя ли принять меры, — писал Глеб отцу о журнальной беллетристике уже 7 апреля 1922 года, — к привлечению чего-нибудь интересного, наприм., от А. Белого, Ремизова, даже Дроздова? Все эти господа, в отличие от гг. Буниных и Мережковских, будут рады гонорару в чешских кронах, ибо в марках это даст им очень много».[59]

57 Анкета «Возрождения»: лучшее произведение русской зарубежной беллетристики // Возрождение. № 275. 4 марта 1926 года.

58 См. журнал начиная с апрельской книжки 1911 года («Чертыханец»). Помимо известных мемуарных свидетельств Ремизова о своих покровителях в старой «Русской Мысли», см. письма к Ремизову: ОР РНБ. Ф. 634. № 91. Лл. 21 об., 25 (З.Н. Гиппиус); № 87. Л. 3 (М.О. Гершензона). П.Б. Струве свидетельствовал в письме к писателю 15 ноября 1912 года: «Мне с разных сторон мои друзья указывали, что Вы по живому духу Ваших произведений “должны” состоять сотрудником “Русск. Мысли”. Несмотря на то, что мне приходилось уже, в качестве редактора, высказываться критически о некоторых Ваших произведениях, я вполне согласен с теми, кто настойчиво мне указывает на желательность Вашего сотрудничества в “Русской Мысли”» (Там же. № 211. Л. 1). С.В. Лурье был приятелем близкого к Ремизову Шестова, при этом Ремизов писал: «…помню Лурье гимназистом» (На вечерней заре. Письма А.М. Ремизова С.П. Ремизовой-Довгелло: 1907 год / Публ. Е.Р. Обатниной // Русская литература. СПб., 2014. № 1. С. 164 (письмо от 25 марта 1907 года).

59 ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 1. Д. 112. Л. 29 об.

Прогрессирующая гиперинфляция немецкой марки в самом деле превращала живших в Берлине писателей в более сговорчивых, по сравнению с парижанами, сотрудников. Как известно, именно относительная дешевизна типографских работ обусловила недолгий расцвет русского издательского дела в Берлине (основной капитал свой составившего из твёрдой валюты, — в первую очередь, английского фунта) а также перенос издания «Русской Мысли» в Берлин на рубеже 1922–1923 годов.

30 сентября — 2 октября 1922 года окончательно переселившийся из Оксфорда в Берлин Глеб вновь уговаривал отца:

> «Ар. Влад. [Тыркова] сказала мне, что Ремизов имеет большой роман, который он — полностью или часть — охотно напечатал бы в «Русской Мысли»; он боится лишь, что в «Р.М.» его не любят, сам же он против нее ничего не имеет (ты, кажется, так думал). По-моему, во всяком случае нужно, пока он никому не продал романа, попросить у него рукопись на рассмотрение. Ремизова можно любить или не любить, но все-таки он большой писатель и, если роман без «блох», он украсит «Р.М.», художественная часть которой довольно слаба. Мне очень хочется позаботиться об улучшении качества беллетристического и поэтического материала».[60]

Примерно в те же дни Глеб писал брату Константину о подробностях того, как в доме своего коллеги и близкого друга, сына известной журналистки А.В. Тырковой, Аркадия Альфредовича Бормана «познакомился с забавной четой Ремизовых».[61] Знакомство это, видимо, оказалось отнюдь не формальным.[62]

60 Далее Глеб писал: «Если ты разрешишь, я обращусь к В.Ф. Ходасевичу, находящемуся сейчас здесь, с просьбой дать несколько стихотворений для “Р. М.”. Он — один из лучших поэтов современности и принадлежит к “возродителям” классицизма и Пушкинских традиций» (Там же. Лл. 30 об. – 31 об.). 10 октября 1922 года, переправляя стихи Ходасевича отцу, Глеб продолжал пропагандировать: «…сам он считает эти два стихотворения слишком «острыми», недостаточно ортодоксальными и боялся, что они не подойдут. Я считаю, что их следует принять и пустить в ближайшей же книжке. У Ходасевича есть, конечно, стихи и лучше этих, но и в них сказывается его сильный и своеобразный дар. И он сам, и его настроение мне понравились. Он уехал из России легально и хочет вернуться, но говорит, что сейчас это бессмысленно: его все-равно вышлют, ибо за ним немало “грехов”. (…) Стихи Ходасевича верни мне сейчас же со своей резолюцией» (Там же. Л. 38–38 об.). Стихи Ходасевича в журнал приняты не были.

61 Там же. Оп. 2. Д. 289. Л. 66.

62 См. также: *Г. Струве.* Надписи А.М. Ремизова на книгах из моего собрания // Русский альманах. Париж, 1951.

Именно поэтому Ремизов вскоре после знакомства довольно бесцеремонно адресовался к главному редактору:

> «5.X.1922. Глубокоуважаемый Петр Бернгардович. Через вашего сына Глеба посылаю вам рукопись "плачужную канаву". Если вы найдете возможным напечатать в "русской мысли", буду просить корректуру. У меня в рукописи сделаны всякие отметки, как печатать, но типографщики всегда склонны делать, как заведено. Корректуру не задержу. Сейчас же все сделаю, исправлять едва ли что буду. Для меня очень важны пробелы между строчками, которые обозначаю рогульками >---------< разноцветными и очень просил бы, если найдете возможным, напечатать теперь же — в ближайших книгах. Алексей Ремизов».[63]

На следующий день после этого заявления Глеб сообщал отцу:

> «Рукопись Ремизова я уже получил и начал читать. Первую часть посылаю тебе. Вещь по-моему довольно "синедетиконистская", нудная и тягучая, но всё-таки принять — имени ради — нужно. Отдельные места и по началу хороши, конечно, со всеми Ремизовскими выкрутасами».[64]

Не успел Петр Струве ответить на решительное предложение писателя, как Глеб уже 9 ноября отцу и 18 ноября — матери жаловался одной и той же фразою: «Ремизов обижен отсутствием ответа об его романе. Что мне ему сказать?»[65]. Глеб определенно решил покровительствовать своей дебютной редакторской находке и с некоторым даже энтузиазмом пропагандировал Ремизова в семейном эпистолярии. Этому не помешала даже некоторая «политическая некорректность» писателя с точки зрения круга Струве. Хорошо представлявший себе её требования, Глеб так, например, расхваливал в письме к матери политический консерватизм С. Кречетова:

> «Он занимает определенно антибольшевистскую позицию и собирается издавать только здоровую литературу, но так чтоб это была всё же хорошая литература. Даже такие люди, как Ремизов, Андрей Белый — всё бывшие друзья его — для него неприемлемы».[66]

63 ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 1. Д. 142. Л. 26.

64 Там же. Д. 112. Л. 33.

65 Там же. Л. 42 об.; Оп. 2. Д. 89. Л. 89 об.

66 Там же. Л. 86 об.. И далее: «Может быть, можно было бы поручить Кречетову вести литературный отдел при моем непосредственном участии».

31 ноября 1922, приглашая своих братьев Константина и Аркадия на Рождество из Гейдельберга в Берлин, он писал:

> «Адя, мы непременно поведем тебя к Ремизовым. Во-первых, они сами презабавная чета. Он — маленькая обезьянка с лицом, как печеное яблоко, а она — точно стопудовая московская купчиха. Кроме того, у него вся комната увешана занимательнейшими существами: чортиками, обезьяньими царями, лешими и п. род. Все они имеют свои имена и функции, а сам Алексей Мих. относится к ним как к живым существам и примечательно о них рассказывает. Тебе страшно понравится. К сожалению, хозяйка гонит их с квартиры. Они открыли, что она главная ведьма и всё ждут, что она вылетит в трубу, но пока что этого не случается и им, бедным, плохо».[67]

Жилищные проблемы, нужда заставляли Ремизова настаивать на прояснении судьбы своего сочинения и сопутствующего ему гонорара:

> «1.12.22. Глубокоуважаемый Петр Бернгардович! я писал вам на рус. мыс. и не уверен, дошли ли письма. Я всё о рукописи моей: надо мне как-то ее устроить. Если вы находите, что она не подходит к рус. мыс. или должна ждать какого-нб. продолжительного срока, то прошу, пришлите ее мне. Еще что-нб. надумую. Алексей Ремизов».[68]

Настойчивость Ремизова подкреплял и его покровитель — Глеб Струве. «А.М. Ремизов, — настаивал тот, — очень хотел бы получить назад свой роман, первая часть которого находится у тебя, если на напечатание его в "Р.М." нет никакой надежды. Ему до зарезу нужны деньги, и он готов продать первому встречному издателю даже за германские марки».[69] С тех пор Глеб систематически — 3 января, 20 января, 11 февраля, 16 февраля — напоминал отцу о сочинении своего протеже[70], пока не вырвал согласия на его публикацию и уже 19 февраля не сдал роман Ремизова в набор.[71]

> «О Ремизове ты судишь несправедливо, — разъяснял он отцу. — Романа его я не защищаю: он в общем нудный, хотя в нем есть много ин-

67 ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 1. Д. 289. Л. 72 об.

68 Там же. Оп. 1. Д. 142. Л. 27.

69 Там же. Оп. 1. Д. 112. Л. 45 об.

70 Там же. Л. 52 об.; Д. 172. Лл. 2 об., 16 об., 18.

71 Там же. Л. 21–21 об. См.: *Алексей Ремизов*. Канава. Роман // Русская Мысль. Прага — Берлин, 1923. Кн. I/II. С. 46–89; Кн. III/V. С. 52–75; Кн. VI/VIII. С. 62–110; Кн. IX/XII. С. 29–60.

тересных мыслей и отдельных очень удачных мест. Но сам он вовсе не гниль, а очень милый человечек, немного, правда, трусливый, но этим грешат многие».[72]

Тем не менее Глеб был настолько очарован Ремизовым, что, не боясь раздражить отца, во внутренней микрорецензии использовал образ писателя при оценке художественного сочинения берлинца, близкого публицистического союзника Струве, Лоллия Львова. Глеб писал о его тексте «Сны»: «Временами веет Ремизовым, но хорошим Ремизовым. Можно принять»[73]. Не прошло и нескольких дней со сдачи ремизовского романа в набор, как Глеб предложил отцу выплатить автору весьма солидный (перед лицом падающей немецкой марки) аванс в твёрдой валюте — в размере 2 фунтов стерлингов.[74] Сына поддержала и Н.А. Струве. 23 февраля 1923 года она сообщала мужу из Берлина: «Все тут живут ужасно. То тому, то другому угрожает прогоняние с квартиры: и Нюничу [С.Л. Франку], и Ремизову. Бердяев замучен хозяйкой…»[75]. 27 февраля Ремизов получил 2 фунта стерлингов — «в счет гонорара за Канаву».[76] Вершиной близких отношений Глеба с Ремизовыми стало их участие в его венчании с Ю.Ю. Андре 18 апреля 1923 года — А.М. Ремизова в качестве свидетеля и крестинах их дочери Марины — С.П. Ремизовой в роли восприемницы.[77] Своими заботами Глеб Струве не оставлял Ремизова и позже: о гонораре ему он не раз сообщал в июле 1923-го.[78] А 1 ноября 1923 года он, сам очень нуждающийся, вновь напоминал матери о необходимости выплаты гонораров берлинским авторам: в их числе Ремизову, Франку и др., уже на следующий день сообщая:

«Я на свой страх заплатил Ремизову в счет гонорара по текущей книжке 2 фунта (ему причитается по прежнему расчету). Деньги эти я занял у Арк. Альфр. [Бормана] (лично!) с обязательством вернуть в десятид-

72 ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 1. Д. 172. Л. 22 об. О рукописи романа «Плачужная канава» см. составленный Н.А. Струве «Список рукописей, принятых и могущих быть напечатанными в первых книгах 1923 года: А. Рукописи, хранящиеся в Берлине»: Там же. Д. 173. Л. 30.

73 Там же. Д. 173. Л. 33. Л.И. Львов вскоре забрал свое сочинение: Л. 60.

74 Там же. Д. 118. Л. 49. В качестве материальной помощи можно рассматривать и предоставление Ремизову бесплатных экземпляров журнала: Там же. Д. 168. Л. 9.

75 Там же. Д. 174. Лл. 29, 38; см. также: Д. 172. Лл. 51–51 об.

76 Там же. Оп. 2. Д. 289. Л. 91.

77 Там же. Оп. 2. Д. 89. Л. 111 об.; Оп. 1. Д. 172. Л. 55. См. письмо Г.П. Струве матери от 1 мая 1923 года: «Вечером мы обещали слушать Ремизова в Клубе писателей. Он будет читать с комментариями письма Розанова к себе. Говорят, это очень интересно» (Оп. 2. Д. 89. Л. 118).

78 Там же. Оп. 1. Д. 172. Лл. 80 об., 83 об., 91 об.

невный срок (…) Сделал же я это вот почему: Р<емизовы> послезавтра уезжают в Париж, при этом у них есть билеты до Кёлма и ни копейки на жизнь здесь, ни на дальнейшую дорогу».[79]

Все остальные русские берлинцы получили гонорары лишь в конце февраля 1924 года.[80]

Весной 1924 года в Париже Глеб возобновил свое общение с Ремизовыми, но оно уже не касалось журнала.[81] Лишь в единственной книжке «Русской Мысли» за 1927 год (в высшей степени идеологичной и критически жесткой), в рецензии на первые два номера «Вёрст», оговорив «ближайшее участие» в них Ремизова и Цветаевой, но не касаясь сочинений писателя специально, Петр Струве квалифицировал общее направление издания как «особливо упадочное и особливо утонченное «отложение» евразийства».[82]

3. М.И. Цветаева

Другим редакторским дебютом Глеба Струве в «Русской Мысли» стали сочинения Марины Цветаевой. Без его дотошного посредничества из Берлина пражские жители Цветаева и Струве не могли сговориться меж собой о сотрудничестве. Как следует из хорошо известных исследователям писем Цветаевой самому П.Б. Струве, первые стихотворения были переданы ею в журнал при посредничестве Глеба ещё в июле 1922 года.[83] Но о них она была вынуждена напоминать П.Б. Струве 21 сентября 1922 года: «Многоуважа-

79 ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 1. Д. 172. Л. 190, 192. О двухфунтовых авансах Ремизову см.: Там же. Оп. 1. Д. 168. Лл. 76а, 79.

80 Там же. Оп. 2. Д. 90. Л. 32.

81 См. письма Глеба матери от 5 и 12 марта 1924 года: Там же. Лл. 39 об., 41. 17 марта он писал: «…отправился к Ремизовым, где просидел весь вечер. У них очень уютная квартира на Avenue Mozart, почти напротив Катуаров: 3 комнаты, ванна, кухня. (…) Ремизовы были мне рады и очень милы. Всех своих чудищ он оставил в Германии, за исключением двоих, но в Париже успел уже собрать новую коллекцию, которая развешана у него в комнате. А у Сер. Павл. свой уголок – с иконами, вышитыми бисером картинками и иной стариной» (Л. 44). «С Ремизовыми видимся редко, – итожил Глеб 30 августа 1924 года, — очень уж далеко друг от друга живем, и они к нам никак не могут собраться» (Л. 85 об.).

82 *П.С.*: Версты. № 1. Париж, 1926; № 2. Париж, 1927 // Русская Мысль. Париж, 1927. Кн. I. С. 109.

83 ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 1. Д. 132. Л. 1.

емый Петр Бернардович [sic!], месяца два тому назад мною были переданы в Редакцию «Русской Мысли» стихи. Хотела бы знать о их судьбе, и, если они приняты, получить гонорар».[84]

Новые данные остались вне внимания исследователей Цветаевой. Основным стимулом к дальнейшей семейной переписке Струве о Цветаевой стала именно гонорарная проблема. 17 ноября 1922 года Глеб сообщал матери:

> «Я получил письмо от М.И. Цветаевой, которая с отчаянием пишет, что её выбрасывают с иждивения и что её и дочь ждёт тогда голодная смерть. Выбрасывают потому, что решено помогать только «маститым деятелям пера», причем помощь будет продолжать оказываться [авторам «Русской Мысли»] Борису Лазаревскому и Илье Сургучеву. Конечно, М.И. Цветаева как литературная величина гораздо крупнее их обоих и, я думаю, порядочнее второго. Она прибавляет, что за нее Чириков и Ляцкий, и ей нужен голос папы. Где, — я не знаю, — вероятно, в Союзе журналистов. Пусть папа сделает, что может. Я написал М.И. Цветаевой, прося её зайти к папе и самой переговорить с ним».[85]

Уже 4 декабря Цветаева благодарила Петра Струве за выплаченный гонорар.[86] При этом ясно, что он был выплачен авансом, ибо стихи Цветаевой были сданы в набор лишь 30 декабря.[87] *В этом номере журнала имя Цветаевой было даже внесено в список постоянных сотрудников журнала.* В эти дни Цветаева, если судить по её переписке, заметно сблизилась с членами семьи Струве (но не с самим П.Б. Струве) и демонстрировала особую доверительность посторонним: она сообщала о своём частном общении с женой П.Б. Струве — Н.А. Струве — Р.Б. Гулю 12 декабря 1922 года: «…передайте, пожалуйста, Глебу Струве: моя страстная мечта — немецкие Bergschuhe, и жена Струве была так мила, что обещала мне их купить, если будут деньги».[88]

84 *Марина Цветаева.* Письма, 1905–1923 / Сост. Л.А. Мнухина при уч. Л.Г. Трубицыной. М., 2012. С. 473.

85 ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 2. Д. 89. Л. 87.

86 Там же. Оп. 1. Д.132. Лл. 2–3.

87 Г.П. Струве — П.Б. Струве 30 декабря 1922 года // ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 1. Д. 112. Л. 51 об. Эти стихотворения Цветаевой под общим заглавием «Дон»: Марина Цветаева. Стихотворения // Русская Мысль. Берлин, 1922. Кн. VIII/XII. Отд. I. С. 5–9. Об этих стихах: *Глеб Струве*. Русская литература в изгнании [1956]. Изд. 3-е, испр. и доп. / Сост. К.Ю. Лаппо-Данилевский. Париж; М., 1996. С. 112.

88 *Марина Цветаева*. Письма, 1905–1923. С. 489.

20 января 1923 года, напоминая отцу о ремизовской «Канаве», Глеб также писал: «Между прочим, у меня есть для следующей книжки хорошие стихи М. Цветаевой — санкционируешь?» И в примечании:

> «Зачем ты принимаешь плохие стихи Дитерихса, Федорова и ужасные стихи какой-то Оксаны К. Нужно делать более строгий подбор. Дезобри и Гриневич тоже. Предоставь мне ведать стихами. Если неудобно отказать Федорову, можно принять и мариновать. Дезобри, к сожалению, уже написано о принятии. Сейчас достаточно хороших поэтов!».[89]

Отбираемые и публикуемые Петром Струве стихотворения и в самом деле были, как правило, отчаянно плохи. И потому, наверное, он все-таки дал сыну согласие на (в известных пределах) заведование стихами и санкцию на стихи Цветаевой, уже 5 февраля 1923 года направленные ему на экспертизу.[90] Глеб не был уверен в положительном исходе этой экспертизы и 6 февраля предупреждал: «Отвергнутое — брось в корзину. (Стихи Цветаевой во всяком случае верни)».[91]

В эти же дни, январь-февраль 1923 года, Цветаева писала П.Б. Струве (уже не официально — «многоуважаемый», а интимно — «милый») с просьбой о публикации, не стесняясь уязвить его указанием на ненадёжность материального положения журнала, в который сама обращалась: «Милый Петр Бернгардович (а теперь — так! — *М.К.*) (…) Оставляю у вас статью о книге Волконского “Родина”, не знаю, подойдет ли для Русской Мысли (если она будет выходить)».[92] Уязвление отнюдь не было произвольным и отражало действительную проблему. «Печатать роман у Струве не только обидно, но и не выгодно: “Р.М.” не выходит по полугоду и платит гроши», – сообщал в то время профессионал русской эмигрантской прессы.[93]

89 ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 1. Д. 172. Л. 2 об. См. также: Д. 112. Л. 51 об.

90 Там же. Д. 172. Л. 10 об.

91 Там же. Л. 13 об.

92 *Марина Цветаева*. Письма, 1905–1923. С. 52. «Только что кончила большую статью (апологию) о книге С. Волконского “Родина”. Дала на прочтение в “Русскую Мысль”, если Струве не примет — перешлю Вам с *мольбой* пристроить. Книга восхитительная, о ней *должно* быть услышано то, что я сказала. Пока усердно не прошу, потому что еще надеюсь на Струве» (*Марина Цветаева*. Письма, 1905–1923. С. 500. (письмо к Р.Б. Гулю от 9 февраля 1923)).

93 И.И. Бунаков-Фондаминский — З.Н. Гиппиус 11 января 1924: «Не везет мне с “Современными записками”»: З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский и В.А. Злобин / Публ. Н.А. Богомолова // “Современные записки” (Париж, 1920–1940). Из архива редакции / Под ред. Олега Коростелева и Манфреда Шрубы. Т. 3. М., 2013. С. 231.

К продвижению этой рецензии в журнал в конце февраля – начале марта 1923 Цветаева привлекла и Глеба, но сама как назло категорически не желала сокращать её в соответствие с параметрами библиографического отдела журнала.[94] К несчастью, Глеб сам неосторожно способствовал углублению и без того явственного отчуждения между Струве-старшим и Цветаевой. Так, например, 2 марта, Глеб писал отцу, что в случае отказа его от печатания упомянутой статьи Цветаевой, та «просит передать рукопись "Геликону" для "Эпопеи" (от себя скажу: я думаю — там не возьмут)».[95] Словно не помня отчетливо выраженной год назад антипатии Струве к Андрею Белому, журнал Белого, «Эпопею» продолжала связывать с именем Цветаевой и Н.А. Струве. Она писала мужу:

> «Трогательно то, что Марина Цветаева просила Глеба на оставшийся её гонорар за какие-то стихи подарить "больному брату" [Л.П. Струве] подарок. А это было 1200 мар., т. е. огромная сумма. Глеб купил № журнала "Эпопея" и от себя другой».[96]

Трудно сказать, как реагировал на все эти новости Струве, как реагировал он на настойчивое (если не назойливое) «сближение» Цветаевой с членами его семьи[97], но рецензия Цветаевой в журнале не появилась. Хорошо видя холод П.Б. Струве, чуть ли не одновременно с описанными хлопотами и рекомендациями, Цветаева опять апеллировала к Глебу в Берлин о получении гонорара (видимо, тоже авансом, но за ещё не принятый текст[98]): «М.И. Цветаева пишет, что ей нужны деньги, и спрашивает

94 ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 1. Л. 24–24 об., см. об этом также недатированное письмо Цветаевой к Струве: Там же. Д. 132. Л. 5. «Читали ли Вы «Родину» Волконского? У меня о ней большая статья где-то гуляет, может быть Глеб Струве возьмет в «Русскую Мысль»…» (*Марина Цветаева.* Письма, 1905–1923. С. 545. Р.Б. Гулю от 11 марта 1923 года).

95 ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 1. Д. 172. Л. 27.

96 Там же. Д. 122. Л. 256.

97 «Милый Глеб…» (Марина Цветаева. Письма, 1905–1923. С. 576. письмо к Г.П. Струве от 30 июня 1923 года); к жене Глеба: «Милая Юлия (…) Как здоровье [смертельно больного младшего сына Струве] Льва Струве? Как Нина Александровна? П.Б. вижу редко и бегло, мне кажется, что он меня не любит, а это не располагает» (*Марина Цветаева.* Письма, 1905–1923. С. 578–579. Письмо к Ю.Ю. Струве от 30 июня 1923 года).

98 Он так и не вышел в «Русской Мысли» и был опубликован много позже в другом издании: Записки наблюдателя. Прага, 1924. № 1.

про гонорар. Разве ты ей до сих пор не выплатил?» — спрашивал он отца.[99] Но речь могла идти лишь о гонораре, уже выплаченном, как сказано выше, ещё 4 декабря.

Лишь однажды — летом 1923 — и, пожалуй, в последний раз столь нейтрально, имя Цветаевой прозвучало в устах Струве. «Забегала как-то Ек. Н. Рейтл<ингер> с Мариной Цветаевой», — писал он жене[100]. Е.Н. и Ю.Н. Рейтлингер были очень близкими и доверенными знакомыми четы Струве и вместе с сыновьями Струве Аркадием и Константином входили в патронируемый о. С. Булгаковым пражский студенческий «Православный кружок»[101] и в описываемые годы поддерживали весьма доверительные отношения со Струве лично. Так что появление одной из них в его доме — было совершенно естественно. Однако даже это никак не помогло сближению с ним их подруги М.И. Цветаевой. Вскоре отношения их иссякли.[102]

Тем не менее в качестве одного из законных представителей современной русской литературы Цветаева была привлечена, видимо, всё тем же Глебом Струве к опросу («анкете») газеты «Возрождение», которой руководил Струве в 1925–1927 годах: как уже выше говорилось, Амфитеатров, Арцыбашев, Гиппиус, Зайцев, П.Н.Краснов, Г.П. Струве, Цветаева, Чириков, Шмелёв лучшим произведением актуальной русской литературы в эмиграции в целом назвали «Митину любовь» Бунина.[103]

Вся история их дальнейших взаимоотношений свелась к грубым обвинениям Струве в адрес Цветаевой, как только она сблизилась с евразийцами, в её

99 ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 1. Д. 172. Л. 38.

100 ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 2. Д. 101. Л. 139 об.

101 Там же. Оп. 1. Д. 294. Лл. 433–440; Оп. 2. Д. 100. Л. 36–36 об. Письма сестер Рейтлингер членам семьи Струве см.: Там же. Оп. 2: Д. 297. Лл. 75–76 (Константину); Д. 80; Оп. 1: Д. 272. Лл. 24, 113, 96 (П.Б. Струве и анониму); Д. 96. Автограф посвященного им стихотворения Г.П. Струве «Я хочу быть простым и мудрым...»: Оп. 2. Д. 125. Лл. 3 об. – 4. 7 мая 1924 года Петр Струве выдал рекомендацию Ю.Н. Рейтлингер для поступления в чешскую Академию Художеств: Оп. 1. Д. 29. Л. 27; Ю.Н. Рейтлингер писала Н.А. Струве 31 марта 1924: «Я не помню, показывала ли я Вам портрет Мар<ины> Ив<ановны>» (Там же. Оп. 2. Д. 80. Л. 31 об.).

102 Вот одно из заключительных для описываемого периода признаний Глеба матери в письме от 31 января 1924 года из Берлина, накануне переезда в Париж: «Привет всем пражским знакомым и особенно Мар. Ив. Цветаевой, если ты её видишь. Расскажи ей про нас и скажи, что я чувствую себя очень виноватым, что совсем не писал и не ответил ей» (ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 2. Д. 90. Л. 18 об.).

103 Анкета «Возрождения»: лучшее произведение русской зарубежной беллетристики // Возрождение. № 275. 4 марта 1926 года.

«безнужности»[104] и «отвратной ненужности»[105], а краткое сотрудничество Цветаевой в «Русской Мысли» оказалось лишь случайным результатом заступничества Глеба Струве. Когда Струве подверг творчество Цветаевой бранной критике, она заподозрила в ней критическую избирательность, но так и не могла понять, в чём её причина. В письме конфиденту Цветаева жаловалась, что брань Струве, помимо брани других критиков, стоила ей места литературной работы:

> «Громовая статья П. Струве (никогда не пищущего о литературе (…) чья-то зависть — чья-то обойдённость — и я на улице, я — что! — дети».[106]

104 «Уныние вызывает у меня то, что пишет М.И. Цветаева… огорчительно не потому, что бездарно, а потому, что совсем безнужно. Именно — предметно безнужно, при известной личной одаренности… Ни к чему. Безнужно, ибо беспредметно. Безнужно, ибо невнятно» (*Петр Струве*. Заметки писателя. О пустоутробии и озорстве // Возрождение. Париж. №338. 5 мая 1926. С.3. Переизд.: *П.Б. Струве*. Дух и слово. Статьи о русской и западно-европейской литературе / [Сост. Н.А. Струве]. Paris, 1981. С. 315). Ср.: «…интеллигенция давно «обрусивает» себя, т.е. занимается тем, что — во имя своего государственного идеала — безнужно и бесплодно прикрывает своё национальное лицо» (*П.Б. Струве*. Интеллигенция и национальное лицо [1909] // П.Б. Струве. Patriotica: Политика, культура, религия, социализм. М., 1997. С. 206). См. также: «Имейте в виду грядущую реформу в русском языке (дополнительно к изыскам Струве): слово «*левый*» будет уничтожено и заменено: *не*правый (чем хуже «безнужного»?)» (И.С. Шмелёв — М.В. Вишняку 27 мая 1926 года: «Чтобы жить писательством, надо работать — забыв о голове и отдыхе — по 16 часов в сутки»: И.С. Шмелёв / Публ. Б. Хеллмана и Л.Ю. Суровой // «Современные записки» (Париж, 1920–1940). Из архива редакции / Под ред. Олега Коростелева и Манфреда Шрубы. Т. 4. М., 2014. С. 815).

105 *Петр Струве*. Моя записная книжка. 1. Мое приветствие Б.К. Зайцеву. 2. Бальзак, как пророк русской революции. 3. Отвратная ненужность // Русская Мысль. Париж, 1927. Кн. I. Вероятно, подсознательно, но контекстуально так же отрицательно по отношению к «просоветскости» евразийства, Струве воспроизвёл формулу З.Н. Гиппиус из антибольшевистского манифеста, описывавшую советский принудительный труд: «Диму [Д.В. Философова] таки взяли в каторжные («общественные») работы. (…) Потрясающе, ненужно и бесплодно. И всякий знал, что это принудительная бесполезность. (…) ещё хуже: *отвратительность* этой ненужной работы» (*З.Н. Гиппиус*. Серый блокнот // Царство Антихриста [1921]. М., 2017. С. 144. Курсив автора). Об отрицательном отношении Струве к евразийской программе «Верст», где начала публиковаться Цветаева, как «отвратной ненужности»: *Глеб Струве*. Русская литература в изгнании [1956]. С.45. Ср.: *Г.П. Струве*. Писатель ненужных тем. Творческая судьба Юрия Олеши // Новый Журнал. № 25. Нью-Йорк, 1951. В русской газете «Руль» (где в 1921 году сотрудничал Струве) формуле было дано театрализованное оправдание: *Ю. Офросимов*. Прекрасная ненужность (О Камерном театре) // Руль. № 724. Берлин, 5(18) апреля 1923 года. С. 2.

106 *Марина Цветаева, Борис Пастернак*. Чрез лихолетие эпохи…: письма 1922–1936 годов / Изд. подг. Е.Б. Коркиной и И.Д. Шевеленко. М., 2017. С. 215. (Письмо от 21 июня 1926 года).

Струве, конечно, писал о текущей литературе не раз — с самого начала своей журнально-газетной карьеры: о Чехове, о Льве Толстом и других. Ещё активнее стал писать о художественной литературе в эмиграции, подводя культурные итоги своей жизни и судя о новом. Но критическая страсть Струве к Цветаевой возникла, наверное, именно потому, что он почувствовал себя соучастником её поэтической карьеры и не оценил её доверительной настойчивости. И сама формула *отвратной ненужности/безнужности* негативно выражала давнюю интуицию Струве,[107] восходящую к классической формуле А.И. Герцена:

> «В России люди, подвергнувшиеся влиянию этого мощного западного веяния, не вышли историческими людьми, а людьми оригинальными. Иностранцы дома, иностранцы в чужих краях, праздные зрители, испорченные для России западными предрассудками, для Запада русскими привычками, они представляли какую-то **умную ненужность** и терялись в искусственной жизни, в чувственных наслаждениях и в нестерпимом эгоизме» (Былое и думы. Часть первая. Глава V).

Этот контекст заставляет увидеть в бранных заклинаниях Струве против евразийцев и Цветаевой гораздо более глубокую и его личную историю, вновь переживаемую в эмиграции.

107 См.: «знаменитое выражение» — «красивая… ненужность» (*П. Струве.* Г. Чичерин и его обращение к прошлому [1897] // Петр Струве. На разные темы (1893–1901 гг.). Сб. статей. СПб., 1902. С. 91)

«Аще не умрет, не даст плода»: власть и жертва Устрялова

Трудно представить себе, кто ещё в России XX века пользовался таким громким влиянием на публичную политическую дискуссию и политическую борьбу в самых верхах власти, каким пользовался Николай Васильевич Устрялов (1890–1937), не будучи совершенно никем, кроме как просто «практическим философом» и публицистом, одиночкой, в чьи формулы решили вцепиться большевистские вожди Ленин, Бухарин, Троцкий, Сталин; Устрялов — имя нарицательное, жупел, от чьих формул шарахались вожди белой эмиграции. Когда начался этот интеллектуальный и властный триумф, Устрялову едва исполнилось тридцать лет. Когда триумф этот преодолел свой зенит, Устрялову едва исполнилось тридцать пять. Всё дальнейшее в его жизни было осознанной жертвой: причём в жертву, призванную подтвердить высшую ценность и искренность своей мысли, Устрялов принёс не только себя, вернувшись в Россию-СССР как раз накануне Большого террора, но и свою семью, последовавшую за ним.[1]

Он заплатил своей жизнью, и тюремное фото Устрялова перед расстрелом, кажется, говорит о его полном сознании. В его взгляде нет обычных для идущего на более чем вероятный расстрел растерянности и дискомфорта, хорошо знакомых по тюремным фото вчера ещё властвовавших советских интеллигентов и палачей. С тюремного фото Устрялова в вечность смотрит чело-

1 Жена Н.В. Устрялова после его ареста и осуждения была отправлена в ссылку, а сын жил в семье его младшего брата, М.В. Устрялова (1892–1944), врача-психиатра, в Калуге. См.: *В.Я. Филимонов, Д.Э. Миронов*. Калуга в период немецкой оккупации: дневник врача Михаила Устрялова [1941–1942] // Российская история. М., 2011. № 3. С. 33.

век, по-прежнему имеющий идейную власть, хотя последние его сочинения, написанные уже во внутрисоветской жизни, слабы, оппортунистичны и очень нехороши.

Это — власть поступка. Может быть, власть личной победы русского интеллигента тогда, когда «сдача и гибель советского интеллигента» начала звучать как едва ли не законный художественный жест.

Но надо сразу сказать: вожди Советской России вовсе не были очарованы сочинениями Устрялова, они отнюдь не торопились признать его влияние и особую идейную власть. Они сами создали и вручили ему идейную власть над подсоветской интеллигенцией и маску лояльного врага для советской пропаганды, сначала включив его в рукотворный советский проект «сменовеховства», затем — когда заведомо фальшивое и продажное «сменовеховство» провалилось — пустив его в самостоятельное пропагандистское плавание во главе придуманного самим Устряловым **национал-большевизма**.

Устрялов стал автором почти гениальной формулы национал-большевизма, то есть формулы *использования интернационалистской и антинациональной большевистской власти — в национальных, суверенных и независимых общегосударственных целях, исторически постоянных и не зависящих от режима*. Её центром и приоритетами были преемственная государственность, безопасность и военно-экономическая мощь.

И здесь тоже надо сразу сказать: Устрялов не был первым и главным, кто в России выдвинул эту систему приоритетов, освободив их от конкретных политических режимов. Но он первым столь ясно и ярко применил эти приоритеты к большевикам, буквально навязав им государственно-национальный смысл ещё тогда, когда большинство из них ещё бредило мировой революцией и не переставало разрушать Россию, укрепляя её лишь настолько, насколько это требовалось для экспорта революции и сохранения диктатуры. Устрялов лишь применил этот пафос национальной и религиозной государственности, выработанный поколениями русской мысли и особенно громко прозвучавший в знаменитом сборнике «Вехи» (1909), который он впитал мальчиком и ретранслировал ещё совсем молодым человеком.

И в этом он был не уникален и не одинок. Но именно он, как никто другой, связал в тесный узел отталкивающую большевистскую практику с рафинированными вершинами русской социально-политической мысли, показав, что владеет формулами этих вершин так же свободно, как пианист клавиатурой. Пока сильные характеры ещё в 1918-м призывали к власти в стране хоть какую-нибудь диктатуру, которая могла бы остановить хаос и Брестскую капитуляцию, а слабые души уже в 1920-м, публично фальшивя, начинали нащупывать только им самим видный большевистский государственный смысл,

из крайнего эмигрантского далека, из Харбина, уже в начале 1920 года Устрялов начал — пока без формулы — говорить о неприятном. Неприятной для Белого движения была военная победа большевиков, основанная не только на террористическом «военном коммунизме», но и на ясно выраженной воле народного большинства и ясном выборе старого офицерско-генеральского активного большинства в пользу Красной армии. Он первым побивал идеологию Белого дела в его самой прагматической части: вы хотели централизованной власти и армии? — большевики построили их; вы требовали защиты России от расчленителей-интервентов и проституирующих этнократов? — большевики сохранили ядро исторической России; вы сомневались, что большевики смоют своей кровью своё национальное предательство, явленное в капитуляции Брестского мира? — большевики вместе с генералом Брусиловым, символом военных успехов императорской России, встали на защиту России от польской агрессии Пилсудского, которую так беспринципно поддержал белый главнокомандующий генерал Врангель…

1

С интересами национальной обороны большевики впервые столкнулись ещё в начале 1918 года, в ходе переговоров с Германией о заключении Брест-Литовского мира, когда германские войска почти беспрепятственно продвигались вглубь территории России, и только редкие энтузиасты воинского долга во главе со старым офицерством в составе сил «завесы» хоть как-то обозначали отсутствующий фронт. С народным хозяйством большевики встретились фактически тогда же, когда система имперских Военно-промышленных комитетов в полном составе влилась в формат советского Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). В 1920 году, когда Гражданская война походила к концу, советская власть испытала ещё больший кадровый шок, к которому её обязывал переход от «военного коммунизма» и мобилизационной экономики хоть к какому-нибудь мирному управлению.

Так выглядел посыл, за которым следовала простая мораль для антисоветского политического класса (интеллигенции) в России: смирись с победой большевиков, иди к ним на службу, не претендуя ни на что, кроме счастья служить России, какая бы она ни была, забудь о свободе, забудь о себе — и утешься тем, что твоя Родина, даже иной раз обезображенная до неузнаваемости, жива и сильна. Этот посыл пыталась оспорить белая эмиграция. Его же успешно эксплуатировала большевистская власть, отнюдь не прекращая политических репрессий против тех, кто оставался от неё духовно независимым (против

церкви), кто оспаривал её партийную монополию (против эсеров и меньшевиков), кто отстаивал своё независимое профессиональное и идейное влияние (против лидеров общественного мнения — в высылке 1922 года, призванной обеспечить монополию сменовеховцам на «представительство интересов» подсоветской интеллигенции).

Дар успешной банализации и формулирования идейной борьбы — большая редкость. В истории русской мысли фигур, которые могли овладеть этим искусством, единицы: Глинка (Волжский), Иванов-Разумник, Милюков. Овладев им, они идеологически громко проиграли, ибо оказались в тени гораздо более сильных, но сложных, конфликтных, но творческих конкурентов: что в движении «от марксизма к идеализму», что в мощной традиции неонародничества, что в истории прикладного и даже беспринципного либерализма.

Устрялов же выжил как индивидуальность, присвоил наследие и транслировал его, рассорившись почти со всеми, кто либо сразу же, заранее продался большевикам («сменовеховцы»)[2], либо сделал это позже (евразийцы), либо мгновенно маргинализировался в эмиграции (веховцы), потеряв лицо в приспособлении своего символического капитала к интересам правомонархических партийных сект.

Устрялов, конечно же, очень долго не понимал, что советская власть, устами вождей поминая его имя с самых высоких трибун и уделяя особое внимание его сочинениям, недобросовестна. Он искренне верил, что идейно влияет на власть (но был достаточно трезв, чтобы не вынашивать комичных надежд на идейное управление ею, которыми были больны евразийцы). На деле

2 Даже ангажированный автор рецензии на фундаментальное исследование практических, в том числе финансовых, связей большевиков со «сменовеховцами», не желающий признавать вполне определённое качество их отношений как *заказчика-исполнителей*, вынужден резюмировать: «На основе архивных документов показано, как сменовеховское движение субсидировалось и, в ряде случаев, возглавлялось большевиками» (*Илья Куксин*. [Рец.:] Квакин А.В. Между белыми и красными. Русская интеллигенция 1920–1930 годов в поисках третьего пути. М., 2006 // Новый Журнал. № 250. Нью-Йорк, 2008). Стыдливые сомнения критика явно запоздали, ибо необходимые данные на этот счёт сообщены историками давно и ясно: *Alexandre Kvachonkine*. Histoire d'une manipulation: Les Bolhcheviks et le mouvement emigre «Changegement des Jalons» // Communisme. № 42/43/44. Paris, 1995; *В.Н. Козлов*. Провокация (Тайная операция Политбюро ЦК РКП (б) — издание сменовеховской газеты. 1922–1924 гг.) // Звезда. СПб., 1997. № 5; *А.В. Квашонкин, А.Я. Лившин*. Послереволюционная Россия (проблемы социально-политической истории, 1917–1927). М., 2000. С. 59–91. См. также глубокий и фактологически насыщенный очерк: *Анастасия Гачева.* Философская эмиграция. Сменовеховство // А. Гачева, О. Казнина, С. Семёнова. Философский контекст русской литературы 1920–1930-х годов. М., 2003.

он лишь влиял на её язык и помогал ей выглядеть чуть более ответственной и приличной — потому, что де-факто она перестала быть партийной и пошла на службу своему же государству.

Пропагандистский путь признания советской власти со стороны несоветской и даже антисоветской интеллигенции (политического класса) России эксплуатировался большевиками столь усиленно и эффективно, что породил историографический и даже литературно-художественный миф о национал-большевизме как формуле перехода от враждебности к нейтралитету, от нейтралитета — к лояльной службе коммунизму.

В конце 1980-х годов, когда в СССР эволюция коммунистической власти свелась к разрушению централизованного государства, быстрой деградации коммунистической риторики и геометрическому росту этнократического национал-коммунизма, у некоторых русских коммунистов — помнивших историю и смысл национал-большевизма — наступил краткий момент «национал-большевизма наоборот», повторного. Так они пытались хоть как-то нормализовать обратный путь от советской лояльности к государственному национализму, чтобы он не превратился в обвал. Но он превратился в обвал, и путь стал бегством, а государственный национализм был советской властью выброшен вон — вместе с СССР.

Но был ли нормальным первый переход, первый национал-большевизм 1920-х годов, пока его пропагандистские применения не взяли под контроль Политбюро ЦК и ГПУ? Он был жертвой, абсолютным приоритетом *идеи государства* и личным самопожертвованием. Эта жертва исходила из презумпции того, что текущая власть в конечном счёте действует адекватно национальным интересам. То есть на деле то была жертва не государству, а текущей власти, которая не собиралась гарантировать жертвователю оправданности жертвы и следования государственным интересам, а лишь эгоистически принимала их совпадение с интересами собственной диктатуры. Таким образом, и первый лоялистский национал-большевизм был советской властью быстро использован и быстро выброшен вон, пока не наступило 22 июня 1941 года.

2

Современный уровень знаний об эпохе и герое позволяет проследить контекст азбучных сведений о биографии Устрялова, которые никак не могут прорваться в энциклопедические справки и общедоступные поисковые системы, и сделать в их ряду несколько важных замечаний.

Во-первых, Устрялов — весьма ранняя для русского начала XX века научная звезда: окончив юридический факультет Московского университета учеником Б.П. Вышеславцева и Е.Н. Трубецкого, он уже в 22 года получил от них приглашение остаться в университете для приготовления к профессорскому званию. Из рук рафинированного социального философа и персоналиста Вышеславцева и яркого религиозного мыслителя и знатока древности Трубецкого — это очень высокая оценка. Ещё в 1914 году П.Б. Струве получил приглашение от секретаря правления студенческого научного общества памяти С.Н. Трубецкого С.С. Ольденбурга посетить доклад Устрялова «Современный социализм, его кризис и вопрос о его будущем».[3] Уже в 1916 году Устрялов как равный принял участие в публичной дискуссии о национализме,[4] начатой Струве и опротестованной Е.Н. Трубецким, где — против Трубецкого — выступил в поддержку той всепожирающей «мистики государства», признание которой в итоге будет стоить ему жизни.

3 РНБ, АДП. Ф. 753. Ед. хр. 75. Здесь Устрялов назван «студентом», но в день доклада, 17 апреля [1914 года], строго говоря, студентом он уже не являлся, ибо, кончив курс в 1913 году, уже был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию, но ещё не сдавал магистерские экзамены.

4 См. антологию текстов, в том числе почти полный свод дискуссии 1916–1917 годов, включая статью Устрялова, в: Национализм. Полемика 1909–1917. Сборник статей / Сост. М.А. Колеров. 2-е изд. М., 2015. Реферат содержания дискуссии: *В.К. Романовский.* Полемика о национализме на страницах либеральной печати в 1916–1917 гг. // Вопросы истории. М., 2016. № 5. Центром дискуссии был журнал Струве «Русская Мысль», а молодой Устрялов своей статьёй («К вопросу о сущности “национализма”») присягнул («Как возможен истинный национализм?» См.: Проблемы Великой России. № 18. 10 (23) декабря 1916. С. 9) известной статье Струве «В чём же истинный национализм?» (1901) ввёл в дискуссию журнал «Проблемы Великой России», эксплуатировавший внешнеполитический концепт Струве о «Великой России», который он развил в главном в 1908–1912 годах (см. также: *П.Б. Струве.* Великая Россия и Святая Русь // Русская Мысль. 1914. Кн. XII), но без участия Струве. Скорее всего, дискуссия в этом журнале продлилась бы, но его издание прекратилось. В журнале сотрудничали также уже авторитетный правовед С.А. Котляревский и молодые юристы Ю.В. Ключников, Е.А. Коровин, которые весной 1918 года в Москве составили ядро либеральных публицистов, выступивших за государственность и диктатуру (Коровин затем стал видным советским юристом-международником и не был затронут репрессиями). Журнал развивал философию русского империализма, и спор о мистике государства и внеэтническом национализме был её несомненной частью (см.: *Н. Устрялов.* К вопросу о русском империализме // Там же. № 15. 15 (28) октября 1916; *А.М. Ладыженский.* Идея Великой России и агрессивный империализм (Ответ Н.В. Устрялову) // Там же. № 16. 1 (14) ноября 1916; *В.Л.* Нужен ли России империализм? // Там же. № 17. 15 (28) ноября 1916). Об этом журнале см.: *М.А. Колеров.* «Проблемы Великой России» (1916). Роспись содержания // Исследования по истории русской мысли [3]: Ежегодник за 1999 год. М., 1999.

Во-вторых, 1917 год Устрялов встретил не только молодым либеральным карьеристом в составе кадетской партии, но и автором странного для государственника и империалиста трактата, в котором осудил империализм за войну и её жертвы («В чём борьба за цивилизацию? (Империализм и демократия)», а германский социализм — за капитуляцию перед имперским национализмом.[5] В условиях лета 1917 года этот трактат звучал как культурно изысканная поддержка большевистской борьбы за мир любой ценой и за пролетарский интернационализм ценой поражения «собственного правительства». Отнюдь не случайно ни в одном их своих curriculum vitae Устрялов не стал упоминать этого сочинения,[6] которое прозвучало как манифест «пораженца» и потому плохо укладывалось в авторский миф о несгибаемом государственнике. Что это была за страница в интеллектуальной биографии Устрялова — не ясно, но факты самокритики, поиска, зыбкости — налицо, настолько радикально они противостоят биографическому мифу и примерам иных, подчёркнуто риторических фигур русской «публичной философии».

В-третьих, Устрялов уже в 1918 году, под большевиками, до поступления на ответственную политическую службу к верховному правителю белой России адмиралу Колчаку, исчерпал свои теоретические аргументы против большевистской диктатуры — и, видимо, лишь исполнял свой долг, служа диктатуре антибольшевистской, надеясь, что за ней встанет больший государственный смысл и народная легитимность, но с самого начала понимал, что победы она не добудет. Уже в январе 1918 года, в неучтённой библиографиями газетной статье Устрялов выступал с тем, что послужило фундаментом будущего *национал-большевизма как доктрины внутреннего перерождения революции*. Он писал, когда Гражданская война как единый процесс — как общенациональная война регулярных фронтов и военных действий, противостоящих государственных сил — ещё не началась, столица в Москву перенесена не была, а на Дону только собиралась белая Добровольческая армия:

> «Спасение придёт, но не извне, не из определённого географического пункта, не с Украины, Дона, Сибири или Москвы. Оно явится из недр самой революции, когда будет до конца изжита её тьма. (…) За периодом разложения не может не наступить творческий период».[7]

5 *М.А. Колеров*. Неизвестная статья Н.В. Устрялова: П. Сурмин. В чём борьба за цивилизацию? (Империализм и демократия) [1917] // Русский Сборник: Исследования по истории России. XVI. М., 2014. С. 481–494.

6 См., например, документ с перечнем (весьма немногих) публикаций, представленный при поступлении на работу в Пермский университет: *О.В.* Curriculum vitae Н.В. Устрялова (1918) // Исследования по истории русской мысли [6]: Ежегодник за 2003 год / Под ред. М.А. Колерова. М., 2004. С. 591–592.

7 *Н. Устрялов*. Во власти распада // Утро России. 21 января 1918. № 11. С. 1.

И уже тогда Устрялов обращал внимание на особую «природу» русского большевизма[8], заставлявшую с ним считаться, а его единомышленник и коллега по московской кадетской газете, будущий автор струвианского антиреволюционного сборника «Из глубины» (1918)[9] В.Н. Муравьев, начал чувствовать в едва установившейся большевистской диктатуре «собирание России»[10], и уже тогда заговорил об «империалистическом пафосе», то есть пафосе великой державы в большевистском лозунге «мировой революции»[11], подсказывая большевикам, что «национализм — условие всякой идеологии, признающей государство».[12] Спасаясь от большевистских арестов, Устрялов уезжал из Москвы, публично полагаясь на «реакцию» в мире мысли.[13]

Надо сказать, что в 1918 году, до начала полномасштабной Гражданской войны, изнутри России, в глухой оппозиции большевиками, даже в наибольшей степени политически и идеологический связанные с интервентами кадеты стояли на бескомпромиссных началах государственно независимой России, отвергая сделки по её расчленению. По докладу о внутренней политике П.И. Новгородцева и внешней политике М.М. Винавера кадетами было принято высшее партийное решение на конференции, прошедшей в подполье: «Немедленное осуществление целиком всех партийных положений должно быть подчинено делу объединения всей России и воссозданию её государственной мощи».[14]

Позже живший в советском тылу и изнутри наблюдавший усилия власти, стремившейся к сделке с интеллигенцией, В.Н. Муравьев уже в начале 1920 года решил «примиряться если не с политикой, не с тактикой, то со стратегией большевиков, с их отдалёнными целями», не столько отделяя цели от тактики, сколько вменяя целям не только коммунистический смысл мировой революции и пытаясь лично договориться о сотрудничестве с Троцким. Муравьёв писал Н.А. Сетницкому: «Можно (…) сетовать на отсутствие свободы, (…) но надо

8 *Н. Устрялов*. Новый враг // Заря России. 12 (15) апреля 1918. № 7. С. 1.

9 В газете «Заря России» сотрудничал также ещё один автор сборника «Из глубины» и затем участник антибольшевистского подполья, в 1920 году пошедший на службу к большевикам, правовед С.А. Котляревский.

10 *В. Муравьев*. Собирание России // Заря России. 13 (26) апреля 1918. № 8. С. 1.

11 *В. Муравьев*. Национализм и интернационализм // Заря России. 15 (28) апреля 1918. № 10. С. 1.

12 *В. Муравьев*. Национальная идея // Заря России. 1 (14) мая 1918. № 19. С. 1.

13 *Н. Устрялов*. Возрождение // Заря России. 5 (18) мая 1918. № 23. С. 1. См. также очерк: *В.К. Романовский*. Н.В. Устрялов о русской революции (по его публикациям 1917–1918 гг.) // Вопросы истории. М., 2005. № 1.

14 Майская конференция Партии народной свободы. Москва, 13–15 / 26–28 мая 1918 [Коммюнике конференции] // Съезды и конференции конституционно-демократической партии. Т. 3. Кн. 2: 1918–1920 гг. / Сост. Н.И. Канищева. М., 2000. С. 34.

глядеть шире и выше, и с этой точки зрения нельзя не признать, что мы присутствуем при величайшей в истории мира героической попытке изжечь зло старой культуры и построить новую культуру на истинно трудовых и общечеловеческих началах. (...) революция для нас недостаточно революционна, она слишком замыкается в общественных задачах, тогда как мы хотели бы мировой космической Революции».[15]

3

На региональной сибирской кадетской партийной конференции в мае 1919 года Устрялов, обосновывая диктатуру, но осуждая большевизм как зло и утверждая лозунг «Великой России» как добро, явственно склонялся к признанию силы большевизма и необходимости её использования во имя государственной мощи. В условиях крайней зависимости антибольшевистских движений от помощи интервентов это звучало либо как фронда против покровителей, либо как признание большевиков национальной силой:

> «Руководящим принципом нашей внутренней политики должен остаться бесспорный для нас лозунг — *диктатура во имя демократии.* (...) В то время как большевизм из национального русского события стал явлением мирового порядка, с того момента и борьба с ним перестает быть национально-русским делом, а лишь становится фактором мирового характера и смысла. Это есть борьба за культуру, потому что теперь для нас уже нет никакого сомнения, что большевизм угрожает культуре всего человечества. (...) Мы боремся с большевизмом, считаем его мировым злом, но мы не можем не признать — и это необходимо категорически подчеркнуть, — что даже и большевизм с его размахом, с его изумительною энергией свидетельствует об известной национальной силе, которая где-то в глубине русского народа коренится, эта тлетворная, дурно направленная сила, которая грозит теперь всему миру — ведь она исходит из Москвы и Петербурга. Нужно обличать негативность её, и станет она положительной, знак минус станет тогда знаком плюс, и из анархии создастся новая возрождающаяся Россия. И эта интенсивная напряженная борьба, которая ведётся против большевизма, свидетельствует, что

15 *Г.П. Аксёнов.* Искатель последней правды // В.Н. Муравьев. Овладение временем. Избранные философские и публицистические произведения / Сост. Г.П. Аксёнов. М., 1998. С.7–8. Устрялов вспоминал, как Муравьёв сказал ему в Москве в 1924 году: «Nous sommes plus bolshevistes que les bolsheviques mêmes».

на обоих полюсах России, на взлёте и в бездне, остается и останется она величайшей державой, с которой должны считаться и будут считаться все государства мира».[16]

В октябре 1919 года Устрялов, уже председатель восточного отдела ЦК Партии народной свободы (кадетской партии),[17] возглавил главный институт пропаганды белого правительства адмирала Колчака — Русское Бюро Печати, которое начало издание официоза — газеты «Русское дело» (её редактором стал Д. Болдырев). В первом же номере газеты, который открывался красноречивым эпиграфом из великого предшественника: «Революцию надо преодолеть, взяв у нее достижимые цели и сломив ее утопизм, демагогию, бунтарство и анархию непреклонной силой власти. *П. Новгородцев*»,[18] Устрялов выступил с передовицей, которая вполне может быть названа его манифестом о *преодолении революции изнутри самой революции*: «Процесс ликвидации русской революции затянулся. (…) Двух лет оказывается не достаточным, чтобы изжить и преодолеть достигнутые глубины». Устрялов ставил задачи развития и внедрения в революционные массы «пересмотра идеологии» революции против её изначальной германско-интернациональной ориентации:

«Вместо интернационала — нация. Вместо класса — родина. Вместо коммунистической общины — правовое государство на основе национальной демократии. Вместо мертвой и принудительной религии механизма — живая жизнь в духе, в свободе. Вместо всеобщего принципиального уравнения — иерархия ценностей. Вместо пролеткульта — культура. Вместо бесшабашного политического футуризма — чувство преемственности, традиции, сознание связи с прошлым, с настоящим… (…) Мы отвергаем ее [революцию] прежде всего потому, что она принципиально антинациональна. (…) Движение с юга и востока России нами воспринимается как движение, противоположное самому духу большевизма. (…) Мы его воспринимаем как движение национально-демокра-

16 Третья восточная конференция Партии народной свободы. Омск, 20–21 мая 1919 [*Н.В. Устрялов*. Доклад Восточного отдела ЦК о современном международном положении, 21 мая 1919] // Съезды и конференции конституционно-демократической партии. Т. 3. Кн. 2: 1918–1920 гг. / Сост. Н.И. Канищева. М., 2000. С.108, 110, 111.

17 Русское дело. Омск. №2. 7 октября 1919. С. 3.

18 Ср. с эпиграфом другого номера — демонстративно апеллирующим к культу антисамодержавного революционного террориста И.П. Каляева: «На почве, политой кровью мучеников, вырастет дерево свободы. *И. Каляев*» (Русское дело. Омск. № 21. 30 октября 1919. С. 1). См. в настоящем сборнике о нём же: П.Б. Струве о политическом терроре и И.П. Каляеве: *П.С.* Казнь (1905).

тическое по преимуществу. В настоящее время гражданской войны оно может и должно быть облечено лишь в форму единоличной диктатуры. (…) Мы фатально возрождаемся. Сама история властно вызывает нас из хаоса к новому величию».[19]

Именно государственное могущество в идеологии Устрялов становится главной целью любого политического режима и критерием его оценки. И обе противостоящие силы — белые и красные — одинаково получают его признание как полноценные государственные силы. Устрялов даже исподволь (или сознательно) переходит на язык большевистской символики.[20] Процесс распада России на национальные государства, пишет Устрялов в очередной передовой статье своей газеты,

«в корне преодолен, органически изжит обеими историческими силами современной России. Революция, в лице советской власти, пришла к жесточайшему и непреклоннейшему централизму, перед которым бледнеет даже "классический" доселе пример якобинцев. С другой стороны, государственный ренессанс страны протекает определенно под знаменем великодержавия, возрождения "Великой России" (…). Расколотая внутренней гражданской войной, Россия едина в одном: в державной широте своих стремлений, в своей напряженной воле к жизни и к власти».[21]

Первую резкую грань между собой и ещё вполне активно действующим на территории России белым движением — антисоветской государственностью в белом Крыму и Таврии — Устрялов провёл ещё 24 февраля 1920 года в статье «Интервенция», которая затем вошла в его дебютный сборник «В борьбе за Россию». Белый плацдарм не только не мог бы существовать без иностранной поддержки, но и вполне рассчитывал на агрессивные планы Польши против Советской России, ставящие себе целью отчленение от исторической России Белоруссии и Украины. Но Устрялов писал:

19 *Н. Устрялов*. Русское дело // Русское дело. Омск. № 1. 5 октября 1919. С. 1. Именно в этой газете появляется имя будущей знаменитой книги Устрялова — в одной из его передовых статей: *Н. У*. Борьба за Россию // Русское дело. Омск. № 9. 16 октября 1919. С. 1.

20 «В гражданской борьбе ни компромисса, ни пощады быть не может. Чтобы не погибнуть и не погубить свое дело, нужно покончить со всякою сантиментальностью. Идет последний, решительный бой» (*Н.У*. Без маски // Русское дело. Омск. № 15. 25 октября 1919. С. 1). Ср. с «Интернационалом» — официальным гимном РСФСР/СССР в 1918–1944 годах: «Это есть наш последний и решительный бой».

21 *Н. Устрялов*. Обреченные // Русское дело. Омск. № 5. 10 октября 1919. С. 1.

«Я положительно затрудняюсь понять, каким образом русский патриот может быть в настоящее время сторонником какой бы то ни было иностранной интервенции в русские дела. (...) продолжение междоусобной борьбы, создание окраинных "плацдармов" и иностранные интервенции нужны и выгодны лишь узкоклассовым, непосредственно потерпевшим от революции элементам. Интересы же России здесь решительно не при чём».

Особый смысл этому выступлению придавало то, что буквально за неделю до него Советская власть предприняла первую попытку сформировать манифест лояльной, но очевидно *не коммунистической* интеллигенции, чтобы вокруг него развернуть целую пропагандистскую кампанию. Речь идёт о тщетной попытке с помощью опубликованной в «Известиях ВЦИК» 18 февраля 1920 года «Декларации трудовой интеллигенции» нейтрализовать антисоветскую активность политического класса в русской эмиграции и глухое сопротивление интеллигенции подсоветской. Составленная, несомненно, советскими пропагандистами, «Декларация» эта гласила в гораздо более осторожном тоне:

«Можно не соглашаться со многим происходящим в России и подлежащим безусловному осуждению, но необходимо, чтобы отрицательные явления временного и преходящего характера не заслоняли от русской интеллигенции всего русского народа, для облегчения страданий которого следует идти по пути уступок, не останавливаясь ни перед какими личными жертвами. (...) современное положение вещей повелительно требует:

1) Прекратить поддержку вооруженного вмешательства в исключительно внутренние дела России...»[22]

После октябрьского переворота 1917 года главным упрёком, который предъявил Струве к понимаемым им как единый процесс февральской и октябрьской революциям, был равный упрёк либералам и социалистам в создании антигосударственного хаоса, в необратимом для правящих революционных режимов разрушении государственности и народного хозяйства страны, в истинной «контрреволюции» против промышленного, политического и социального прогресса, погружающей Россию в архаику. Это было первейшее и на всю оставшуюся жизнь доминирующее впечатление Струве от революций

22 *М.А. Колеров.* На пути к лояльности: «Декларация трудовой интеллигенции» (1920) // Русский Сборник: Исследования по истории России. Т. VI. М., 2009. С. 174. В настоящем сборнике опубликовано под названием: Школа лояльности: «Декларация трудовой интеллигенции» (1920).

1917 года, которое даже поначалу мешало ему признать за ними право называться почитаемым им именем «революций», особенно права на столь дорогую для победивших в феврале либеральных и бюрократических англоманов аналогию с британской «славной революцией». Он писал: «Если рассматривать события 1917 г. независимо от всей предшествующей эпохи, то им, конечно, нельзя дать почётного титула революции. Это солдатский бунт, "из политики" принятый интеллигенцией страны за революцию, в надежде превратить бунт в революцию. Надежда эта не оправдалась, и бунт превратился не в славную революцию, а в грандиозный и позорный *всероссийский погром*. Но этот всероссийский погром есть, с более глубокой исторической точки зрения, лишь эпизод в движении, которое началось не в 1917 г. и не кончится в этом году. Русская революция ведёт своё начало не от петербургского солдатски-рабочего бунта февраля-марта 1917 г., постепенно разросшегося во всероссийский погром, нами переживаемый, и этим погромом не закончится. Русская революция началась гораздо раньше. Её начало, по меньшей мере, следует отнести к 1902 г.», то есть к тому моменту, когда сам Струве был направлен русской социал-либеральной коалицией в эмиграцию создать нелегальный орган «Освобождение», вокруг которого к концу 1905 года создалась конституционно-демократическая партия, пришедшая к власти в марте 1917 года. «Но если всероссийский погром 1917 г. угодно называть русской революцией, — резюмировал Струве, — то я скажу прямо: главным преступлением старой власти является именно то, что она подготовила эту революцию и сделала её неизбежной. Справедливость, однако, требует прибавить: в этом преступлении соучаствовала вся прогрессивная русская интеллигенция тем безразборчивым и безрассудным характером, который она придала своей борьбе со старым порядком, в частности после событий 1905 г.»[23]

Так с первых залпов радикальной, идейной контрреволюции (из любви к парадоксам и исторической лояльности к самому имени (подлинной) *революции*) был показан её антифевральский и в этом смысле антидемократический горизонт, отрицающий либеральную, февральскую альтернативу октябрьскому большевизму как хаосу, то есть перспективу диктатуры, альтернативной большевистской диктатуре, если не перспективу монархизма (к которому в эмиграции в середине 1920-х быстро эволюционировал Струве), противопоставленного равно либерализму и социализму.

Устрялов непрерывно следил за политическим творчеством Струве, отыскивая в нём санкции для собственной эволюции. Уже в своей омской газе-

23 *Петр Струве*. В чём революция и контрреволюция? Несколько замечаний по поводу статьи И.О. Левина // Русская Мысль. Пг., 1917. Кн. XI-XII. II отд. С. 57, 60–61.

те он опубликовал отрывок из письма-обзора внутреннего положения стран Запада Струве к Устрялову от мая 1919 года о заинтересованности Запада в расчленении России.[24] В горячке Гражданской войны Струве, абсолютно уверенный в неспособности большевиков к государственному строительству, выступил с заявлением, о котором, наверное, впоследствии не раз пожалел, но о котором, к счастью для Струве, никто из его оппонентов и даже оппонентов-продолжателей, как Устрялов, не смогли вспомнить. Струве затвердил в декабре 1919 года (а уже в феврале 1920 года, не ведая этого, с него практического отчёта потребовал Устрялов за эти слова): «Если бы большевизм, как некогда французский якобинизм, объединял и сплачивал Россию, а не разлагал и разрушал ее, русские патриоты, каковы бы ни были их воззрения на внутренние вопросы, их политические и социальные симпатии, нашли бы пути соглашения с большевизмом».[25]

След Струве легко найти и в самой формуле национал-большевизма. Принято считать вслед за М.С. Агурским, что формула рождена в Германии (и известное письмо Устрялова к Струве от 15 октября 1920 года вроде бы это подтверждает: «я занял здесь весьма одиозную для правых позицию “национал-большевизма” (использование большевизма в национальных целях. Кажется, в современной Германии такая точка зрения тоже высказывается некоторыми)».[26] М.С. Агурский в привычной ему манере трактовал эти предвосхищения расширительно, словно немецкие коммунисты Г. Лауфенберг и Ф. Вольфгейм, ставшие в 1918 году — в русской терминологии — «оборонцами», каковыми многие русские социал-демократы во главе с Г.В. Плехановым стали, как известно, ещё в 1914 году — дали Карлу Радеку в 1919 году повод назвать их «национал-большевиками», что якобы было повторено Лениным в его брошюре «Детская болезнь “левизны” в коммунизме»,[27] увидевшей свет в Петрограде в июне 1920 года и написанной в апреле-мае. Однако Ленин, чью брошюру Устрялов, конечно, прочёл, не использовал словосочетания «национал-большевизм»! В его работе говорится лишь следующее: «Недостаточно отречься от вопиющих нелепостей «национального большевизма» (Лауфен-

24 Из письма П. Б. Струве // Русское дело. Омск. № 14. 22 октября 1919. С. 1.

25 *Петр Струве.* Откровенное слово // Великая Россия. Севастополь, 13 (26) декабря 1919 года. Цит. по: ГА РФ. Ф. 5912. Оп. 2. Д. 182. Л. 73.

26 Полный текст этого письма: *Н.В. Устрялов*. Национал-большевизм. Избранные статьи 1920–1927 гг. / Сост. М.А. Колеров. М., 2017. С. 381–382. Первое упоминание об этом письме Устрялова в исследовательской литературе: *Глеб Струве*. Русская литература в изгнании [1956]. Изд. 3-е, испр. и доп. / Сост. К.Ю. Лаппо-Данилевский. Париж; М., 1996. С. 37, прим. 8.

27 *М. Агурский*. Идеология национал-большевизма. Paris, 1980. С. 62, 63.

берга и др.), который договорился до блока с немецкой буржуазией для войны против Антанты, при современных условиях международной пролетарской революции». Это сочетание укрылось только в замечаниях Ленина по национальному вопросу, сделанных 25 июля 1920 года, то есть после публикации брошюры, и впервые напечатанных лишь в 1942 году: «Verzeihung, Sie verfallen in «Nationalbolschewismus», indem Sie Deutschland für die einzige Nation in der Welt betrachten (простите, Вы впадаете в «национал-большевизм», рассматривая Германию как единственную нацию в мире)».[28]

Значит, надо предположить, что Устрялов вряд ли читал выступление К. Радека 1919 года и не мог найти эту формулу у Ленина, а опирался на «точку зрения» и логику словообразования непосредственно самих немецких понятий, легко подарившую ему имя национал-большевизма (Nationalbolschewismus). Для этого Устрялову было достаточно быть лишь образованным сыном своего времени и русской культуры, каковым он, несомненно являлся. Дело в том, что даже для самих немецких политиков шаблоном (или прецедентом) для образования понятия Nationalbolschewismus служило существовавшее ещё с конца XIX века и активное и в начале XX века название Национал-либеральной партии (Nationalliberale Partei), давшее жизнь довольно распространённой в русской политической мысли формуле «национал-либерализма» (Nationalliberalismus). «Я национал-либерал, либерал почвы, либерал земли», — декларировал в дневнике юный Струве.[29] И уже взрослый Струве писал исчерпывающе ясно о применении этой формулы к русской идейной истории, о либерально-консервативном мыслителе А.Д. Градовском: «недаром литературные противники из крайнего лагеря окрестили его русским национал-либералом — наименование, которое носит националистический либерализм немецкой буржуазии».[30] След *национал-либерализма* в этом терминологическом ряду заметил и М.С. Агурский, но не придал ему значения, когда цитировал старого просвещённого марксиста и правящего советского идеолога А.В. Луначарского, в 1922 году выступившего с анализом социально-политической природы «сменовеховцев», словно она не была рукотворной, буквально созданной советской пропагандой: «Это национал-либералы, порою почти национал-консерваторы на славянофильской подкладке...»[31]. Да и сам Устрялов выстраивал свой национал-больше-

28 *В.И. Ленин.* Полное собрание сочинений. Т.41. М., 1981. С. 60, 458–459.

29 *М.А. Колеров.* Юношеский дневник П.Б. Струве (1884) // Исследования по истории русской мысли [8]: Ежегодник за 2006/2007 год. М., 2009. С. 350.

30 *П.И. [П.Б. Струве].* А.Д. Градовский, как публицист // Северный Курьер. № 9. СПб., 9 (21) ноября 1899. С. 1.

31 *М. Агурский.* Идеология национал-большевизма. С. 160.

визм, прозрачно отталкиваясь от неудачи русского национал-либерализма: «наполеоновский мундир, готовившийся для Колчака русскими национал-либералами, не подошел к несчастному адмиралу» («О верности себе», 4 мая 1920 года). И известный Устрялову А.В. Карташёв, выступая в столь же известной Устрялову кадетской аудитории, в сентябре 1921 года призывал «разойтись и разделиться на национал-либералов и радикал-демократов».[32]

Возвращаясь к известному письму Устрялова Струве от 15 октября 1920 года о *национал-большевизме*, следует отметить, что первейший в России знаток немецкой политической сцены Струве, прославивший его в русской политической аудитории и тем сделавший ему первоначальную громкую рекламу — сделал это именно в *берлинской* русской газете «Руль». Надо сказать, что Струве сделал это тогда довольно терпимо, что принципиально отличается от его же изначально резко отрицательной реакции на евразийство.[33] Струве назвал национал-большевизм Устрялов «наиболее интересной» попыткой преодолеть идейный кризис и отмести белое движение. Он вспоминал, как в ноябре-декабре 1920 года «в момент крушения крымского фронта пишущий эти строки получил письмо от Н.В. Устрялова с изложением национал-большевистской точки зрения, а несколько позднее и сборник статей “В борьбе за Россию” (Харбин, 1920 год)». Цитируя письмо Устрялова, Струве заключал:

> «Первые месяцы после крушения крымского фронта, совпавшие с некоторой экономической “передышкой” в Советской России, ознаменовались наибольшими духовными завоеваниями “национал-большевизма”. Именно эта мотивировка “соглашательства” и “примиренчества” имела до самого последнего времени наибольший успех среди сторонников белого движения. (…) Национал-большевики, в лице Устрялова, полагают, что большевизм осуществляет национальное призвание наперекор своей собственной антинациональной идеологии. Ссылками на идеологию большевиков вообще нельзя опровергнуть национал-большевизм. Его необходимо поставить на очную ставку с реальным содержанием и с реальными результатами большевистской политики. (…) угаданная “Вехами” русская революция осуществилась и опустошила русскую землю».[34]

32 Журнал заседания Константинопольской группы партии народной свободы от 10 сентября 1921 года // Протоколы заграничных групп Конституционно-демократической партии. Июнь-декабрь 1921 г. / Сост. Н.И. Канищева. М., 1997. С. 276.

33 *М.А. Колеров*. Петр Струве. [Набросок рецензии на сборник «На путях. Утверждение евразийцев. Книга вторая» (1922)] // Исследования по истории русской мысли [1]: Ежегодник за 1997 год. СПб., 1997.

34 *П. Струве*. По существу. III // Руль. Берлин. № 191. 6 июля 1921. С. 1–2. Ср.: П. Струве. Историко-политические заметки о современности // Русская Мысль. София, 1921. Кн. V-VII.

4

Решив для себя задачу морального примирения с тем выбором, который сделала Россия, превратившись в Советскую, и приняв на себя полноту политической ответственности за первое признание поражения Белого дела в Гражданской войне, Устрялов, однако, не хотел оставаться в идейном одиночестве и с самого начала приложил публичные усилия к тому, чтобы разделить идейное отцовство в порождении национал-большевизма со своим коллегой по белому правительству Верховного правителя адмирала Колчака, его министром иностранных дел Ю.В. Ключниковым, который уже в 1921 году стал главным политическим лицом и бенефициаром «Смены Вех». И почти сразу — главным политическим могильщиком этого проекта, превратившим его в инструмент своего личного трудоустройства в РСФСР/СССР.

Историю своей эволюции Устрялов начинал с дуэта, вспоминая разговор с Ключниковым в ноябре 1919 года, ещё в рядах правительства Колчака, о том, видимо, что именно делает в России антимонархическую и антифеодальную (буржуазно-демократическую) февральскую революцию 1917 года необратимой:

> «Ключников: «Победа нашего движения утвердит революцию». Устрялов: «А вдруг победят *они*? Что тогда? Умирать вместе со старым миром?» Ключников: «Ну, нет… Если победят они, значит они нужны России, значит, история пойдёт через них… Во всяком случае мы должны быть с Россией… Что же — встретимся с большевиками!»… Устрялов: «Можно ли, не изменяя себе, "встретиться с большевиками"?»[35]

«*Можно ли, не изменяя себе, "встретиться с большевиками"?*» Можно ли не капитулировать идейно перед большевиками, которые представляют победившую государственную власть? Как, оставаясь государственниками, то есть сторонниками самодостаточной «мистики государства», пойти на соглашение с большевиками, не переставая быть их противниками? Наверное, только вступая с ними в критическую коалицию, разделяя с ними практическую власть. Пойдут ли на это большевики? Пока они прагматически идут лишь на соглашение ради ослабления непримиримой белой эмиграции, выступающей за экономическую блокаду и военную интервенцию великих держав против России.

35 *Н.В. Устрялов*. 1919-й год. Из прошлого / Публ. А.В. Смолина // Русское прошлое. Кн. 4 / Гл. ред. В.Г. Бортневский. СПб., 1993. С. 196–197. Ср. с текстом статьи Устрялова: «Если победят они, значит, они нужны России, значит, история пойдет через них… Во всяком случае, мы должны быть с Россией. Что же, — встретимся с большевиками!» («Вперед от Вех!» («Смена Вех». Сборник статей. Прага, 1921 год)).

Все эти вопросы, однако, поставил перед Устряловым, мучительно боровшимся против идейного одиночества, ещё до ноября 1919 вовсе не Ключников, а сам Устрялов, на деле задокументировавший свой собственный путь к измене «Вехам» и смене вех в дневнике: март 1919 — «Да, великая русская революция достойна Великой России!..»; май 1919 — «Большевики — как затравленные звери, умирают, но не сдаются. Честь им и слава!... за Россию всё спокойнее. Откровенно говоря, её будущее обеспечено — вне зависимости от того, кто победит — Колчак или Ленин»; июль 1919 — «величайший человек современности (тоже, к гордости нашей русской [как Колчак]) Ленин»; август 1919 — «Был бы смысл в победе большевиков, в объединении ими всей России. Но ведь этого нет!»; январь 1920 — «Большевизм побеждает, победит — я, по крайней мере, в этом почти не сомневаюсь. Он объединит Россию — честь ему и слава!... Помню, как-то в беседе с Ключниковым... он ещё говорил — "ну, если увидим, что ошибались — придёт время и встретимся с большевиками"... Он, может быть, прав, я соглашался... да здравствует Советская Россия!».[36]

Тем временем, действуя уже в публичной сфере, Ключников в 1920 году составил и издал в Париже радикально антибольшевистский сборник о России с участием Струве, который дал в него текст «Большевизм и Ленин», соединив воинствующую контрреволюционную агитацию с личными отталкивающими воспоминаниями о «палаче-аскете» Ленине[37]. После начала крупномасштабной агрессии Польши против Советской России на Украине (Киев был взят поляками уже 7 мая), поддержанной Врангелем и, разумеется, главой врангелевской дипломатии Струве, острейший вопрос о цене белой борьбы против большевиков, поддержанной империалистическими интересами Англии, Франции, Польши, Румынии, Японии против России, стал центральным для любой русской государственной мысли. Перед своими бывшими партийными товарищами Струве выступал с прямым призывом помочь империалистической агрессии, считая её агрессией против большевиков, а не России: «продвижение армии на север является настоятельной необходимостью. Этому в настоящий момент благоприятствует польское наступление, и с этой точки зрения поляки являются нашими военными союзниками».[38]

36 *Н.В. Устрялов*. Белый Омск. (Дневник колчаковца) / Публ. А.В. Смолина // Русское прошлое. № 2 / Гл. ред. В.Г. Бортневский. СПб., 1991. С. 293, 302, 305, 307, 325–326.

37 Менее чем через два года эту статью Струве Ключников упоминал уже в своей примитивной апологии Ленина, написанной по заказу большевиков: *Ю.В. Ключников*. На великом историческом перепутье [в оригинале: «перепутьи»] [1922] / Сост. О.А. Воробьёв. М., 2006. С. 151.

38 Заседание Комитета [Парижской группы партии народной свободы] 29 мая 1920 г. // Протоколы заграничных групп конституционно-демократической партии. Май 1920 г. — июнь 1921 г. / Сост. Н.И. Канищева. М., 1996. С. 15.

Устрялов писал об этом иначе:

«Русская интеллигенция боролась против большевизма по многим основаниям. Но главным и центральным был в ее глазах мотив **национальный**. Широкие круги интеллигентской общественности стали врагами революции потому, что она разлагала армию, разрушала государство, унижала отечество. (...) Большевизм не без основания связывался в общественном сознании с позором Бреста, с военным развалом, с международным грехом — изменой России союзникам. Так было. Но теперь обстановка круто изменилась. Брестский договор развеян по ветру германской революцией вместе с военной славой императорской Германии. (...) Но, главное, большевикам удалось фактически парировать основной национальный аргумент, против них выставлявшийся: они стали государственной и международной силой, благодаря несомненной заразительности своей идеологии, а также благодаря своей красной армии (...) И когда мне приходится читать теперь о боях большевиков с финляндцами, мечтающими «аннексировать» Петербург, или с поляками, готовыми утвердиться чуть ли не до Киева, или с румынами, проглотившими Бессарабию, не могу не признаться, что симпатии мои — не на стороне финляндцев, поляков или румын... (...) теперь уже нет выбора между двумя лагерями в России. Теперь нужно выбирать между Россией и чужеземцами» («О верности себе», 4 мая 1920).

Устрялов 25 сентября 1920 года, ещё до падения врангелевского Крыма, «выдавал» Струве с головой, обезоруживая его претензии к нему, идейному наследнику и продолжателю, обнажающему если не ответственность, то бессилие Струве в пределах своей политической философии обосновать отвержение большевизма образца 1920 года. Устрялов писал, и Струве нечего было ему ответить:

«Ещё весной прошлого года П.Б. Струве прислал из Парижа в Омск пишущему эти строки следующие золотые слова: “Самое пристальное внимание и здесь, и в России должно быть обращено на противодействие силам, стремящимся закрепить слабость и расчленение России. Борьба с большевизмом не может вестись за счёт силы и единства России”. Я доселе свято помню и незыблемо храню этот драгоценный завет давнишнего властителя моих политических дум. Но сам он ныне словно отрекается от этого завета, изменяет ему ради борьбы с большевизмом, ставшей самоцелью, поощряя всяческие

сепаратизмы, менажируя кавказские “государства”, помогая Польше, вступая в разговоры даже с Петлюрой, даже чуть ли не уступая румынам Бессарабию… Грустно»[39].

В те же дни, 15 сентября 1920 года, он, внешне прощая соучастие Врангеля и Струве в польской агрессии, оправдывал их антибольшевистский (и антигосударственный) радикализм нравственным романтизмом и утверждал своё понимание политической нравственности как признания силы (государственной мощи[40]), подходя к обвинению Врангеля и Струве в предательстве (как продолжателей Курбского) и признавая, что его, Устрялова, путь — не более чем *жертва*.[41]

39 *Н.В. Устрялов.* Зелёный шум [1920] // Избранные труды / Сост. В.Э. Багдасарян, М.В. Дворковая. М., 2010. С. 143–144.

40 Непременная для Струве (по его словам, позаимствованная в британской традиции, но громче звучавшая у авторитетных для России в начале XX века Вернера Зомбарта и Макса Вебера) идея государственной мощи прямо воспроизводится и Устряловым как требование и как фактор признания большевиков: «Только бы Россия была мощна, велика, страшна врагам. Остальное приложится» («Из записной книжки 1920 года»). Вскоре Устрялов сформулировал это вполне цинично: «Сущность кризиса состоит именно в отказе небольшевистской общественности от самостоятельной **политической** роли при нынешних обстоятельствах и в добровольном согласии активно и честно работать в деле восстановления России **под знаком наличной власти**» («Смысл встречи (Небольшевистская интеллигенция и советская власть)», 12 февраля 1922).

41 Устрялов писал: «я отчетливо вспомнил наше последнее свидание с ним в Омске, в начале февраля 19 года. …Ключников: — … мы должны принести в жертву себя… — Да, я тоже так думаю» («Вперед от Вех!» («Смена Вех». Сборник статей. Прага, 1921 год)). Как бы ни верил (напрасно: Устрялов был расстрелян в СССР 14 сентября 1937 года, а Ключников — 10 января 1938-го) в свою счастливую карьерную судьбу Ключников, он говорил ещё до возвращения: «Мысль о жертвенном возвращении в Россию нужна» (Протокол заседания Парижской группы партии народной свободы 7 июля 1921 // Протоколы заграничных групп Конституционно-демократической партии. Июнь-декабрь 1921 г. / Сост. Н.И. Канищева. М., 1997. С. 77). О жертве позже писал и один из видных евразийцев: «В современности героическое состоит в величайшем самопожертвовании во имя идеала. Таким идеалом может быть отнюдь не *личный* “наполеоновский идеал”. Напротив, идеал, к которому надо стремиться и который надо создавать, — должен быть *общий*, всенародный идеал. А призыв к самопожертвованию относится опять-таки не к какому-то “герою русской революции” — а к каждому из нас, к каждой отдельной личности, живущей в современности. (…) Россия без нас проживёт. Но вот — проживём ли мы без России? Но жить вместе с Россией — это и значит идти по пути героическому» (*К.А. Чхеидзе.* Героическое в современности [1931] // Константин Чхеидзе. Путник с Востока: Проза, литературно-критические статьи, публицистика, письма / Сост. А.Г. Гачева. М., 2011. С. 346).

«Романтизм в политике есть великое заблуждение, вредное для цели, которую она должна осуществлять, — вредное для блага родины. (...) Нравственная политика есть реальная политика. (...) Ген. Врангель отказался пожать протянутую руку Брусилова, хотя она была протянута во имя России. И не только отказался, но в ответ на призыв примирения, согласно рекомендации французского генерального штаба, двинул свои войска на помощь полякам, чем, по-видимому, не только пролил достаточно русской крови, но и спас Варшаву. (...) Их путь фатально бесславен, каковы бы ни были они сами. (...) Тут они, скорее уже, напоминают кн. Курбского... Нет, нет, не они, националисты, творят ныне национальное дело, а полки центра под ненавистными красными знаменами. (...) путь примирения — тоже трудный, жертвенный путь, не сулящий каких-либо немедленных чудес. Но он настойчиво требуется теперь интересами страны» («Врангель»).

Несомненно, под впечатлением от польско-советской войны и харбинской публицистики Устрялова, так же ещё до падения врангелевского Крыма Ключников начал идеологическую кампанию внутри кадетской эмиграции, тщетно пытаясь перехватить у былого кадетского вождя П.Н. Милюкова инициативу формирования «третьего пути» в пользу фактического примирения с большевиками. 17 мая 1920 года Ключников говорил в кадетском собрании:

«сейчас большевики, борясь с поляками, защищают интересы России. И когда перед нами ставится вопрос — с кем быть, с большевистской Россией или с Польшей, мы должны ответить, что мы с Россией, хотя бы и большевистской. Поддерживая же Врангеля, мы будем поддерживать поляков. Кроме того, военные действия увеличивают в России анархию. И если нам при нынешнем положении вещей удастся свергнуть большевистский режим, который как-никак является единственной властью, успевшей пустить хоть некоторые корни в стране, будет ещё хуже, ибо тогда в стране не будет никакой власти. Поэтому необходимо отказаться от вооружённой борьбы. Что же касается вопроса о соглашении с большевиками, то это вопрос будущего. Теперь же мы должны лишь заявить большевикам, что мы прекращаем борьбу с ними и возвращаемся в Россию для культурной работы. Возрождение России начнётся лишь тогда, когда большевики поймут кадетов и кадеты большевиков. Тогда мы будем иметь на своей стороне трудящиеся массы всего мира».[42]

42 Извлечения из протоколов Парижского группы партии народной свободы [17 мая 1920 г.] // Протоколы заграничных групп конституционно-демократической партии. Май 1920 г. — июнь 1921 г. / Сост. Н.И. Канищева. М., 1996. С. 9–10.

Но Ключников в этом кадетском собрании остался в одиночестве. После падения врангелевского Крыма в конце 1920 года, весной-летом 1921 года Ключников вступил в переговоры с самими большевиками о конкретных услугах. Перед этим он вновь искал поддержки в партийной среде, концентрировавшейся в европейской эмиграции, которая вполне компетентно улавливала настроения. Правый кадет и политический националист, яркий деятель русского религиозно-философского возрождения, конфидент таких деятелей, как Новгородцев, Булгаков, Струве, Мережковский, бывший член Временного правительства А.В. Карташёв хорошо видел логику событий, вполне трезво оценивая перспективы идейной капитуляции. Он верно оценил прецедентную роль в этом формально далёкого Устрялова. Милюков свидетельствовал 9 февраля 1921 года, приводя слова Карташёва: «путь невооружённой борьбы фатально ведёт к соглашательству бессилия с силой. На продолжении этого пути находятся ультрафиолетовые к.д., которые говорят, как Устрялов, что есть только красная Россия…».[43] И прямо предупреждал партийцев о неизбежной капитуляции (как только они вступят в полемику с советским государством как государством, а не как с партийной стороной в Гражданской войне):

> «переход от вооружённой борьбы к идейной борьбе с большевиками логически приведёт к тому соглашательству с ними (не идейному, понятно), глашатаями и инициаторами которого являются Ключников, Устрялов и другие… Поэтому я продолжаю стоять за идею вооружённой борьбы и интервенции и буду работать в этом направлении».[44]

Фактически анонсируя свой план сборника «Смена Вех», 17 февраля 1921 года Ключников выступил с докладом «О новых задачах кадетизма» и предлагал партии «вступить с большевиками в договорные отношения», конечно, не ставя Устрялова об этом в известность:

> «Сущность кадетизма есть служение прогрессу в условиях данного момента. Моё отношение к большевизму и исходит из духа, а не буквы кадетизма. Я ясно вижу, что наиболее реальное будущее как раз у большевизма, и хотя он в России, вероятно, распадётся, но в мире будет духовно торжествовать. Необходимо поэтому добиваться, как исторически законного, мирного сосуществования либерализма с революционным боль-

43 Дневник П.Н. Милюкова. 1918–1921 / Сост. Н.И. Канищева. М., 2005. С. 648–649.

44 Протокол заседания Парижского комитета партии народной свободы 9 февраля 1921 г. // Протоколы заграничных групп конституционно-демократической партии. Май 1920 г. — июнь 1921 г. / Сост. Н.И. Канищева. М., 1996. С. 148–149.

шевизмом, и, вместо борьбы с ним, которая только его усиливала, взять из него всё хорошее в порядке эволюционного творчества... В подтверждение своих мнений докладчик цитирует затем полученные им в разное время письма от нескольких молодых (в возрасте от 30 до 35 лет) кадетов — Устрялова, Потехина и своего брата, а также ссылается на публичные выступления Коровина и Лукьянова»[45].

Но пока Ключников пытался, параллельно ведя переговоры с большевиками, договориться с кадетами, именно Устрялов прямо повышал градус идейной борьбы, надеясь перехватить знамя кадетского наследия не у «соглашателей» во главе с Милюковым, а у самого Карташёва. Он публично отвечал ему 15 мая 1921 года:

«Страшными словами нас не запугаете. Мы — бывалые воробьи, несмотря на нашу "наивную молодость", и у нас слишком хорошая школа ("Вехи", две революции), чтобы можно было нас провести на старой интеллигентской мякине "оппозиции" и пафоса гнева... (...) Государство имеет свою логику, свою «нравственность», примиряемую с нормами индивидуальной морали лишь на известной метафизической высоте. Государство в некотором отношении неизбежно "потусторонно к добру и злу", ибо его "добро" (а оно есть, и вполне реально) — в иной, несколько более углубленной или возвышенной плоскости. Я позволил бы себе по этому поводу припомнить прекрасные статьи гг. Муретова и Струве (их полемику с кн. Е.Н. Трубецким) о "морали и патриотизме", печатавшиеся в "Русской Мысли" в эпоху войны. Большой вопрос, что более "пресно" — личный ли "морализм", или мнимый "аморализм" государственной идеи» («Наша генеалогия»).

Нельзя сказать, что Струве, постоянно опровергаемый, уточняемый и всё равно привлекаемый в авторитетные предшественники и отцы догмы, настолько сузил своё сознание в ходе прямой военной и дипломатической борьбы против большевиков, что не видел пространства для этатистского признания большевизма. Он лишь упорно отрицал их государственные и экономические успехи, чтобы лишить их того главного, что могло оправдать их с точки зрения философии Струве — минимальной государственной эффективности. Струве было трудно смириться с тем, что этатизм «Вех» действительно послужил идейным прецедентом для хорошо выучивших идейные

45 Протокол заседания Парижского комитета партии народной свободы 17 февраля 1921 г. // Протоколы заграничных групп конституционно-демократической партии. Май 1920 г. — июнь 1921 г. / Сост. Н.И. Канищева. М., 1996. С. 162, 159–160.

уроки большевиков и для буквально воспитанных «Вехами» Устрялова и евразийцев. Особенно потому, что сам Струве в 1920-е годы в эмиграции не предложил русской мысли ничего кроме миметического монархизма и призывов к интервенции. Но Струве уже в 1920 году, ясно увидев вторичность, признал оригинальную преемственность евразийства и национал-большевизма[46]. Струве формулировал (первоначально для английского читателя) так, уже отступая перед «величием» и, видимо, пытаясь *подняться над красным и белым*:

> «В русской историко-философской мысли есть традиция противопоставлять Россию остальному миру, традиция особого исторического "призвания" России, её особой "учительской" миссии. (...) И рядом с этим та же самая формально мысль под совершенно другим знаком! Это идея воинствующего осуществления социализма, вера атеистическая, вера даже не в Царство Божие на земле, а в безбожное преодоление всего исторического... (...) для великих исторических процессов существенны не только психологическая форма и окраска, а духовное *содержание* (...) Русская революция есть именно историческое столкновение таких двух духовных содержаний, и борьба в ней политических идеалов и социальных стремлений есть в известном культурно-философском смысле лишь поверхностное выражение и отражение этого глубинного духовного столкновения. (...) Отсюда — возникновение в наше время в России гибридных идеологий, которые представляют либо приспособление старых построений к новой исторической обстановке, либо попытки даже объединить как-то те два противоборствующих начала, в столкновении которых заключается духовное содержание русской революции. (...) К гибридным формам идеологий, порождённых революцией, принадлежат т.н. "евразийство" и т.н. "национал-большевизм". (...) Национал-большевизм является попыткой идеализации большевизма с национальной точки зрения. В основе этой идеализации лежит предположение, что национальная стихия большевизма не только не совпадает с его интернационалистически-коммунистической идеологией, но действует даже в прямо противоположном смысле. (...) Действительность не даёт никаких опорных пунктов для национальной идеализации большевизма».[47]

46 В 1922-м, публикуя уже готовую статью об этом, Струве обоснованно не стал придавать отдельного идейного смысла «сменовеховству», упоминая этот сборник лишь в тени национал-большевизма.

47 *Петр Струве*. Россия // Русская Мысль. Прага, 1922. Кн. III. С. 102, 103, 104, 105–106 (статья датирована 20 февраля 1920 года, но ясно, что тогда ни евразийства, ни национал-большевизма, ни «сменовеховства» просто не было — и ссылки на них были добавлены позже, скорее всего, в конце 1921 года).

Поступив на службу к большевикам, но не порывая кадетские связи — сначала в качестве заурядного писателя в примитивные, откровенно продажные просоветские рептильные заграничные газеты, — Ключников использовал новую трибуну для сведения счётов внутри кадетской партии. Первая же статья Ключникова в прямо издаваемой по решению Политбюро РКП(б) советскими агентами газете «Путь» (комментарий к ней от «редакции», тоже, видимо, написанный самим Ключниковым, сообщал, что автор уже с 1919 года пришёл к «сознанию необходимости признания Сов. власти и примирения с нею»[48]) излагала всё те же внутрикадетские дискуссии, но уже в антураже нужд советской власти и, главное, с прямо выраженным предложением о продаже группы творцов «нового русского политического сознания»:

> «С некоторых пор в русских *либеральных* кругах, особенно заграницей, начало складываться новое весьма серьёзное течение. Для него придумано же несколько названий: «пробольшевизм», «соглашательство», «примиренчество». По личным и географическим признакам его иногда называют «гредескуловщиной» (в России), «ключниковщиной» и «лукьяновщиной» (в Париже), «устряловщиной» (в Харбине). Чисто внешние причины мешают пока этому течению сделаться стихийным, открытым и решающим для современного русского самосознания… Кто же они, подготовители и носители нового русского политического сознания? По-преимуществу, люди в 30–35 лет — профессора, приват-доценты, адвокаты, врачи, художники, писатели, артисты и журналисты, словом, все те, из кого обычно составлялся до сих пор «цвет русской интеллигенции»…»

Не стесняясь едва ли не текстуального совпадения с, впрочем, давно забытой «Декларацией трудовой интеллигенции» (февраль 1920 года), Ключников тут же излагал программу «нового русского политического сознания»:

> «1. Будущее России всецело определится, с одной стороны, взаимоотношением между русскими силами, действующими в самой России, а, с другой стороны, общим международным положением. (…) 4. Насильственное свержение существующего советского строя не обещает ничего, кроме разгула — ужасающей анархии. Ввиду этого всякие попытки искусственно прервать органический процесс перерождения России подлежат осуждению, а всеобщие усилия должны быть направлены на содействие здоровой эволюции нового политико-социального режима. 5. Необходимо всячески

48 *Ю.В.* Логика примирения // Путь. № 109. Гельсингфорс, 3 июля 1921. С этой статьи можно прямо датировать поступление Ключникова на секретную советскую службу.

содействовать скорейшему экономическому возрождению России, применяясь к современным условиям русской действительности и к основаниям, выявившимся в процессе русской революции. Ввиду этого совершенно недопустима политика, направленная к экономической изоляции России. 6. Восстановление экономических сил России и возвращение её к участию в международном общении необходимо не только для самой России, но и для разрешения кризисов, переживаемых ныне большинством стран».[49]

Тогда же, судя по всему, акт покупки Ключникова большевиками и состоялся. Устрялов понял это не сразу, несмотря на все сообщения прессы. И каждый новый конфидент всё более цинично открывал ему глаза на суть проекта. Глава «сменовеховского» журнала «Новая Россия» И.Г. Лежнев откровенно, как, вероятно, участнику проекта, сообщал Устрялову 15 октября 1923 года из Петрограда об изначальной «субсидной зависимости» его издания от большевиков.[50] Лично посетив Москву летом 1925 года и познакомившись со всей историей проекта, Устрялов искал слова, чтобы печатно выразиться не слишком нелояльно. В его словах звучала катастрофа: «Как и опасался, впечатление весьма плачевное. Познакомился непосредственно и с историей течения, его внутренними пружинами и внешними проявлениями, его эволюцией, похожей на вырождение...»[51]. В дневнике в августе 1925 года Устрялов записал

49 *А.В. Квакин*. Между белыми и красными. Русская интеллигенция 1920–1930 годов в поисках Третьего Пути. М., 2006. С. 39–40.

50 *А.В. Квакин*. Между белыми и красными. С. 12. Внешне большевикам удавалось какое-то время сохранять для этого журнала репутацию *несоветского*. Тому иллюстрацией следующая история, потребовавшая вмешательства высшего большевистского руководства. Петроградский исполком (из-за статьи «Эмансипация Советов» в № 2 журнала) закрыл это издание. Ленин писал Ф.Э. Дзержинскому 19 мая 1922 года: не рано ли закрыта «Новая Россия»? Политбюро ЦК РКП(б) 26 мая 1922 года приняло постановление о разрешении журнала «Новая Россия» и отмене его закрытия. Но глава петроградских большевиков Г.Е. Зиновьев писал Сталину 30 мая с просьбой пересмотреть решение Политбюро и всё же закрыть «Новую Россию». Новое постановление Политбюро от 1 июня 1922 года подтвердило разрешение журнала на условиях изгнания из него меньшевиков. 7 июня глава советской цензуры Н.Л. Мещеряков сообщил в секретариат Политбюро о том, что нашёл с Зиновьевым и редакцией согласие о разрешении нового журнала взамен «Новой России», «если конфискованный № 2 журнала (из которого статья «Эмансипация Советов» была уже перед этим была вырезана) разрешить им выпустить в виде сборника, переменив только обложку и заменив вырезанную статью новой». 8 июня Президиум ВЦИК согласился с этим решением (Большая цензура: Писатели и журналисты в Стране Советов. С. 47–49).

51 *Н.В. Устрялов*. Россия (у окна вагона) // Н.В. Устрялов. Очерки философии эпохи [1926] / М., 2006. С. 212.

о московских встречах ещё яснее: «Встречался с Ключниковым несколько раз. Конечно, много говорили о «нашем течении», о сменовеховстве. Увы, оправдались худшие вести и характеристики. Ключников рассказывал, что и первый, пражский сборник готовился в обстановке достаточно неприглядной...»[52], ««Смена Вех» — парижский журнал — издавалась, оказывается, уже под непосредственным контролем большевиков, чувствовавших себя хозяевами журнала. Большевики давили слева. Усиливаясь, становились все более надменными. Сменовеховский лимон выжимался довольно быстрыми темпами».[53]

А пока уже 13 июля 1921 года Ключников зовёт Устрялова покинуть своё уединение в Харбине, поступить к нему в сотрудники и почти прямо сообщает, что нашёл в Советской России политический и финансовый источник для издания сборника «Смена Вех» и дальнейшего развития проекта (сборник — журнал — книга — газета):

> «Наша ставка... на Россию и эвентуально на серьёзные иностранные элементы... Кроме проезда я бы обеспечил Вам и первые 3 месяца скромного европейского существования — всё, разумеется, при условии, что мы не ошибаемся в нашем прогнозе и что правильна и полезна именно наша линия поведения. (...) Мои личные материальные дела обещают немного поправиться: заказы на сборник, предложение редактировать еженедельник, сотрудничество в ряде изданий и выпуск за сборником моей книги — позволят мне существовать в дальнейшем, не нуждаясь».[54]

Со страниц сборника «Смена Вех», вышедшего в свет в Праге, как указано на титуле, в июле 1921 года прозвучал призыв одного из авторов к русской политической эмиграции: «В Каноссу!» (так называлась статья С.С. Чехотина — он единственный из всех шести авторов книги умер своей смертью в Москве, уже при Брежневе). Судя по логике исторического примера (покаяние короля перед папой в Каноссе), речь шла о покаянии белой эмиграции перед красными, большевиками. Есть основание полагать, что этот громкий призыв тоже имел большевистское происхождение. Причем большевики здесь выступали

52 *А.В. Квакин*. Между белыми и красными. С. 124.

53 *Анастасия Гачева*. Философская эмиграция. Сменовеховство. С. 212–213, прим 97. См. также: *А.Н. Артизов*. Дневник Н.В. Устрялова писался не столько для души, сколько для возможных читателей из ежовского ведомства // Отечественные архивы. М., 1999. № 5.

54 Приложение. Из письма Ю.В. Ключникова Н.В. Устрялову 13 июля 1921 // Ю.В. Ключников. На великом историческом перепутье [1922] / Сост. О.А. Воробьёв. М., 2006. С. 190–191.

не как идейные предшественники, а как заказчики, диктующие исполнителям главные тезисы их текстов. Призыв «в Каноссу» впервые прозвучал уже в 1918 году, когда правящий советский куратор всей гуманитарной сферы, народный комиссар просвещения А.В. Луначарский заявил 21 апреля 1918 года на вечере «Искусство — народу» в Петрограде: «положение советской власти упрочивается с каждым днем… Интеллигенция почувствовала уже упрочение ненавистных ей большевиков и направляет свои стопы в большевистскую Каноссу».[55]

Несмотря на состоявшуюся сделку, Ключников с непонятной целью решил — уже на страницах большевистского издания — продолжить свою борьбу внутри кадетской партии (решил сам — если не получил прямое указание от большевиков), в статье без подписи изложив на страницах газеты «Путь» отчёт о мало кому известном (в силу малого числа участников) заседании парижской группы кадетской партии от 7 июля 1921 с обширным изложением его собственной речи, которая противопоставлялась докладу Милюкова как «истории противостояния кадетской партии и Ю.В. Ключникова». Статья завершалась громким диагнозом: «развал партии».[56] «Развал партии» кончился логичным изгнанием из нее самого Ключникова.[57]

5

В начале 1921 года в Зарубежной Европе одновременно стартовали три эмигрантские газеты, чьи редакции объединили кадры нерадикальной оппозиции большевикам, но чья редакционная линия «удивительным образом» полностью соответствовала большевистской пропаганде признания советской власти интеллигенцией и возвращения квалифицированных кадров в Россию: «Путь» (Хельсинки), «Новый путь» (Рига), «Новый мир» (Берлин). В исследова-

55 Литературная жизнь России 1920-х годов. События. Отзывы современников. Библиография. Т. 1. Ч. 1. Москва и Петроград. 1917–1920 гг. / Отв. ред. А.Ю. Галушкин. М., 2005. С. 168–169.

56 Развал к.д. партии // Путь. № 140. Гельсингфорс, 9 августа 1921.

57 После этой статьи в газете «Путь» Карташёв на заседании парижской группы партии 11 августа 1921 года поставил вопрос об исключении Ключникова из-за его сотрудничества в газете, «придерживающейся явно большевистского направления». После обсуждения этого вопроса 15 августа, по его итогам, Ключников 18 августа написал в комитет партии о выходе из группы (Протоколы заграничных групп Конституционно-демократической партии. Июнь-декабрь 1921 г. Сост. Н.И. Канищева. М., 1997. С. 191, 200–201; *А.В. Квакин.* Между белыми и красными. С. 43–46, 48–49).

тельской литературе их несомненная советская генетика ещё часто не проговаривается до конца, но по-прежнему секрет Полишинеля даже для иностранного исследователя, обнажившего их пропагандистскую суть исключительно по содержанию, не обращаясь к советским государственным документам.[58]

В сентябре 1921 года вышел из печати и сборник «Смена Вех» под редакцией Ключникова.[59] Ключников, развивая в своей статье ссылки на сборник «Вехи» (1909), включил в книгу и контаминацию национал-большевистских текстов Устрялова под названием «Patriotica», без сомнения, проводя прямую связь с известным предреволюционным сборником Петра Струве под таким же названием.[60] Другого наследия государственной либеральной и социалистической мысли, которая призывала бы подчиниться общенациональной государственности и подчинить ей свои революционные/контрреволюционные амбиции, кроме сборника «Вехи», в багаже русской мысли не было. Но и тот единственный, кто мог вступить на равных, со знанием дела, в конфликтный идеологический диалог с «Вехами» — Устрялов, — был использован в политико-экономическом предприятии «Смены Вех» практически заочно. Интересы Ключникова располагались в политической сфере.

Политическая и материальная история «сменовеховских» изданий была предельно проста: они были созданы по решению Политбюро ЦК РКП(б) на советские деньги, под непосредственным контролем советского полпреда в Берлине Н.Н. Крестинского. Ими стали журналы «Смена Вех» и «Новая Россия», а также газета под названием «Накануне», прямо отсылающим к еженедельнику «Накануне» первой половины 1918 года, где всё те же издатель Ю.Н. Потехин, авторы Ключников и Устрялов в согласии с Булгаковым и Струве призывали на борьбу с хаосом диктатуру.[61] Теперь первые диктатуру нашли, а последний отказался видеть в ней *правильную* диктатуру. Но вскоре редакции погрузились в склоки, борясь за статус наиболее радикального сторонника

58 *Юлитта Суомела.* Зарубежная Россия. Идейно-политические взгляды русской эмиграции на страницах русской европейской прессы в 1918–1940 гг. СПб., 2004. С. 148–152.

59 *Анастасия Гачева.* Философская эмиграция. Сменовеховство // А. Гачева, О. Казнина, С. Семёнова. Философский контекст русской литературы 1920–1930-х годов. М., 2003. С. 192.

60 *П. Струве.* Patriotica. Политика, культура, религия, социализм. Сборник статей за пять лет (1905–1910 гг.). СПб., 1911. При этом в современном «Смене Вех» контексте существовали и иные аналогии — в среде антисоветской эмиграции и советской пропаганды: *Николай Авксентьев.* Patriotica // Современные Записки. Кн. I. Париж, 1920; *Е.М. Ярославский.* Патриотика // Правда. Москва, 15 марта 1921.

61 *М.А. Колеров.* О еженедельнике «Накануне» (1918) // Исследования по истории русской мысли [2]: Ежегодник за 1998 год. М., 1998. С. 305–318.

большевиков и, конечно, деньги. Сборник «Смена Вех» выходит в свет в Праге летом 1921 года, осенью 1921-го начинает выходить еженедельник «Смена Вех» (сначала в Париже, затем в Берлине), в апреле 1922 года Советская Россия приняла официальное участие в Генуэзской конференции великих держав и их сателлитов, где большевики впервые выступили как единственная национальная власть, действующая в России, и на полях которой достигли политического и экономического признания со стороны новой, республиканской Германии. Красноречивой деталью этого события было то, что консультантом советской делегации в Генуе официально выступал Ключников — лидер «Смены Вех» и бывший министр иностранных дел антибольшевистского верховного правителя России адмирала Колчака.[62]

Под впечатлением от громкого скандала, учинённого изданиями «Смены Вех» в эмигрантской среде, председатель СНК РСФСР — Советского правительства — В.И. Ленин 1 декабря 1921 года инициировал в высшем большевистском руководстве Постановление Политбюро «О советских газетах заграницей»: «Дать т. Крестинскому следующую директиву: «Политбюро считает в принципе необходимым уничтожение советских газет заграницей, поскольку они прямо организованы органами советского правительства. ПБ просит Вас немедленно подсчитать все газеты такого рода, обсудить, нельзя ли оставить только одну, с гарантией того, что она будет вполне удовлетворительной, а также обсудить вопрос о возможности оставления только журнала «Смена вех» и об упорядочении регулярного получения московских советских газет».[63]

62 Другой автор «Смены Вех», С.С. Чахотин, стал по приглашению советского наркома внешней торговли Л.Б. Красина начальником отдела торгпредства РСФСР в Берлине, а в 1923 году был общественным обвинителем на суде над убийцами советского полпреда в Италии, члена советской делегации на Лозаннской конференции В.В. Воровского в Швейцарии.

63 Большая цензура: Писатели и журналисты в Стране Советов. 1917–1956 / Сост. Л.В. Максименков. М., 2005. С. 32–33. Логично, что внутри столь обильно финансируемого политического дела возникли и не прекращались склоки. Одна из них дошла до Ленина, и тот проявил ясное понимание того, что простая большевистская пропаганда сквозь рупор «Смены Вех» большевикам не нужна. Крестинский доносил Ленину из Берлина 10 декабря 1921 года (копия Каменеву): «Многоуважаемый Владимир Ильич, третьего дня приехал из Парижа В.Н. Львов ([журнал] Смена Вех). Он разошёлся с веховцами из-за их отказа печатать без изменений его более левые (*подчёркнуто Лениным и поставлен знак вопроса*) статьи и отчёты о его докладах. По его словам, его положение среди парижской эмиграции и вообще в Париже стало совершенно невозможным, и он предпочёл приехать сюда, чтобы открыто предложить свои услуги нам. Заявляет, что считает себя по своим политическим и социальным условиям большевиком, хотя остаётся глубоко религиозным человеком (*подчёркнуто Лениным и прокомментировано: «Ха-ха!»*). Хотел бы поехать в Россию

В марте 1922, накануне Генуэзской конференции, из печати в Берлине и появляется сочинение Ключникова «На великом историческом перепутьи», которое он писал, судя по его переписке, как откровение, душевно дрожа. Оно состояло из трёх частей: «Мировой консерватизм. — Германия и Вильгельм II», «Мировой либерализм. — Америка и Вильсон», «Мировая Революция. — Россия и Ленин». Свою книгу Ключников посвятил Устрялову («Посвящаю эту книгу дорогому другу Николаю Васильевичу Устрялову»), принудительно сделав его свидетелем своего крайне неудачного и фальшивого сочинения.[64] Устрялов, прочитав его, испытал плохо скрываемое омерзение и записал в дневнике 28 июля 1922 года:[65]

> «Прочел книжку Ключникова “На великом историческом перепутьи”. Хотя она и посвящена мне, но всю ее концепцию я ощущаю, как нечто глубоко мне чуждое, несоизмеримо далекое. Больше того: книга эта просто представляется мне неудачной, неинтересной. Основная схема ее, до уродливости искусственная и натянутая, в то же время идейно убога. “Мораль, право, политика — мировой консерватизм, мировой либерализм,

для того, чтобы пропагандировать среди интеллигентских и обывательских кругов в России, ещё не проделавших той эволюции, которую проделал он, необходимость признания и поддержки Советской Власти и, во-вторых, работать в области той или другой советской работы, хотя бы в деле укрепления свободы совести и проведения полного отделения церкви от государства (*отчеркнуто Лениным на полях и проставлен знак вопроса*). Решите вопрос: нужен ли он в России, и напишите или телеграфируйте. Сидит он, конечно, без денег, маленькую помощь мы ему здесь как-нибудь окажем, но надолго он здесь не нужен. По-моему, он, как и остальные сменовеховцы, могут больше пользы принести в России, в которой шире и благодарнее поле для их работы. С товарищеским приветом, Н. Крестинский». Комментарий Ленина для Политбюро: «15/12. т. Молотов. Прошу пустить вкруговую членам ПБ. Это — самый глупый из сменовеховцев, боюсь, не поможет, а навредит нам. Отложить до приезда Крестинского. Ленин». С предложением Ленина согласились Троцкий, Зиновьев, Сталин и Каменев. Постановление Политбюро было принято 21 декабря (Большая цензура: Писатели и журналисты в Стране Советов. С. 35).

64 Известна дарственная надпись автора на титульном листе этой книги одному из самых радикальных большевистских вождей: «Многоуважаемому Николаю Ивановичу Бухарину от автора. Берлин, 1923» (Инскрипты С.Н. Булгакова (1896–1912), Ю.В. Ключникова (1923), Г.Г. Шпета (1928), П.Б. Струве (1911–1942), В.В. Зеньковского (1955) / Публ. М.А. Колерова // Исследования по истории русской мысли [8]: Ежегодник за 2006/2007 год. М., 2009. С. 517).

65 Надо сказать, что и Ключников перестал нуждаться в Устрялове: «От Ключникова — ни строчки с самой Генуи», — записывал тот в дневнике 1 января 1923 года (*А.В. Квакин.* Между белыми и красными. С. 89). Встретились они лишь в Москве летом 1925 года, чтобы больше не видеться и не общаться.

мировая революция — Германия Вильгельма, Америка Вильсона, Россия Ленина". Философские рассуждения о морали, праве и политике совершенно кустарны, — даже трудно поверить, что они принадлежат человеку, прошедшему философскую школу. (…) Можно ли молчать дальше и делать вид, что все благополучно в сменовеховском королевстве?»[66]

Управляющий представитель советских собственников и кураторов в проектах «Смены Вех» П.А. Садыкер очень многозначительно акцентировал внимание в заурядном обзорном тексте на логическом единстве (и, значит, равном интересе большевиков к ангажированию) «сменовеховцев» и евразийцев, которые ещё не преодолели маргинального статуса. Он цитировал ещё одного эмигрантского юриста-международника, малоизвестного старшего коллегу Устрялова по Пермскому университету, находя в его брюзжании необходимый смысл: «"Смена Вех" это проявление шовинизма, разбуженного мировой войной. Это французская бравура, это Deutschland, Deutschland über alles… Она родственна Евразии. Евразия слева и справа сливаются. Не случайно, что во главе "Смены Вех" стоят Ключников и Устрялов. Им всё равно, на каком фланге стоять, им надо верить в мессианизм. Он перебросился налево — и они там».[67]

В своих первых номерах журнал «Смена Вех» — крайне неосторожно, если бы он хотел выглядеть частью политического класса русской эмиграции, и совершенно логично, если знать его стопроцентное советское происхождение и содержание, — демонстрировал свою принадлежность именно советской повестке дня и даже хорошо известной по названиям рептильной и кондовой просоветской прессе в Зарубежной Европе. Например, когда после дебюта «Смены Вех» в советской центральной и просоветской зарубежной печати[68] прозвучал залп монотонных приветствий, журнал аккуратно перепечатал его на своих страницах, демонстрируя не столько советское признание своего отнюдь не очевидного авторитета, сколько уже состоявшуюся прямую причастность к советской власти. Из «Известий» (13 октября 1921 года) была перепечатана статья их главного редактора, старого марксиста и крупного большевистского пропагандиста Ю.М. Стеклова. Он напоминал, что ещё 7 августа

66 Цит. по «Философскому хронографу»: runivers.ru/philosophy/chronograph/476416/

67 *П. Садыкер*. «Вехи смен» (Лекция проф. А.М. Горовцева) // Смена Вех. № 11. Париж, 7 января 1922. С. 20.

68 На новом пути // Новый мир. Берлин, 16 октября 1921; «Смена Вех» // Новый путь. Рига, 21 октября 1921; Идеология «второго дня» // Путь. Гельсингфорс, 25 октября 1921. Советские: *Н. Гредескул*. «Смена Вех» // Известия ВЦИК. М., 11 ноября 1921; Победит пролетарий! // Гудок. М., 15 октября 1921.

«чутко» анонсировал начало «перелома» и «отрезвления» в среде интеллигенции и что чутьё его не обмануло и «оформилось» в сборнике, авторы которого, неожиданно все ставшие «видными кадетами» (таковыми — недолго и в прошлом — были из них лишь Ключников и Устрялов), «проверив свою совесть, нашли в себе мужество разбить свои старые кумиры и придти поклониться молодому богу революции». И здесь же — эксплуатировал саму преемственность от старых «Вех», которую проекту невольно подарил сам Устрялов своей публицистикой 1920 года — так, что в 1921 году Ключников был обязан сделать её центром проекта. Коммунист Стеклов писал в своём наставлении (курсив Стеклова) о том главном, что хотел получить от проекта советский заказчик — нет, не идеологию великой державы, а капитуляцию — не перед государственностью, а перед революцией:

> «В 1909 году, после разгрома первой революции, группа кадетов и раскаявшихся интеллигентов выпустила нашумевший сборник "Вехи", вполне ренегатского пошиба. В этих "Вехах" авторы ставили крест на революцию (...) Воспоминание об этом акте самобичевания интеллигенции стояло перед авторами нового сборника, выпущенного в Праге в половине 1921 года, после разгрома контрреволюции. (...) чтобы преклониться перед величием революции, совершаемой угнетёнными классами...».[69]

И, не стесняясь своего хозяйского и руководящего тона, Стеклов обнажал инструментальную задачу: «авторы сборника знают, что именно они выражают истинное настроение и интересы широких интеллигентских кругов, если не сегодняшнего, то завтрашнего дня».[70] В той подборке откликов печати повторено и то, что «веховскую» линию в «Правде» (14 октября 1921 года) развил тоже старый большевик, создатель и первый глава советской цензуры и издательской монополии Н.Л. Мещеряков. Он назвал свою статью в рифму к известному эсеровскому сборнику статей, специально посвящённому критике старых «Вех» («"Вехи", как знамение времени», 1910) — «Знамение времени». Он тоже барственно поставил перед «сменовеховцами» безальтернативные задачи, которые они были счастливы перепечатать: «Мы сказали, что авторы

69 С другого берега (Советская и просоветская печать о «Смене Вех») // Смена Вех. № 6. Париж, 3 декабря 1921. С. 12–13. Примечательно, что сам старый большевик Ю.М. Стеклов после 1909 года, а именно в 1911 году, настойчиво предлагал свои услуги как писателя — именно Струве (см. письма Стеклова к Струве от 2 мая и 6 июня 1911 года: РНБ, АДП. Ф.753. Ед. хр. 106).

70 С другого берега (Советская и просоветская печать о «Смене Вех»). С. 14.

книги сохранили ещё многие пережитки своей старой психологии. Но жизнь учит, и они способные ученики. Логика жизни заставит их идти всё дальше и дальше по пути сближения с революцией. Авторы прокладывают новые вехи по пути сближения интеллигенции с революцией».[71]

Здесь надо сфокусировать внимание на перекличке высших партийных пропагандистов Стеклова и Мещерякова с Ключниковым и Устряловым о «Вехах», которая была важна для принципиального перехвата идеологического лидерства у «Вех» и их вождя Струве, который в 1920–1925 годах стоял в центре идейной мобилизации антисоветской эмиграции, раскола его на движения наследников в национал-большевизме и евразийстве. Эта несомненная руководящая связь старых марксистов с молодыми учениками «Вех» вокруг идей «веховского» этатизма — свидетельство высшего уровня принятия решения о проекте «Смены Вех», наверное, оставшегося полностью неизвестным для простых сотрудников проекта, даже руководителей второго уровня. Даже опытный советский агент, работавший ещё в рептильной советской прессе за границей, глава журнала «Новая Россия» Исай Лежнёв считал нужным отрицать эту связь, ретранслируя позицию «сменовеховской» пехоты С.С. Лукьянова: «Заглавие и отчасти первая статья сборника многих толкнули на мысль, что мы сменяем «Вехи», а не вехи. Между тем, ни Ю.В. Ключников, ни я, ни другие участники сборника, а тем более — журнала, не исходили и не исходим из веховской идеологии».[72]

С особым вниманием журнал «Смена Вех» перепечатал выступление военного вождя и второго (после Ленина) по авторитету идеолога коммунистов Л.Д. Троцкого на Втором Всероссийском съезде политпросветов в октябре 1921 года, который, как знающий перспективы ответственный человек, рассказал о будущем проекта «Смены Вех» и о том, как он намерен использовать его в деле политического воспитания служащего в Красной Армии старого офицерства (в том числе, очевидно, и бывшего белого офицерства). Он говорил об авторах сборника и вменяемых им планах:

> «Они остановились на полдороге, но на полдороге на пути к нам. Некоторые пойдут дальше по этому пути, и этот путь есть тот путь, по которому к нам приближаются лучшие элементы старого командного состава. Нужно, чтобы в каждой губернии был хоть один экземпляр этой книжки — “Смена Вех”. Я думаю, что эта книга будет не единственной. Этот перелом в сознании эмигрантской патриотической интеллигенции обо-

71 С другого берега (Советская и просоветская печать о «Смене Вех»). С. 14.

72 *И. Лежнев.* «Смена вех» // Новая Россия. Пг., 1922. № 1. С. 61.

значился. Вехи сменяются, и будут другие книжки — издания этой группы. (…) Это нам для перевоспитания командного состава старой школы — дар великолепный. Его нужно уметь использовать на местах. Нужно оперировать с цитатами из книжки, разъяснять её…»[73]

Именно в таком плену, по-видимому, сначала неожиданно для него самого, и оказался Устрялов — как наиболее сильная интеллектуальная фигура, но изолированная в своём Харбине и от белого русского Парижа, и от красно-белого, «переходного» Берлина, и от красной Москвы.

Активная эксплуатация мифа и наследия «Вех», в которых большевики, рекламируя «Смену Вех», более всего акцентировали внимание на разрыве с либеральной интеллигенцией, а сами идейные наследники «веховства», идущие на примирение с большевиками, — на разрыве с революционной борьбой против власти и примирении с исторической государственностью, то есть компромиссе с действующей властью, заставила и самого Струве запланировать переиздание «Вех», сопроводив их своей новой интерпретацией,[74] и до того поторопиться, что — на правах «главного» автора сборника, ещё в 1909-м почти монополизировавшего его толкование — рассказать, как, по его мнению, следует применять наследие «Вех» в отношении к большевизму и Советской России, советской власти.

Нет сомнений в том, что, финансируя сборник, большевики делали длинную ставку на идеологическую борьбу за широкое официальное признание Советской России за рубежом, раскол и нейтрализацию политической антибольшевистской («белой») эмиграции, идейное подчинение интеллигенции, живущей в России и массово служащей в советских органах власти, чтобы обеспечить её полную политическую лояльность, то есть практически исключить любые её надежды на действительную «коалицию» с большевистской диктатурой и попытки влияния на принятие руководящих решений.

73 С другого берега (Советская и просоветская печать о «Смене Вех»). С. 20–21. Об использовании сборника в коммунистической пропаганде коммунисты тогда же сами рассказывали откровенно: Коммунист о «нововеховцах» // Вестник литературы. №1 (37). Пг., 1922 (январь). Агитпроп ЦК РКП(б) 30 сентября 1922 года поставил задачи: «ведение сменовеховской агитации, особенно там, где невозможна или затруднена коммунистическая пропаганда, оказание материальной помощи, издание центрального сменовеховского студенческого органа, расширение студенческого бюллетеня при «Накануне», снабжать библиотеки в эмиграции сменовеховскими изданиями» (*А.В. Квакин*. Между белыми и красными. С. 12).

74 *М.А. Колеров.* Материалы к творческой биографии П.Б. Струве // Вопросы философии. М, 1992. № 12.

Похоже, персональным руководителем проекта «Смены Вех» в Политбюро был именно Сталин,[75] выступавший за то, чтобы — ради влияния на эмиграцию — позволить ему в своих изданиях (в частности, в газете «Накануне») идейно быть более самостоятельным, менее «советским», чем этого требовали штатные пропагандисты, а в Политбюро — сам Троцкий. Но быстрое превращение Ключникова в успешного советского чиновника в России, а газеты — в примитивный большевистский орган заставило руководство большевиков в июне 1924 года закрыть это предприятие в виду его политической бессмысленности. С марта 1922 года в России большевики издавали и специальный «независимый» журнал «Новая Россия», превратившийся в инструмент гонорарного подкупа художественной интеллигенции несоветского типа, но и он к 1926 году исчерпал свой пропагандистский смысл и был закрыт. В том же году Ключников предлагал Сталину создать под его, Ключникова, руководством в Советской России «беспартийную» газету, но тщетно.[76] Политбюро решило на этом «закончить работу в отно-

75 К таким проектам у Сталина уже возникло и было реализовано особое пристрастие: офицер-перебежчик от красных к белым вспоминал о событиях лета 1918-го, обороне Царицына, свою службу в штабе красных, где руководил Сталин — «хитрый, умный, образованный. (…) Сталин крепко надеялся на агитацию… Сталин, сообразно своему убеждению, не жалел никаких средств на пропаганду, на издание газет, на их распространение, на посылку агитаторов» *(А.А. Носович (А. Черноморцев)*. Красный Царицын. Взгляд изнутри. Записки белого разведчика. М., 2010. С. 25, 29).

76 Первую попытку получить от большевиков в личное управление большое печатное издание Ключников предпринял почти сразу после поступления к ним на службу. 15 июня 1922 года председатель редколлегии Государственного издательства Н.Л. Мещеряков сообщал в Политбюро о проекте возобновления издания журнала «Нива» по итогам его переговоров с Ключниковым. Издание должно было начаться с участием И.Д. Сытина как пайщика (акционера-совладельца): «Ключникову хотелось бы, чтобы редакция была всецело в его руках, а пропуск материала в печать производился через цензуру. Я лично думаю, что это неудобно, т.к. цензура может запретить рукопись к печати только в случае довольно явного несоответствия её линии советской власти; нам же нужно в лице «Нивы» приобрести орган, который, не будучи коммунистическим, мог бы стать средством могучей пропаганды советских идей в гуще обывателей. Для этого в журнале должны быть не только терпимые нами статьи, но и желательные для нас, а это достижимо только путём введения представителя Редакционной коллегии Госиздата в состав редакции «Нивы», хотя бы в качестве не работающего редактора, а только консультирующего. Это, по моему мнению, последняя степень уступчивости. Ключников на такую организацию согласия пока не дал, и, по-видимому, вряд ли даст». На это Л.Д. Троцкий отвечал Мещерякову 25 июня 1922 года: «думаю, следовало бы использовать для литературно-художественной пропаганды в нашем духе будущую «Ниву». Полагаю, что наилучшим редактором литературно-художественного отдела был бы Брюсов. Большое имя, большая

шении интеллигентских антисоветских группировок» в России, видимо, сочтя её исчерпанной.[77] Политбюро ЦК ВКП(б) 7 июня 1926 года приняло Постановление «О закрытии издательства «Новая Россия» и о работе среди «интеллигентских антисоветских группировок»». В этом постановлении ОГПУ было предложено «представить в Политбюро» письменный «доклад об антисоветских группировках в стране, в первую очередь среди интеллигенции, а Главлиту — «не допускать впредь публичных лекций, рефератов и выступлений сменовеховцев».

школа, и в то же время Брюсов совершенно искренно предан делу рабочего класса. Полагаю, что можно было бы Ключникову подсказать эту мысль в том смысле, что можно было бы завоевать для этого предприятия Брюсова, что сразу подняло бы художественный авторитет издания». 28 июня 1922 года Мещеряков сообщал в Политбюро: «Переговоры с Ключниковым о составе Редакционной коллегии закончились очень быстро и легко. Он сразу согласился на моё предложение, что единоличным ответственным редактором будет он — Ключников, а при нём будет редколлегия с совещательным голосом из двух лиц, один из которых будет назначен редакционной коллегией Госиздата (вторым он предлагает Ю.Н. Потехина). Труднее организовать коммерческую сторону. По этому вопросу Ключников указал на И.Д. Сытина и Ермолаева, как лиц, которые бы хотели принять участие в издательском деле, — но у обоих этих лиц своих денег нет. Сытин надеется привлечь к делу Стинеса. Ключников имеет в виду предложение чешских капиталистов. Сытин на устроенном мною собрании заявил, что он не знает, согласится ли Стинес войти в комбинацию с Государственным издательством. Он срочно об этом запросит Стинеса. Нам хотелось бы противопоставить Стинеса чехам, а также и русским капиталистам, если последние войдут в комбинацию. Сытин надеется получить ответ Стинеса к 8-му июля. К этому же времени он выработает проект сметы. (…) По предварительным подсчётам издание «Нивы», которое надо будет налаживать совершенно заново, обойдётся довольно дорого. По мнению Сытина, весь первый год будет убыточен, и Госиздату, все средства которого направляются, главным образом, на издание учебников, придётся просить на это дело специальную субсидию» (Большая цензура: Писатели и журналисты в Стране Советов. С. 49–51). Издание не состоялось.

77 См. письмо Н.Н. Крестинского И.В. Сталину от 23 августа 1922 года; письмо Л.Д. Троцкого в Политбюро ЦК РКП(б) от 29 августа 1922 года; постановление Политбюро о конфликте в редакции газеты «Накануне» от 7 сентября 1922 года; постановление Политбюро о «Накануне» от 21 сентября 1922 года; письмо Н.Н. Крестинского И.В. Сталину о «Накануне» от 29 апреля 1923 года; постановление Политбюро о газете «Накануне» от 3 июня 1924 года; постановление Политбюро о «Накануне» от 14 августа 1924 года; постановление Политбюро о закрытии издательства «Новая Россия» от 7 июня 1926 года; письмо И.В. Сталина Ю.В. Ключникову от 20 августа 1926 года (Большая цензура. Писатели и журналисты в Стране Советов. 1917–1956 гг. / Сост. Л. Максименков. М., 2005. С. 55–56, 58–59, 62–65, 69–70, 76, 83, 112–113).

6

Советской властью сборник «Смена Вех» был не только издан за границей и разрекламирован в рептильной заграничной прессе, широко расхвален в центральной партийно-советской печати, но и советской политической цензурой сборник был допущен к продаже в России. Эта книга «оказалась первой из изданных за границей книг политического содержания, поступившей в продажу в Петербурге», — свидетельствовал орган петербургских несоветских писателей.[78] Не удовлетворившись этим, советская власть уже в самом начале 1922 года переиздала сборник «Смена Вех» массовыми тиражами в государственных издательствах в Смоленске и Твери[79] и была настолько уверена в контролируемости процесса пропаганды, что даже позволила собрать и издать значительным (5000 экземпляров) фактически анти-«сменовеховский» сборник статей, составленный по итогам разрешённых публичных дискуссий о «Смене Вех» с участием бывшего участника сборника «Вехи» А.С. Изгоева, к тому времени уже неоднократно сидевшего в советских концлагерях. Находившиеся тогда ещё в России другие авторы «Вех» (Булгаков, Бердяев, Франк, Гершензон) к этой дискуссии привлечены не были. Изгоев в своём анализе весьма точно определил то главное, что связывает старые «Вехи» и «Смену Вех» и что, можно продлить его мысль, возлагает прямую интеллектуальную ответственность за поклонение сторонников «Вех» большевизму. Изгоев назвал это «мистикой государства», но законно усомнился, что тогдашние большевики готов будут принять признание, утверждая «классовый» характер Советской России.[80]

78 Литературная хроника. В Петербурге // Летопись Дома Литераторов. № 4. Петербург, 20 декабря 1921. С. 10. Здесь же было размещено коммерческое объявление о продаже книги в книжном магазине на Литейном проспекте, 56.

79 «Сборник “Смена вех” переиздается тверским отделением гос<ударственного> издательства» (Литературная хроника. В провинции // Летопись Дома Литераторов. № 1–2 (5–6). Петербург, 15 января 1922. С. 9). Титул этого переиздания сохранял указание на место первоначального издания — Прагу — и сообщал о месте новой публикации лишь на обороте титульного листа — в адресе типографии: например, Первой Тверской государственной типографии в Твери было напечатано 10 000 экземпляров.

80 *А.С. Изгоев.* «Вехи» и «Смена вех» // О «Смене вех». Пб., 1922. С. 18. С этим докладом Изгоев выступил в петроградском Доме Литераторов 5 января 1922 года (Чтения и доклады // Летопись Дома Литераторов. № 1–2 (5–6). Петербург, 15 января 1922 года. С. 7). Этот текст Изгоева перепечатал и Струве в своём эмигрантском журнале, скрыв имя автора, видимо, чтобы не подвергать его лишней опасности в России: *[А.С. Изгоев.]* «Вехи» и «Смена вех» // Русская Мысль. Прага, 1922. Кн. III. О генетической связи «Смены Вех» с «Вехами» см. современные сборнику подсоветские отклики: *А. К<ауфман>*. О «Смене вех» // Вестник литературы. № 12 (36). Пг., 1921 (декабрь); *К. Боженко*. Рубка вех // Вестник литературы. Пг., 1922 (январь). № 1 (37).

Всё это происходит на фоне уже описанной в литературе непубличной активности советских властей, ни от кого ныне не скрытой и не скрываемой, но для большинства биографов Устрялова непосильной настолько, что о ней они предпочитают молчать. Вот, например, появляется шифротелеграмма представителей НКИД РСФСР из Берлина главе НКИД Г.В. Чичерину и председателю СНК В.И. Ленину от 9 октября 1921 года — о предложении Ю.В. Ключникова и В.Н. Львова («из группы «Новые вехи»») о сотрудничестве в деле советской пропаганды в США на условиях финансирования и предоставления инструкций: «эти люди в качестве наших агентов, действуя под нашим контролем, могут сделать большую политическую работу». Резолюция Ленина: «т. Молотову. оч. важно! надо поддержать». Поступает информация о поддержке инициативы членами Политбюро ЦК РКП(б) Сталиным и Каменевым.[81] Вот решение Политбюро от 9 февраля 1922 года: о «сменовеховских» изданиях заграницей, в том числе газеты («особенно во время Генуэзской конференции») — «Накануне»,[82] «издание нового сборника «Смена Вех» признать желательным» и переиздать старый, одобрить кандидатуру Ключникова в качестве эксперта советской делегации на Генуэзской конференции.[83]

Итак, в октябре 1921 года в Париже начал выходить в свет еженедельный журнал «Смена Вех» под редакцией Ключникова, созданный специально для коммунистического влияния в среде эмиграции. Ближайший единомышленник

81 В жерновах революции. Российская интеллигенция между белыми и красными в пореволюционные годы: Сб. документов и материалов / Под ред. М.Е. Главацкого. М., 2008. С. 112. См. также о финансировании, издании, учреждении «сменовеховских» проектов, их руководстве: постановление Политбюро ЦК РКП(б) от 22 ноября 1921 года; записка главы НКИД РСФСР А.В. Чичерина секретарю ЦК РКП(б) В.М. Молотову «О нашей печати в Германии» от 26 декабря 1921 года; постановление Политбюро от 9 февраля 1922 года «О сменовеховских изданиях заграницей»; постановление Политбюро от 13 марта 1922 года «О финансировании новой берлинской газеты (Предложение т. Крестинского)»; постановление Политбюро от 11 мая 1922 года о дополнительном ассигновании на газету «Накануне»; итоги личного обсуждения газеты «Накануне» В.И. Лениным с Л.Б. Красиным и И.В. Сталиным 19 сентября 1922 года и т.д. (*А.В. Квакин.* Между белыми и красными. С. 128–133, 163).

82 Полпреду РСФСР в Берлине Н. Крестинскому для этого выделялись деньги: 1 млн марок (8 тыс. золотых рублей) в марте и 1 млн марок (8 тыс. золотых рублей) в июне 1922 года. В связи с инфляцией в мае 1923-го было ассигновано еще 30 тыс. золотых рублей (15 тыс. долларов). В январе-феврале-марте 1924-го еще (последовательно) 15, 10 и 27,5 тыс. долларов (*В.Н. Козлов.* Провокация (Тайная операция Политбюро ЦК РКП(б) — издание сменовеховской газеты. 1922–1924 гг.) // Звезда. СПб., 1997. № 5. С. 155–156).

83 Там же. С. 118. Ключников горделиво писал Устрялову из Генуи 17 апреля 1922 года: «в качестве юридического эксперта русской делегации. Первое практическое применение сменовеховства» (Приложение // Ю.В. Ключников. На великом историческом перепутье [1922] / Сост. О.А. Воробьёв. С. 193).

Ключникова и бывший издатель еженедельника «Накануне» 1918 года Ю.Н. Потехин прямо соединял арьергардные счёты к «веховцам» с советской апологетикой. Споря с известными словами Булгакова из диалогов «На пиру богов» о факте «мистического заговора против России», Потехин восклицал: «Не за Россию ли?»[84]... Но продемонстрировать он хотел, конечно, не столько борьбу вокруг интерпретаций «мистики государства», а свою и «Смены Вех» погружённость в «веховский» контекст, к которому принадлежит эта фраза из диалогов Булгаков. Ведь диалоги были написаны им в 1918 году для прямо продолжавшего сборник «Вехи» сборника «Из глубины», в авторском центре которого стояли те же Струве, Булгаков, Бердяев, Франк и Изгоев. Но поскольку этот сборник был запрещён советской цензурой, Булгаков отдельно издал свои диалоги в Киеве в 1918 году (чего Потехин не мог знать сугубо географически), а затем — в Софии в 1920 году: оба раза без указаний на «Из глубины». Только весной 1921 года в Москве «Из глубины» был издан, наконец, незначительным числом экземпляров, но получил некоторую известность — именно в «веховском» кругу. Думается, что к этому кругу и апеллировать Потехин, демонстрируя свою причастность и компетентность. Не исключено, что эту причастность он демонстрировал с подачи курировавших журнал советских специалистов по несоветской интеллигенции. Наверное, именно кураторам была адресована финальная клятва в той статье Потехина: «Путём естественного отбора коммунистическая партия сосредоточила в себе всё энергичное, волевое, смелое и инициативное».[85]

Евразиец и сотрудник редакции журнала Струве «Русская Мысль» П.Н. Савицкий ещё в начале сентября 1921 года предложил опубликовать его приветствие идейному выступлению Устрялова. Струве отверг либо задержал его публикацию.[86] Но уже 27 октября 1921 года Савицкий писал Струве:

> «Вопрос об опубликовании моего expose о национал-большевизме я считаю отпавшим, по изменившимся обстоятельствам: во-первых, после выхода целой книжки о национал-большевизме (“Смена вех”; впрочем, до Кон<стантино>поля она еще не дошла) — краткое мое expose теряет как-будто интерес; во-вторых, если бы я был уверен в бескорыстности Устрялова, я не могу сказать этого обо всех авторах “Смены вех”; и вовсе не хочу к ним примазываться. Но мнения, по-существу, не изменил и как выражение моих перед Вами взглядов — expose остается в силе...»[87]

84 *Ю. Потехин*. Борьба за личность // Смена Вех. № 10. 31 декабря 1921. С. 8.

85 Там же. С. 10.

86 См. в настоящем сборнике: *П.Н. Савицкий.* О национал-большевизме. Письмо в редакцию [«Русской Мысли»]. Петру Бернгардовичу Струве (1921).

87 ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 1. Ед. хр. 100. Лл. 21–21 об.

14 ноября 1921 года на собрании милюковской группы кадетов опытный журналист П.Я. Рысс сообщил однопартийцам: «на ведущуюся "Сменой Вех" пропаганду деньги были получены её авторами от большевиков: часть в Праге, а другая — здесь, в Париже. Часть средств они употребляют на то, чтобы печатать свои интервью во французских газетах (в "Журналь", "Эр-Нувель" и в других)».[88]

Тогда же радикально антисоветская социалистическая газета известного разоблачителя Азефа и иных политических провокаций В.Л. Бурцева, парижская газета «Общее Дело», опубликовала прямое указание на механизм финансирования журнала «Смена Вех» — по традиционному каналу большевистского официального и неофициального присутствия в Германии в 1921–1923 годах — «марки из Берлина». Старый знакомый и коллега Ключникова здесь кратко признавался и утверждал: «Я делаю над собой невероятные усилия, чтобы сохранить веру в чистоту литературных помыслов нового журнала «Смена Вех»... Мне всё думается: — А может быть, это добросовестное недомыслие? (...) марки из Берлина. Только и всего и никаких других вех, кроме валютных, тут нет».[89] Через две недели, уже в партийном органе, открытом при советской помощи из Берлина журнале «Смена Вех», ему манерно и многословно ответил сам Ключников: «А.А. Яблоновскому угодно было в силу нашей давнишней с ним дружбы несколько выделить лично меня из числа моих сотоварищей и обратиться ко мне с персональным вопросом...» и так далее. Нет сомнений, что все читатели заметили главное: ответа на главный вопрос — о большевистских деньгах, о подкупе — не последовало, даже упоминания о вопросе не прозвучало.[90] Это стало ещё одним, публичным, из первых рук, подтверждением того, что сделка состоялась. Самым отвратительным было то, что сделку совершили публично, демонстративно, и она обесценивала перед всей эмиграцией содержательный смысл идейной эволюции. Даже щадящий свидетель писал не об эволюции, а о капитуляции, что этот путь «был сознательно выбран и до конца пройден группою сменовеховцев... Группа эмигрантов по тем или иным причинам сдалась на милость победителей, перешла в лагерь большевиков».[91]

Похоже, именно в эти дни Ключникова посетила крайняя мания величия. Признания Ключникова вызывали у Устрялова оторопь и лишь слабый протест, что обнажало и в самом Устрялове некоторую зачарованность идейно-политиче-

88 Протокол заседания Парижской демократической группы партии народной свободы 14 ноября 1921 // Протоколы заграничных групп Конституционно-демократической партии. Июнь-декабрь 1921 г. / Сост. Н.И. Канищева. М., 1997. С. 409.

89 *Александр Яблоновский.* Подкидыши // Общее Дело. 4 ноября 1921. С. 2.

90 *Ю. Ключников.* Наш ответ // Смена Вех. № 4. Париж, 19 ноября 1921. С. 2.

91 *Ф.А. Степун.* Задачи эмиграции [1932] // Ф.А. Степун. Чаемая Россия / Сост А.А. Ермичёв. СПб., 1999. С. 158.

ской властью, неожиданной свалившейся на них славой и видимостью исторического влияния на судьбу России. Ключников писал Устрялову 8 ноября 1921 года:

> «я уже и теперь *не боюсь никакой близости с большевиками* и охотно поеду в Россию работать, едва только у меня к тому будут возможности. Скажу также: сейчас прямое сотрудничество с Советской властью для меня уже не вопрос принципа, а лишь конкретных условий… Мы вольёмся новой, свежей струёй в русскую жизнь. И вот именно потому, что хочется и нужно быть *новой* струёй — в этом наш смысл — я не могу уже упиваться великодержавными и националистическими мечтами в стиле покраснев-шего Струве. Горизонты сейчас шире, возможности — больше… (…) пусть большевики стали реалистами, пусть они научились делать уступки; это уже не только радость — но и опасность. Кто-то обязан взять у них и понести далее *часть* их былого опьянения, размаха… И вот я знаю, что чем бы уже ни кончилась русская революция, я буду носителем этого её опьянения *и ради России, и ради всего мира*… (…) я уверен, что мне удалось бы помочь Вам из национал-либерала превратиться в интернационал-либерала, из национал-большевика в большевика «второго дня революции»…».[92]

Тем красноречивей на этом фоне выглядит внутренняя, непубличная переписка вождей евразийства, осознанно игнорирующих скандальный шлейф вокруг Ключникова и «Смены Вех» — который, конечно же, мог бы быть обычной клеветой (ведь не стал же на неё реагировать такой гуру русской политической эмиграции, как посол России во Франции В.А. Маклаков, даже после того, как Ключников недобросовестно использовал его доверие),[93] если бы не подкреплялся еженедельными номерами журнала.

92 *Анастасия Гачева.* Философская эмиграция. Сменовеховство. С. 199. Ср.: Идеология второго дня // Путь. № 206. Гельсингфорс, 25 октября 1921 (Там же. С. 210, прим. 54).

93 В.А. Маклаков вызвал Ключникова на беседу и говорил с ним 23 октября 1921 года, после того как Ключников в Лондоне провёл переговоры с полпредом РСФСР в Лондоне Л.Б. Красиным (*А.В. Квакин.* Между белыми и красными. С.149: Крестинский сообщал, что Ключников «являлся распорядителем денег, данных Красиным на издание журнала»). По итогам знакомства Маклаков письмом поделился с Ключниковым признанием того, что народ России выбрал диктатуру, а не свободу: «Ход революции научил, что сама воля народа держится за *крепкую власть*, а не за свободу, и что с точки зрения того нового, что мы думали принести миру, революция провалилась. Сознание этого провала революции не мешает ужасаться той бездне, куда эмиграция толкала Россию, чтобы уничтожить революцию…». Ключников без разрешения автора сразу же (№ 5, 26 ноября 1921) опубликовал это письмо в журнале под криптонимом Х. (икс), сообщая, что его автором является весьма влиятельный человек («Совершенно лично и доверительно!»: Б.А. Бахметев — В.А. Маклаков. Переписка. 1919–1951. В 3-х томах. Том 2. Сентябрь 1921 — май 1923 / Общ. ред. О. Будницкого. М., 2002. С. 66, 140, 599.

14 февраля 1922 года П.П. Сувчинский писал Н.С. Трубецкому, оценивая возможности сближения евразийцев со «Сменой Вех» (очевидно, как с делом, под которым была видна, кроме всего прочего, твёрдая финансовая основа): «Какое Вы вынесли впечатление от Ключникова и как вообще относитесь к “Вехам”?». И сам же верно оценивал их служебный, подчинённый пафос,[94] особенно в сравнении с амбициями евразийства: «Я не чувствую в них того главного, религиозно-культурного устоя, который бы мог претендовать на идейное руководство в будущей России». Тем не менее «Вся Россия — не идеологически, а тактически настроена по “Вехам”».[95] А 5 марта 1922 года Сувчинский выступил с ещё более провокационным заявлением в адрес Н.С. Трубецкого, как известно, интеллектуально собственно и породившего евразийство: «Мне казалось, что Вы ближе стоите к “Вехам”, чем я — и откровенно говоря, я боялся принять на свой риск — игнорирование Ключникова».[96]

В марте 1922 года, с официальным переходом Ключников на советскую службу, журнал «Смена Вех» был закрыт, а на его месте — уже в Берлине была создана ещё более просоветская газета «Накануне». Газета — единственная иностранная и тем более эмигрантская — самолетом доставлялась в Советскую Россию, где — опять же: единственная иностранная и тем более эмигрантская — продавалась в розницу.[97] В июне 1922 года было создано московское отделение редакции «Накануне», которое курировал заведующий отделом печати НКИД И.М. Майский. В этот момент тайный советский проект как якобы независимый навеки прославил вождь большевиков Ленин, не стесняясь назвать вещи своими именами, но лишь скрывая нити, руководящие марионеткой. В политическом отчёте ЦК РКП(б) XI съезду РКП(б) 27 марта 1922 года он заявил:

> «сменовеховцы, как вы знаете, представляют течение, прививше-
> ся в эмигрантской России, течение общественно-политическое, во главе
> которого стоят крупнейшие кадетские деятели, некоторые министры быв-
> шего колчаковского правительства — люди, пришедшие к убеждению,

94 Этот служебный пафос был хорошо виден и из Советской России, где «сменовеховцев» определили как «бобчинских и добчинских революции» (*Н. Чаадаев.* О псевдореволюционерах, приемлющих революцию // Утренники / Под ред. Д.А. Лутохина. Кн. 2. Пг., 1922. С. 187–189).

95 ГАРФ. Ф. 5783. Оп. 1. Д. 359. Лл. 5 об. — 6.

96 ГАРФ. Ф. 5783. Оп. 1. Д. 359. Л. 8 об.

97 Как постоянный посетитель московских букинистических магазинов со второй половины 1970-х годов, могу свидетельствовать, что в них до конца 1980-х официально не продавались русские эмигрантские издания, кроме двух: журнала «Смена Вех» и журнала «Новая Россия». При этом первый был очень редок, а последний — весьма нередок и часто присутствовал даже в полном комплекте.

что Советская власть строит русское государство и надо поэтому идти за ней. (...) Некоторые из них прикидываются коммунистами, но есть люди более прямые, в том числе Устрялов... Он не соглашается со своими товарищами и говорит: «Вы там насчет коммунизма как хотите, а я утверждаю, это у них не тактика, а эволюция». Я думаю, что этот Устрялов этим своим прямым заявлением приносит нам большую пользу».[98]

Терминологически и идейно близкий к Струве анонимный автор руководимой Струве эмигрантской «Русской Мысли», идя навстречу «Смене Вех» и Устрялову и признавая органический, природный для России характер большевизма, тем не менее, осудил «народнический» (поклоняющийся народу, воле народного большинства) смысл примирения с ним и законно скептически оценил надежды на его перерождение и использование в интересах нейтральной государственности. И главное: он хотел возложить на «Вехи» интеллектуальную ответственность за капитуляцию «Смены Вех». Он писал:

«Большевизм, в его целом, есть плоть от плоти и кровь от крови нашего русского интеллигентского народничества. Мы слишком долго и явно лелеяли большевистскую идею, слишком заботливо за ней ухаживали, чтобы теперь чувствовать себя совершенно чистыми и свободными от неё. (...) Существо "русского вопроса", для нас, русских, заключается в том: можем ли мы творчески преодолеть нашу губительную народническую идеологию, сделавшуюся нашей второй натурой. (...) Старые "Вехи" тоже указывали на мистику государства, но они были далеки от обожествления государства, а авторы "Смены Вех", может быть и бессознательно, обожествляют его. С этой точки зрения "Смена Вех" является одним из симптомов бонапартистских настроений. (...) Как злободневное политическое выступление, сборник "Смена Вех" особого интереса не представляет. Как попытка использовать коммунизм и на интернационализме построить здание Великой России, он наивен».[99]

Примечательно и показательно, что «сменовеховская» газета «Накануне», несмотря на поставленную ей большевиками задачу терапевтического воздействия на интеллигенцию в антисоветской эмиграции, похоже, вовсе не планировала хорошо справляться с ней, действуя не как квалифицированный исполнитель и не как идейный союзник советской пропаганды, а как ее гру-

98 *В.И. Ленин*. Полное собрание сочинений. Т. 45. М., 1970. С. 93.

99 *N*. Большевизм и русская культура // Русская Мысль. Прага, 1922. Кн. III. С. 171, 175, 177, 178.

бый раб и слуга. Осенью 1922 года прошла первая очередь высылки несоветской интеллигенции из Советской России заграницу, и высланные знаменитости прибыли в Германию, где начали публично делиться своим подсоветским опытом. Большая часть из них как раз обратила внимание на органичность большевистской власти, на возможность только мирной её эволюции и всё то, что составляло часть проповеди «Смены Вех». Отнюдь не случайно из своего идеологического далека Устрялов примирительно косвенно поддержал высланного 29 сентября Н.А. Бердяева, ссылаясь на его размышления в сборнике «Освальд Шпенглер и закат Европы», за участие в котором его, собственно, вместе с С.Л. Франком и другими авторами и выслали из России, — о Новом Средневековье: «как бы то ни было — идёт новая эпоха».[100] Но в это время, освещая мероприятия высланных в Берлине, газета «Накануне» устами бывшего активного белого агитатора, а ныне советского агента Бориса Дюшена утверждала об их «потенциальной» враждебности Советской власти.[101] То, что это было не оговоркой, а позицией (и случайностью было само присутствие в газете Устрялова), ярко продемонстрировал редакционный отклик газеты на первое собрание созданной высланными Религиозно-философской академии 27 ноября 1922 года. На выступления Бердяева, Франка, Л.П. Карсавина и присутствие на эстраде Н.О. Лосского, Ф.А. Степуна и В.Э. Сеземана уже редакция (то есть коллективно) откликнулась с красноречием цепного пса, подзаводящего себя сложным или непонятным:

> «Ницше и Достоевский, Христос и Антихрист, Третий Рим и Третий Интернационал, интуитивное познание Бога и философское оправдание и раскрытие догматов веры, философия — добровольная “служанка теологии”, богоборчество и богочеловечество, индивидуальное религиозно-философское просветление и отрицание значения даже смысла за человеческим социально-экономическим строительством… Было жутко слушать… Словно не было пятилетнего революционного борения… Если вам чужда русская революция — отойдите от жизни».[102]

100 *Н. Устрялов.* Старорежимным радикалам // Накануне. № 185. Берлин, 14 ноября 1922. С. 2–3.

101 *Б. Дюшен.* Изгнание интеллигентов // Накануне. № 195. Берлин, 26 ноября 1922. С. 2–3.

102 Начало. № 196. Берлин, 28 ноября 1922 года. С. 1. Для истории остроумной, но исторически пустой мифологемы Бердяева о преемственности идей «Третьего Рима» и «Третьего Интернационала» важна и более поздняя рефлексия Устрялова над этой связью как недобросовестной: он цитирует «Между планами Ленина и Зиновьева, готовящих триумф Третьему Интернационалу через русскую державу и славу русской державе через Третий Интернационал, — между этими планами

Крупнейшая газета русской эмиграции 1920–1930-х годов — парижские «Последние Новости» П.Н. Милюкова, — несмотря на уже ставшее фактом «полевение» Милюкова и его собственный отказ от идеи вооружённой интервенции против Советской России, не могла не отметить очевидной политической связи «Смены Вех» (и иных, вроде евразийцев, риторически ищущих «третьего пути» между красными и белыми) с прямыми интересами большевиков. В связи с выходом в свет первого номера журнала «Смена Вех» (29 октября 1921 года) во главе всё с тем же Ключниковым, газета писала, обнаруживая его содержательную связь с одним из главных большевистских пропагандистов и агитаторов привлечения интеллигенции на службу Советской власти, главного редактора газеты «Известия ВЦИК» Ю. Стеклова: «Ключников, повторяя всё, до сих пор говорившееся об эмиграции Стекловым, в этом вопросе оказался мало оригинальным. (...) Мы — во всяком случае — отмечаем неоднократно уже отмечавшееся нами явление: духовное сродство между славянофильством “евразийско”-реакционного типа и славянофильством бунтарско-коммунистическим».[103]

7

Разоблачители были совершенно правы: параллельно успешному подкупу Ключникова и организации проекта «Смены Вех» летом 1921 года, советская разведка специально для разложения монархической части русской политической эмиграции уже в конце 1921 года начала организацию операции «Трест» и как минимум в сентябре 1922 года ввела своего агента П.С. Арапова в контакт с лидерами евразийства, где он действовал в составе самого высшего руководства движения до своего ареста в СССР в сентябре 1930 года.[104]

Но уже в августе 1921 года стал признанным массовый голод в России, который в памяти тогдашнего правящего поколения был подобен голоду

и мистическим панславизмом Достоевского, провидевшего в России Третий Рим, призванный возглавить народы земли, — нет существенной непримиримости, даже значительного различия, особенно в области практических действий» («Revue des deux Mondes», 15 июля 1925 г.) и комментирует: «Что за странный бред? Или уже все путается в голове испуганного парижанина?».

103 Печать // Последние Новости. Париж, 30 октября 1921. С. 2.

104 *Н.С. Трубецкой*. Письма к П.П. Сувчинскому, 1921–1928 / Сост. К.Б. Ермишина. М., 2008. С. 34–36 (поправки к этому изданию см.: *Л. Кацис.* Одна сторона двух медалей // Новое литературное обозрение. №104. М., 2010); *К.Б. Ермишина.* П.С. Арапов и евразийское движение (новые архивные материалы) // Записки Русской академической группы в США. Т. XXXVII. 2011–2012. New York, 2012. С. 231–236.

1891 года, оживившего политическую оппозицию самодержавия. Большевики вынужденно привлекли к помощи голодающим иностранцев (в первую очередь не признающие советскую власть США) и небольшевистскую интеллигенцию внутри страны, учредившую влиятельный централизованный комитет (ПОМГОЛ), который эмиграция сразу же сочла «теневым правительством» России. Поэтому почти сразу же активность ПОМГОЛа была подавлена властью, а его активисты жёстко репрессированы. Но голод показал всему миру и самим большевикам крах их аграрной политики. Уже весной 1922 года НЭП («новая экономическая политика»), экономическое отступление советской власти от антикрестьянской политики «военного коммунизма» мгновенно и зримо стимулировали возрождение потребительского рынка в России и оживили независимую деловую активность, породили предметные надежды иностранных капиталистов на участие в эксплуатации ресурсов России под контролем большевиков, а в политических и широких общественных кругах породили убеждение в том, что большевики действительно «перерождаются», отступают перед давлением. Это породило у большевиков во главе с Лениным тревогу, что за экономическим компромиссом последует и политический компромисс с противниками их монополии на власть. Именно это стало основой для внутренне связанных крупных репрессивный кампаний советской власти против небольшевистской общественной инфраструктуры в 1921–1922 годов: коммунистической реформы системы высшего образования, подавления Русской православной церкви и организации её раскола и вытеснения с помощью конкурирующих исповеданий, уничтожения инфраструктуры некогда крупнейшей и в 1917 году правящей политической партии — социалистов-революционеров, массовой высылки из страны руководящих или авторитетных представителей университетской, идеологической, научной, профессиональной интеллигенции, даже состоявших на ответственной службе в советских ведомствах, но посеявших сомнения в их лояльности власти.

Всё это — недавняя военная победа созданной с нуля Красной армии в Гражданской войне, советская реинтеграция в состав России всех основных её имперских территорий (кроме Финляндии, Польши и Прибалтики), дипломатический успех, экономическое восстановление и экономический рост, эффективные репрессии, громкий пропагандистский успех «Смены Вех» (несмотря на совершенный консенсус в эмиграции о том, что за этим проектом и успехом, несомненно, стоят большевики) — в статье, написанной в августе 1922 года, контрфактически и против растущих независимых свидетельств об успехах большевиков решил опровергнуть Струве, спасая, наверное, свой глав-

ный актуальный идейный капитал — «Вехи» — от подчинения большевистской повестке дня. Для этого ему требовалось опровергнуть главное: что поклонникам и наследникам «Вех» есть перед кем капитулировать, что в Советской России есть та живая национальная государственность, которая жива не только in idea, но и в практической способности хотя бы минимально управлять хозяйством и государством.[105] О том, что военная победа Красной армии над Белой была случайной комбинацией чисто военных факторов, в печати Струве походя разъяснял, но одновременно обосновать продолжающийся в России хаос и осудить диктатуру большевиков надо было особо. Это было особенно трудно, пока Советская Россия представляла из себя океан частно-собственнических крестьянских хозяйств: Струве специально утверждал неразрывную связь успешной патриотической государственности и массовой частной собственности и вообще — один из немногих в истории русской мысли позитивно оценивал и специально изучал частную собственность.[106] Это было догматически особенно важно потому, что Струве не был готов риторически похоронить большевиков (даже «народнически» переродившихся, то есть капитулировавших перед разрушительной страстью крестьянско-солдатского большинства) вместе с вдохновившим его западным промышленным социализмом. Напротив, Струве утверждал (и поддерживал!) такой нормативный образ социализма, что ему в наибольшей степени соответствовала такая диктатура, которую впоследствии антикоммунистическая пропаганда назвала «тоталитарной». И речь в этом контексте шла о государственническом перевоспитании интеллигенции, выступающей против власти, то есть — опять же о добровольном подчинении оппозиции (и всего общества в его прошлом и будущем) руководящей воле того, кому она оппонирует. И даже — об обосновании такого подчинения интересами борьбы против экономической разрухи, которое, кстати, стояло в центре прямой большевистской агитации в адрес небольшевистской интеллигенции. Итак, в августе 1922 года Струве уже признавал социально-политический факт революции и писал, фантастически наивно соглашаясь с тем, что «сменовеховские» апелляции

105 Устрялов: «Через мощную, напряженно волевую власть, **и только через нее одну**, Россия может прийти к экономическому и общенациональному оздоровлению. Какой же смысл расшатывать в таких муках создавшуюся революционную власть, **не имея взамен никакой другой**, — да еще тогда, когда наличная власть делает героические усилия восстановить государственное хозяйство, хотя бы путем постепенного возвращения к «нормальным условиям хозяйственной жизни», до сих пор ею по принципиальным соображениям уничтожавшимися?» («Национал-большевизм (Ответ П.Б. Струве)», 1 апреля 1923).

106 См.: «Отечество и Собственность» Струве, а также ряд трудов Б.Н. Чичерина и И.А. Ильина.

к «Вехам», прямо разрекламированные большевистскими агентами и пропагандой, вдруг стали популярными в Советской России (хотя подобную же природу евразийства Струве чувствовал и описывал верно и точно):

> «Анализ "Вех" (...) остался верен, несмотря на полную политическую и социальную завершённость и успешность революции. Ещё в полемике о "Вехах" я указывал, что полное торжество революции, т.е. полное низвержение монархии и полная экспроприация землевладельцев и капиталистов, не только не "сняло" бы, а, наоборот, обострило бы и обнажило бы основную проблему "Вех": *перевоспитание интеллигенции и, через неё, всего национального духа вообще*. Теперь мы вновь, в условиях неслыханного хозяйственного разорения, стоим перед этой проблемой. (...) Идеология "Вех", никогда не имевшая положительного успеха в интеллигенции, буквально потонула в стихии революции. И тем знаменательнее её возрождение в Советской России...»

В 1924–1926 годах руководство СССР окончательно покончило с организационной поддержкой проекта «Смена Вех». По докладу заведующего отделом печати ЦК ВКП(б) И.М. Варейкиса 28 октября 1925 года Политбюро приняло решение запретить издание в СССР только что вышедшего в Харбине представительного собрания практически всех политических статей Устрялова за 1920–1925 годы «Под знаком революции».[107] Сталин, известный

107 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 526. Л. 5. Название сборника «Под знаком революции» (Харбин, 1925) находится внутри одного текста с советским официальным марксистским журналом «Под знаменем марксизма» (М., 1922–1944). А они вместе — в контексте знаменитого раннего сборника статей Н.А. Бердяева «Sub specie aeternitatis» (СПб., 1907) (*под знаком / с точки зрения вечности, Б. Спиноза*), который претендовал задать русскому революционному социализму новую высшую иерархию ценностей — с точки зрения вечности, формула которой была позаимствована им у популярного тогда неокантианца В. Виндельбанда. Поскольку сам Устрялов считал, что именно его текст, объявивший, что «объединение России идет под знаком большевизма» («Перелом», 1 февраля 1920) положил начало «национал-большевизму», то его аллюзия на книгу Бердяева очевидней аллюзии на марксистский журнал. Вновь следует обратить внимание на то, что внутри «под знаком революции / большевизма / вечности» для Устрялова скрывалось «под знаком наличной власти» («Смысл встречи», 12 февраля 1922). Ср.: *В. Фриче*. Под знаком техники // Биржевые Ведомости. 2-е изд. СПб. № 90. 4 апреля 1915; *С. Шварц*. Под знаком кризиса // Социалистический Вестник. №15 (276). Berlin. 9 августа 1932; *Б. Сапир*. Под знаком всенародности (О X-ом съезде Комсомола) // Социалистический Вестник. № 11 (367). Paris, 11 июня 1936; *С. Шварц*. Под знаком общественного контроля // Социалистический Вестник. № 8–9 (732–733). Нью-Йорк — Париж. Август-Сентябрь 1959.

книгочей, заблаговременно изучил эту книгу: находясь на отдыхе в Сочи, он запросил и 9 сентября 1925 года получил, среди государственных документов, устряловскую «Под знаком революции».[108] Чуткий к личным выпадам и намёкам и проигравший во внутрипартийной борьбе интернационалист Лев Троцкий, один из бывших вождей мировой революции, знал, что строителя «социализма в одной стране» Сталина можно уязвить риторическим сближением с Устряловым как антиинтернациональным символом современного русского национализма и суверенного государственничества. В известной речи на заседании Президиума ЦКК РКП(б) в июне 1927 года Троцкий запоздало разоблачил: «Устрялов не нас поддерживает, он поддерживает Сталина».

Специальные усилия советских властей сместились в адрес евразийства и только набирали обороты. Это точно почувствовал Устрялов, имя которого продолжала склонять советская пропаганда в качестве затаившегося и двоедушного попутчика и врага, из-за угла поджидающего гибели большевизма, — и начал искать формата для союзничества с евразийством. В СССР, вплоть до арестов 1945 года в Праге евразийцев П.Н. Савицкого и близкого к нему К.А. Чхеидзе, а также Л.П. Карсавина в Вильнюсе в 1949-м, похоже, принадлежность к евразийству не была поводом к политическим обвинениям. Несмотря на известный раскол довоенного евразийства (когда Савицкий и Чхеидзе отвергли многолетнюю линию на сотрудничество П.П. Сувчинского и П.С. Арапова с советскими спецслужбами), оно на пике своего развития также было прозрачно для советских властей, поддерживалось ими, внушало им надежду на соучастие в эволюции руководства ВКП(б)[109] — и на сотрудничество с ними шли солидарно все вожди евразийства, расколовшись лишь от полного подчинения евразийской организации Кремлю и его жёсткой линии. Евразийство оказалось более интеллектуально глубоким и развитым движением, которое хорошо встраивалось в сталинскую доктрину «социализма в одной стране» и имело ряд эффективных научно-практических применений в деле освоения стратегического ландшафта СССР. Логично, что чуткий к центрам идейной силы и вниманию власти, но привязанный к Харбину, Устрялов попытался «пересесть» из естественно умершей без государственной поддержки конструкции «сменовеховства» в разветвлённую сеть евразийской организации, ведущую активную издательскую деятельность.

108 *С.С. Хромов*. По страницам личного архива Сталина. М., 2009. С. 9.

109 *М.А. Колеров*. О любви евразийства к СССР: письмо Л.П. Карсавина к Г.Л. Пятакову (1927) // Русский Сборник: Исследования по истории России. XIV. М., 2013. С. 415–421.

Из своего едва ли не астрономического далека, но находясь уже на советской службе[110] Устрялов обращался к одному из идейно-практических вождей евразийства П.П. Сувчинскому в письме от 31 октября 1926 года, высокомерно снижая его (хорошо известный ВКП(б)!) практический вес, пытаясь выговорить себе дополнительное руководящее место в его системе и, главное, выдвигая вместо мёртвого «сменовеховства» имя якобы существующего вне самого Устрялова национал-большевизма:

> «Давно я уже очень пристально присматриваюсь к евразийству. Читал все Ваши сборники. Чувствую в них много себе созвучного. Слывя "сменовеховцев", я в действительности ближе к евразийству, нежели к недоброй памяти европейскому сменовехизму. Недавно в статье П.Б. Струве ("Возрождение", 7 октября) прочёл, что "левое евразийство" тождественно "национал-большевизму". Кажется, Струве в известной мере прав. Да, национал-большевизм, несомненно, соприкасается с евразийством. Но разница между ними в том, что судьба сделала из меня более политического публициста, чем философа национальной культуры. Вы, евразийцы, далеки от непосредственных и текучих злоб дня. Вы куете большую идеологию, расположившись в стороне от политических битв, базаров и суетни. Вы — в эмиграции (...) уже давно я не эмигрант, а "внутрироссийский интеллигент", хотя и живущий ныне за границей. Вы понимаете, что в этом положении есть и свои плюсы, и свои минусы. (...) Когда я выступил с первыми "примиренческими" статьями ("В борьбе за Россию"), было тоже очень, очень трудно. Много пришлось передумать и, что греха таить, перемучиться. Долгое время я был совсем одинок. Приходили, правда, спутники, которым лучше бы и не приходить...»[111]

Представляя себя специалистом по советской политической практике, Устрялов, однако, никак не мог понять одновременно зависимой и провокационной природы риторического радикализма евразийства (по крайней мере, той его части, что действовала в согласии с советской разведкой), который природные «идеократические» претензии евразийцев *вместе с* ВКП(б) сфор-

110 Устрялов, помимо преподавания на независимом русском Харбинском юридическом факультете, работал на принадлежавшей СССР КВЖД и принял советское гражданство («к весне 1924 Устрялов уже состоял советским гражданином»: *О.А. Воробьёв*. Трагедия перерождения (Николай Устрялов и «Смена Вех») // Н.В. Устрялов. Очерки философии эпохи. М., 2006. С. 11).

111 *Н.В. Устрялов*. Письма к П.П. Сувчинскому. 1926–1930 / Сост. К.Б. Ермишиной. М., 2010. С. 16–17.

мировать для СССР «правящий отбор», то есть новую элиту, превращал в декларации об элите *вместо* ВКП(б),[112] то есть выявлял для Сталина всех потенциальных его противников внутри СССР. Устрялов писал одному из советских агентов в евразийском руководстве Сувчинскому 5 октября 1927 года:

> «В своё время я очень предостерегал отсюда сменовеховцев от излишних слов лести по адресу большевиков, утверждая, что это — очень плохая тактика. Они не послушались и погибли. Теперь считаю долгом, если позволите, предостеречь и вас, евразийцев, от преждевременной и демонстративной "фашизации" вашего движения. Ценность евразийства — в его *пореволюционности,* в его "имманентности" послереволюционным процессам. (...) Ваши интуиции зовут вас на пореволюционный путь. А вы сбиваетесь на революционный, то есть банально контрреволюционный (...) перебрасываетесь неизбежно на ту сторону революции. (...) Поймите, что в плане конкретно-политическом сейчас совсем *не время* громко говорить о замене коммунистов вообще, о наследниках большевизма, о новой единой и единственной партии, "предлагаться" в наследники и т.д.»[113]

Впрочем, подобные слова о фальши чрезмерной ангажированности тех, кто примирялся с большевизмом — не важно: как лишь с реальностью, как с хозяином положения или как со стороной тайного соглашения, — были сказаны, в первую очередь, в адрес самого Устрялова и его коллег по «Смене Вех». Крупная берлинская газета традиционной кадетской эмиграции «Руль», руководимая И.В. Гессеном, писала о них так: «Нельзя, конечно, отрицать, что в направлении советской политики, — по крайней мере экономической, — произошёл крутой поворот. Термидор это или не термидор, судить ещё рано. Но забегать вперёд перед большевиками, ласково заглядывать им в глаза и вилять хвостом, как это делают некоторые участники сборника (...) тактика, отнюдь не содействующая ни успешности советского термидора, ни интересам самой интел-

112 Активный евразиец и, кстати, противник советских агентов в евразийском движении, — и тот не чувствовал провокационного характера этих претензий: «В случае, если ВКП(б) переродится и займёт положение, соответствующее положению правящего отбора, противникам ВКП(б) "нечего будет делать". О возможностях и признаках такого перерождения много и основательно писал Н. Устрялов... Но из мыслей Устрялова не вытекают никакие нравственные и политические выводы, если не считать общего призыва к "не-деланию" в уповании, что "всё образуется". В устряловском национал-большевизме совершенно отсутствует воля к политическому действию» (*К.А. Чхеидзе.* Евразийство и ВКП(б) [1929] // Константин Чхеидзе. Путник с Востока. С. 327).

113 *Н.В. Устрялов*. Письма к П.П. Сувчинскому. С. 19–20.

лигенции, ни её достоинству».[114] Надо отдать Устрялову должное: умерив свои амбиции, публично он вполне адекватно оценил амбиции евразийства — в том же 1927 году, во втором издании своего сборника «Под знаком революции»:

> «Евразийство (...) окунаясь в политику, не избегло общеэмигрантской доли, когда вдруг вздумало мечтать о роли "идейного штаба" для формирующегося "правящего слоя" СССР. Не могут люди не словесно, а подлинно и до конца осмыслить, что "смена" со всеми своими "штабами" формируется "там", созревает непосредственно в революции, вскармливается и вспаивается революцией... Нельзя ободрять себя примером дореволюционной эмиграции, из женевских мансард перекочевавшей разом в Кремль: ибо новой великой революции не может быть и не будет» («Фрагменты»).

Контрреволюционному радикализму и активизму, реакционной революционности Струве, то есть тому, что было нового в его либерально-консервативном «веховстве» начиная с конца 1917 года, когда он, ещё спасая основы своего либерализма от монархического, в конечном счёте, перерождения, пытался изобразить большевистскую революцию как акт контрреволюции, хаотического разрушения свобод и прогресса, Устрялов остроумно противопоставил самого Струве эпохи «Вех». Тогда Струве сам боролся против слепого активизма за органическое воспитание и пересоздание жизни. В «Вехах» Струве писал: «Революцию делали плохо. (...) суть дела (...) не в том, как делали революцию, а в том, что её вообще *делали*» («Интеллигенция и революция»). Теперь же Устрялов успешно побивал его собственным же его оружием: «Перефразируя старые слова, можно сказать: «Контрреволюцию делали плохо. Но не в этом суть дела. Она не в том, как делали контрреволюцию, а в том, что ее вообще делали». Это не только вывод из прошлого, но и урок для будущего» («Из записной книжки 1926–1927 годов»).[115]

Как всегда это происходит с идейным цитированием, заимствованием формул, вместе с прямыми ссылками на формулы — вольно или невольно, рационально или «контрабандой» — воспроизводится и их мыслительный контекст, сопутствующие им границы применения этих формул, их *текст*. *Текстом* «веховского» отвержения радикализма и противопоставления ему

114 *П.Ш.* «Смена вех» // Руль. Берлин, 27 ноября 1921. С. 6.

115 См. также: «Рассуждая по существу, я должен сказать о русской революции 1917 и след. гг.: она была, как факт народной жизни, *великое бедствие* и, поскольку её "делали", *великая ошибка*» (П.Б. Струве о смысле русской революции. Три письма к Е.Д. Кусковой / Публ. Г.П. Струве // Мосты: сборник статей к 50-летию русской революции. Мюнхен, 1967. С. 212 (письмо от 2 февраля 1940)).

органического воспитания общества, на пути к которому достигалось предварительное равновесие общества, в политической практике, была мечта о **(просвещенной) диктатуре**, к которой уже в 1918 году склонялись либералы Новгородцев, Струве, Устрялов, которую в 1920 году в Крыме реализовывал Врангель в своей «левой политике правыми руками», с чем смирялся в большевистской России Устрялов начиная с 1920 года. Текст этого уже был дан и в «веховской» статье Струве, который там ясно говорил о политической практике: «Вне идеи воспитания в политике есть только две возможности: деспотизм или охлократия». А в одной из своих столь же несомненно выученных Устряловым статей 1917 года, направленных против революционного и большевистского хаоса, Струве давал такую формулу *правильного* социализма, что она ни на йоту не отошла от марксистской догмы, которой в конце 1920-х годов и последовали большевики, начиная сверхцентрализованную индустриализацию и репрессивную коллективизацию в экономике СССР: «Русская революция, по своему объективному смыслу и реальному значению, есть не торжество социализма, а его попрание и крушение. Ибо что такое социализм? Прежде всего это такое упорядочение производства и вообще всей экономической жизни, которому должны подчиняться все групповые и личные интересы».[116]

В 1935 году Устрялов вернулся в Россию, ставшую СССР. Готовясь к возвращению он, похоже, полной грудью вдохнул в себя приятие практического коммунизма, едва ли не цинично называя вещи своими именами. Он писал своему конфиденту Г.Н. Дикому, собираясь из Харбина «на Север» и прямо предупреждая, что впредь, «там, разумеется, я уже не позволю себе даже и в дневниковых записях отклоняться от системы идей, обязательных для всех»:

> 23 ноября 1933 года: «Мне кажется, следует решительно переключаться с русского национализма на имперский, т.е. неизбежно советский. Тактически это совершенно ясно. Это понимают и евразийцы, говорящие о «евразийском мире народов». Политически «советский национализм» — более ударный и реальный лозунг, нежели «евразийское сознание». Историософский тезис «советской нации» — вполне защитим, хотя привиться ему будет трудно: он принципиально неприемлем для коммунистического и интернационалистского мессианства».
>
> 27 февраля 1934 года: «...замирение деревни уже началось, равно как и учеба руководителей промышленности происходит весьма интенсивно. Разумеется, все эти положительные явления не означают устранения многих тяжких сторон советской жизни, — и прежде всего той миллионной армии рабов (сосланных, лишенцев — рабо-

116 *Пётр Струве*. Иллюзии русских социалистов // Русская Свобода. № 7. Пг., 1917. С. 3.

чий класс № 2), которая своими страданиями и своими костьми обеспечивает успех многих замечательных строек».

2 апреля 1934 года: «Готов признать также обязательность руководства генлинии, политической дисциплины. Но гораздо труднее отречься от всякой самостоятельности в сфере “историософской”, в области больших социально-научных синтезов, прогнозов и проч. Но и это нужно, если поворачиваешься лицом к Северу: идеократия, как известно, есть государство с обязательным не только политическим, но и общим, всяческим миросозерцанием».

16 февраля 1935: «Великая стройка наших дней есть, несомненно, дело великого русского народа, но — народа, организованного и направленного ведущим партийным слоем. (...) Да, партия мучила и мучит народ, но без этих мук, разумеется, не было бы и материала для пореволюционного пафоса, не было бы ни пятилеток, ни социальной правды, ни национальной силы, которыми он, этот пафос, теперь вдохновляется».[117]

8

Охлократия 1917–1918 годов большевиками уже была преодолена. На очереди стоял деспотизм и признание его — с тайной надеждой, что он будет соответствовать национальным интересами. Деспотизм и его признание требовали жертвы. Поражение белых правительств в Гражданской войне на деле автоматически закрывало путь для внутренней антибольшевистской контрреволюции и рисовало иные, фантастические тогда перспективы: (1) иностранная интервенция и прямое завоевание Советской России при участии её белых врагов, (2) внутренний антикоммунистический переворот или эволюция при правящем участии внешних антикоммунистических или некоммунистических сил (сценарий евразийцев) и (3) прокоммунистический легизм, капитуляция перед большевиками в надежде на личное участие в их власти над Россией (сценарий сменовеховцев). О том, что иные сценарии были уже мертвы, ясно показало антибольшевистское восстание в Кронштадте в марте 1921 года, всего через полгода после гибели врангелевского фронта в Крыму, когда государственные структуры белых армий ещё работали по всему миру: даже внешний, холодный наблюдатель смог понять — русская эмиграция не сумела оказать восставшим никакой практической помощи.[118] Но и фальшь надежд на «коалицию» с боль-

117 Цит. по: *С. Чернышев*. Кальдера Россия // Иное. Хрестоматия нового российского самосознания: Россия как идея. М., 1995. С. 505, 499, 500, 501, 492.

118 *Пол Эврич*. Восстание в Кронштадте. 1921 год [1970]. М., 2007. С. 124.

шевиками была видна с неменьшей очевидностью. О ней писал компетентный наблюдатель, излагая надежды сменовеховцев на коалицию:

> «Пусть большевики — разрушители и погромщики, но теперь они взялись за ум и делают то, что должно, что должна делать всякая национальная власть, хотя и прикрываются разными революционными и интернациональными лозунгами. Такая оценка их понравилась прежде всего самим большевикам. Они признали мудрость сменовеховских вождей и даже дали им легальное существование в России. На минуту запахло в воздухе чем-то вроде коммунистического национализма, но уже в следующую минуту сменовеховцы, как выжатый лимон, оказались на советской помойке, куда неизбежно отправляются все большевицкие попутчики и перебежчики (...) Объективная логика вещей, как бы стихийный разум народа, подводит созидательные начала под отрицательные и разрушительные силы революции. Если эта логика вещей заставляет служить себе невольно своих врагов, капитулировать перед собой носителей разрушения, то их и нужно брать в плен, а не сдаваться им, не идти к ним в Каноссу, хотя к этому и призывает сменовеховская псевдогосударственность».[119]

В итоге — в 1927 году признание прозвучало и от Струве, и трудно сказать: насколько критичное и осмысленное, особенно помня, что историческим фоном для него в СССР стала уже полугодовая «военная тревога», всеобщее ожидание войны и белогвардейской интервенции, кризис в отношениях с Англией и Польшей, военное обострение в Китае, политический разгром оппозиции «интернационалиста» Троцкого, о которых ежедневно писала советская печать, а крестьянство уже стало накапливать продовольственные запасы. На этом фоне активного *советского патриотизма* и зафиксированного спецслужбами пассивного ожидания поражения большевиков Струве выступил, наверное, крайне несвоевременно, что с конца 1920-х с ним происходило всё чаще:

> «Рядом со страстью свободы нужна и другая страсть — государства и государственной мощи. (...) В том стихийном национализме, которым охвачена молодёжь и внутри России, и за рубежом, — сквозь все чрезмерности и уродства — обнаруживается здоровая и творческая страсть к государственной мощи. Этой страсти прежняя русская интеллигенция не знала».[120]

119 *Н.В. Болдырев*. Правда большевицкой России [1927–1928] // Н.В. Болдырев, Д.В. Болдырев. Смысл истории и революция / Сост. М.Б. Смолин. М., 2001. С. 162–163.

120 *П. Струве*. Дневник политика. 235 (34): Несколько признаний и заветных мыслей // Россия. № 19. Париж, 31 декабря 1927. С. 1.

Идеалистический и амбициозный, жертвенный национал-большевизм, движимый идеей *сопричастности судьбе страны*, проиграл пафосу властвования, практической выгоде *участия во власти* (вовсе не идейного или руководящего, как мечтали национал-большевики, а чисто бюрократического, исполнительского и потребительского). Но эта жертва исходила из презумпции того, что власть действует адекватно национальным интересам, была авансовой жертвой в пользу лишь отчасти реальной, негарантированной возможности. То есть была жертвой не государству, а власти, которая не гарантировала и не собиралась гарантировать жертвователю оправданности жертвы и следования государственным интересам. Сразу же по выходе в свет сборника «Смена Вех» оказавшийся в Советской России наиболее свободным в выражении своих мыслей представитель прежних «Вех» А.С. Изгоев первым заметил это и риторически вопросил: «Не приписывает ли Устрялов своих мыслей Ленину, за которые последний и не думает отвечать?».[121] Но, видимо, Устрялов, разделяя убеждение его учителей в несомненности *мистики государства*, не тратил душевные силы на строгое отличение её от наличной власти, пока она хотя бы внешне оставалась суверенной и национальной, пока внешний враг, угрожая тотальным уничтожением, напоминал даже отвратительной власти на её неразрывную связь с исторической государственностью. Думаю, Устрялову, идя в СССР на неизбежный эшафот, было легко отмахнуться от антибольшевистской эволюции Струве, в эмиграции все надежды свои возложившего на вооружённую интервенцию великих держав ради свержения большевиков. Устрялов, несомненно, хорошо помнил его прежние, в одном из связанных с «Вехами» фрагментов процитированные Струве «строгие и мужественные слова Тургенева», вложенные им в уста Лежнева:

> «Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без неё не может обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное горе тому, кто действительно без неё обходится. Космополитизм — чепуха, космополит — нуль, хуже нуля; вне народности ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нет. Без физиономии нет даже идеального лица; только пошлое лицо возможно без физиономии».[122]

То, что произошло потом, 22 июня 1941 года, когда исторически, политически и морально, несмотря на усилия Гитлера использовать коллабора-

121 *А.С. Изгоев*. «Вехи» и «Смена вех» [1922] // А.С. Изгоев. Рождённое в революционной смуте / Науч. ред. А.А. Белых. М., 2017. С. 394.

122 *П.Б. Струве.* Спор с Д.С. Мережковским. 1. Первый ответ // П.Б. Струве. Patriotica: Политика, культура, религия, социализм [1911]. М., 1997. С. 73 (24 февраля 1908).

ционистов внутри СССР для развязывания новой Гражданской войны, она не началась, а прежняя — кончилась, сделав белых союзников Гитлера соучастниками гитлеровского геноцида против народа России, случилось совершенно независимо от национал-большевизма Устрялова.

Но в том факте, что наибольшая часть русской эмиграции вне СССР выступила против Гитлера, а после, в годы «холодной войны», старшая русская политическая эмиграция, не переставая быть антикоммунистической, так и не дала своего имени и моральной санкции на проекты расчленения Исторической России,[123] есть несомненное участие отчаянной, одинокой проповеди Устрялова.

123 Об этом подробно: *Ф.А. Гайда, М.А. Колеров.* [Рец.:] Русский либерал на встрече с историей: Наследие Ариадны Владимировны Тырковой: Дневники. Письма / Сост. Н.И. Канищева. М., 2012. 1111 с. // Русский Сборник: Исследования по истории России. Т. XIX. М., 2016.

О любви евразийства к СССР: письмо Л.П. Карсавина к Г.Л. Пятакову (1927)

Исследователи наследия историка и философа Льва Платоновича Карсавина (1882–1952) до сих пор с видимым стеснением говорят о том, что увлечению Карсавина евразийством во второй половине 1920-х годов сопутствовало увлечение советской властью и большевистской государственностью. Ей он (и не он один) мечтал навязать своё представление о некоммунистическом пути развития СССР как Исторической России. И для этого шёл (как и многие другие евразийцы) на теснейшее сотрудничество с большевиками. И вполне отдавал себе отчёт в том, что, находясь в эмиграции, куда был выслан из Советской России в 1922 году, он вступал в тайный диалог с высшими политическими кругами большевиков и сотрудничал именно с советской политической разведкой. Это последнее обстоятельство внятно до сих пор не проговорено ни теми, кто, как философ С.С. Хоружий, первый исследовательски заговорил о коммунистических связях Карсавина, ни теми, кто, как историки А. Свешников и Б. Степанов, анализирует роль этого биографически-политического контекста мыслителя в его историографической судьбе.

Путь эмигранта от сотрудничества к смерти в ГУЛАГе, подобный пути другого евразийца Д.П. Святополк-Мирского (1890–1939), всё-таки не столь распространён, как судьба тех погибших в ГУЛАГе, кто сотрудничал с советской властью, не покидая СССР. И глубина погружённости Карсавина в этот «контекст» определённо не выяснена.

В своей ставшей уже классической статье об идейных коммунистических связях Карсавина С.С. Хоружий первым процитировал важный документ, который не должен был бы оставлять никаких сомнений:

> «В ноябре 1928 г. Карсавин от их (евразийцев — М.К.) общего имени написал письмо одному из крупных большевиков Ю.Л. Пятакову, находившемуся тогда в Париже. В письме выражалось желание обсудить «с деятелями нашей общей СССР… евразийскую идеологию и современное положение». Евразийцы заявляли, что они пошли на подобный шаг, «стремясь включиться в российский исторический процесс и отделяя себя от эмиграции», но в то же время намерены «не менять своей идеологии, не устраивать новой смены вех». Эпизод, разумеется, не имел развития. В сталинском государстве евразийством было положено заниматься не дипломатам или идеологам, но чекистам — и они это делали уже давно и успешно».[1]

Ссылки на источник цитируемого текста Хоружий не дал. А различение между дипломатом и идеологом Пятаковым и анонимным сотрудником большевистского ГПУ, курирующим евразийство, и поспешное «эпизод, разумеется, не имел развития» — понадобились исследователю, видимо, для того, чтобы, утверждая идейную падкость Карсавина на коммунистическую идеократическую государственность, отвести от него логичные предположения о том, что пристрастия мыслителя имели не только идейные, но и практические следствия.

Историки же, сосредоточиваясь на современных попытках легитимации Карсавина как русского классика в области философии и медиевистики, не могут (хоть и глухо) не признать, что этой легитимации история отношений Карсавина с СССР явно не помогает.[2] Более того: исследователи из числа современных идейных продолжателей Карсавина склонны считать эти отношения едва ли не несущественными, вовсе посторонними делу: «Мы еще не встречали современных исследований левого евразийства, где хотя бы адекватно и более или менее полно излагались идеи левых евразийцев 20-х годов. Вместо этого сплошь и рядом мы видим один за одним «аргументы к человеку», смысл которых в обвинениях левых евразийцев в пробольшевизме, просталинизме и предательстве русской эмиграции. Пример этого — статья С.С. Хоружего «Карсавин, евразийство и ВКП», которая является одним из наиболее цитируемых и значит, авторитетных источников. В ней дается весьма беглый

1 *С.С. Хоружий.* Карсавин, евразийство и ВКП // Вопросы философии. М., 1992. № 2. С. 83. Переиздано без изменений: *С.С. Хоружий.* Жизнь и учение Льва Карсавина // С.С. Хоружий. После перерыва. Пути русской философии. СПб., 1994.

2 *Антон Свешников, Борис Степанов.* История одного классика: Лев Платонович Карсавин в постсоветской историографии // Классика и классики в социальном и гуманитарном знании / Отв. ред. И.М. Савельева, А.В. Полетаев. М., 2009. С. 348. Ср.: Мир историка. Историографический сборник. Вып. 7 / Под ред. В.П. Корзун, С.П. Бычкова. Омск, 2011. С. 293.

и, увы, пристрастный обзор левоевразийского периода творчества Карсавина, не лишенный крупных недостатков. Из этого обзора вроде бы следует, что главная особенность левого евразийства Карсавина в признании советских коммунистов бессознательными орудиями «хитрого» Духа Истории…»[3]

Теперь очевидно, что С.С. Хоружий имел дело не с точной копией документа, а с его списком или даже извлечением из него, носящим ошибочную дату. Дальнейшие исследования уточнили датировку по косвенным данным, но никто так и не продемонстрировал знания полного документа. Уточняя год отправления письма и описывая руководящий круг парижской активности евразийцев в лице Карсавина, Мирского и П.П. Сувчинского (1892–1985), С. Глебов пишет:

> «Сувчинский и Карсавин пытались наладить контакт с советским представительством во Франции. В 1927 году состоялись встречи и переговоры Сувчинского с Г.Л. Пятаковым, о чем Сувчинский сообщал Трубецкому. Сувчинский вынашивал планы превращения евразийства в орган той или иной оппозиционной группы в СССР (например, правой оппозиции), создания из евразийства «лаборатории мысли» для советских оппозиционеров… Вместе с Мирским, проповедовавшим идею гибели русской литературы в эмиграции, Сувчинский установил контакт с Горьким, посетив его в 1927 году на острове Капри. Именно Сувчинский, несмотря на протесты (яростные — Савицкого и более сдержанные — Трубецкого), содействовал полевению газеты «Евразия», которая начала выходить в Париже в 1928 году. Газета стала откровенным рупором советской пропаганды (возможно, Сувчинский действительно хотел превратить ее в трибуну правой оппозиции, как об этом на допросах в ОГПУ-НКВД говорили Мирский[4] и Карсавин)».[5]

Когда с началом «большого террора», в конце 1936 года Пятаков попал под следствие НКВД как (бывший) участник так называемой «правой оппо-

3 *Вахитов*. Классическое левое евразийство // www.nevmenandr.net/vaxitov/kle.php.

4 С. Глебов напоминает: «см. записку сотрудника НКВД, утверждавшего, что Мирский принимал участие в переговорах евразийцев с Г.Л. Пятаковым в его бытность торгпредом СССР во Франции. Речь якобы шла о блоке «правой оппозиции» (*Сергей Глебов*. Евразийство между империей и модерном: История в документах. М., 2010. С. 156). Другой исследователь подтверждает: Мирский «не отрицал, что в Париже он встречался с Пятаковым и что на этой встрече обсуждалась возможность коалиции коммунистов с евразийцами» (*О.А. Казнина*. Русские в Англии: Русская эмиграция в контексте русско-английских литературных связей в первой половине XX века. М., 1997. С. 152).

5 *Сергей Глебов*. Евразийство между империей и модерном. С. 35, 143.

зиции», его — несомненно, согласованная и известная в Москве — парижская встреча с евразийцами Карсавиным, Сувчинским и Мирским была отмечена как политически значимая именно для оппозиции. Но дело не в политическом масштабе встречи, а в том, что она, как видно, состоялась не в результате самодеятельности Пятакова, а как официальное политическое продолжение прямого или косвенного сотрудничества евразийцев с советской политической разведкой ГПУ, а вовсе не планов сотрудничества с внутрипартийной оппозицией в СССР. Поэтому автоматически и некритически повторять вслед за карательной риторикой НКВД, что советские спецслужбы *официально* ангажировали евразийцев якобы не в интересах СССР в целом, а в интересах, например, троцкистов (к концу 1927 года уже полностью изгнанных с советской политической сцены) или «правой оппозиции» (которой в 1927-м даже в риторике попросту не существовало), — не имеет никакого научного смысла.

Георгий (Юрий) Пятаков (1890–1937) был в Париже, как и в СССР, до и после переписки и встречи с Карсавиным и его единомышленниками одним из крупнейших не только политических деятелей в системе советской власти, но и архитекторов её экономического режима. После большевистской революции и в годы гражданской войны он последовательно — комиссар Государственного банка России, глава советского правительства Украины, председатель Чрезвычайного военного революционного трибунала, комиссар Академии Генштаба, глава военной разведки Красной армии, руководитель угольной промышленности Донбасса. С 1922 года — так же, шаг за шагом, — заместитель председателя Госплана, заместитель председателя ВСНХ СССР — высшего органа управления экономикой. И лишь после этого — выводимый Сталиным из внутриполитической борьбы в качестве сторонника Л.Д. Троцкого — Пятаков в 1927 году становится во главе торгового представительства СССР во Франции, в центре русской политической эмиграции. Уже в 1928-м его возвращают в СССР, где он становится заместителем, а затем председателем правления Государственного банка СССР. После расформирования ВСНХ на ряд ведомств, в 1932-м Пятаков назначается заместителем, а затем — первым заместителем Серго Орджоникидзе — главы наркомата тяжёлой промышленности СССР, многоотраслевого сверхведомства, главного оператора форсированной индустриализации. Ясно, что столь влиятельный и ответственный коммунист не был «дипломатом» или «идеологом» даже в кратковременной бюрократической ссылке в Париж.

На встрече 1927 года, о подготовке которой идёт речь в письме, Карсавин, Сувчинский и Мирский, несомненно, договорились с Пятаковым как полномочным представителем политического руководства СССР о финансировании (по известной схеме, отработанной на «сменовеховцах», — поэтому упомина-

ние о них и возникает в публикуемом ниже письме Карсавина) нового издательского проекта евразийцев. Этот новый проект включал в себя не только финансирование собственно издательских расходов, но и финансирование конкретного политического содержания нового издания, но и — что не менее важно — личную материальную поддержку евразийцев путём выплаты заработных плат членам редакции издания и гонораров его авторам. В 1928 году в Кламаре во главе с Мирским и Сувчинским и при активном участии Карсавина начинает выходить газета «Евразия», наполненная всё менее скрываемой советской пропагандой. Совершенно нельзя сказать, что это было новостью для основателей и высших руководителей евразийства П.Н. Савицкого (1895–1968) и Н.С. Трубецкого (1890–1938), живших в других столицах эмиграции.

С. Глебов убедительно показал в опубликованных им документах, что задолго до того, как в 1929 году Савицкий и Трубецкой «разоблачили» продажный характер газеты «Евразия» (1928–1931) и порвали с ней, а Савицкий, В.Н. Ильин (1891–1974) и Н.Н. Алексеев (1879–1964) выпустили брошюру «О газете «Евразия» (газета «Евразия» не есть евразийский орган)», где дезавуировали усилия Пятакова, ГПУ, Сувчинского, Мирского и Карсавина, — как минимум Трубецкой внимательно следил за исполнением договорённостей с Пятаковым (в переписке Трубецкого с Сувчинским его кодовое имя «Гривенников»): «Существует мнение, что «классическое» евразийство, представленное «учёными» — Савицким и Трубецким, — не участвовало или только в малой степени участвовало в политической авантюре евразийцев, ответственность за которую якобы нёс Сувчинский и левая парижская группа. Несмотря на то, что Трубецкой действительно время от времени поднимал вопрос об излишней политизации движения, нет никаких оснований утверждать, что у евразийцев не было внутреннего консенсуса по поводу политической составляющей их работы». Например, в письме от 1 декабря 1927 года Трубецкой прямо удерживал Сувчинского от конкретной публикации ещё в «Евразийской хронике» прежнего образца, аргументируя это так: «Особенно несвоевременна она именно сейчас, когда Ваше свидание с «Гривенниковым» как будто открывает какие-то новые перспективы и, м.б., новый круг читателей…».[6]

Из публикации нижеследующего письма вытекает, что встреча Карсавина, Сувчинского, Мирского с главой торгпредства СССР в Париже Пятаковым *была инициирована евразийцами*. Пятаков откликнулся на эту инициативу, официально пригласив гостей непосредственно в помещение торгпредства. Од-

6 *Сергей Глебов.* Евразийство между империей и модерном. С. 148, 514. О внимании Трубецкого к руководящей позиции Пятакова в отношении евразийства см. подробно в его другом письме к Сувчинскому от 4 июня 1928 года: Там же. С. 529–532.

нако по просьбе Карсавина встреча была проведена неофициально и, скорее всего, не в помещении торгпредства. На этой встрече, состоявшейся между 17 и 30 ноября 1927 года, Пятаков от имени СССР взял на себя обязательство финансировать евразийское движение в обмен на пропаганду СССР за рубежом силами евразийцев. Евразийцы согласились и начали выпускать на советские деньги газету «Евразия». В этом и выразилась их практическая любовь к СССР.

Главный герой событий с советской стороны, видный союзник Троцкого Г.Л. Пятаков прибыл в Париж торгпредом 19 мая 1927 года и вместе с полпредом во Франции Х. Раковским возглавлял делегацию СССР на переговорах о долгах царского и Временного правительств. Пятаков не переставал быть видным троцкистом-глобалистом, для коего приоритетом оставалась мировая революция, и уже из Парижа подписал политические заявления троцкистов в мае и сентябре 1927 года, главным пунктом которых был протест против сталинского курса на «социализм в одной стране», то есть отказ от перспективы мировой революции. Вскоре после встречи с евразийцами, в декабре 1927 года в рамках подготовки к XV съезду ВКП(б) Пяткова отозвали в Москву, где его исключили из партии, но он заявил о подчинении решению съезда и, сохранив все полномочия, вернулся в Париж. Во время очередной поездки в Москву 14 и 21 февраля 1928 года Пятаков лично встречался со Сталиным в его кабинете в Кремле и 28 февраля — заявил о разрыве с Троцким и попросил восстановить его в партии.[7] Нет сомнений, что Пятаков — столь крупная партийная фигура, которую Сталин так упорно уговаривал об отказе от Троцкого — реализовывал в отношениях с евразийцами (тоже поклонниками континентальной самодостаточности «в одной стране») не собственные экспромты, а солидарную позицию высшего руководства СССР.

Все эти политические поступки, несомненно, отражали изначальную интуицию евразийства в целом — его претензию на участие в идеократической власти в СССР. И раскол в евразийстве («кламарский») лишь ситуативно выявил изначальную проблему в этой претензии евразийских вождей: на каких условиях они готовы были к сотрудничеству с большевиками — как участники идейной коалиции, чего хотели бы Трубецкой и Савицкий, или как агенты, на что согласились Карсавин и Сувчинский. Легко было Трубецкому об этом писать постфактум как об искушении только этих последних лиц, а не всеобщем, но нельзя было не признать, что это искушение было предметом, как минимум, широкого обсуждения, то есть, как минимум, не отвергалось как изначально преступное:

7 *Валерий Солдатенко.* Георгий Пятаков: оппонент Ленина, соперник Сталина. М., 2017. С. 356–358, 360.

> «Кламар начался с пресловутого желания “включиться” во внутрисоветские процессы. У Сувчинского вскружилась голова, когда парижский полпред Пятаков пожелал с ним познакомиться. Вы, конечно, помните его рассказы и письма по этому поводу: “Подумайте! Наконец-то! в первый раз они нами серьезно заинтересовались…” и т.д.»[8]

В 1931 году Мирский так вспоминал о главных мотивах своих политических действий от имени евразийства, что может быть отнесено и к мотивам поиска сделки с правящими большевиками: «В те годы, когда я сблизился с евразийцами, мы, эмигранты, привыкшие считать себя элитой нации, ощутили себя настоящими париями, людьми низшими — и по отношению к удачливой буржуазии запада, и по отношению к победившим рабочим и крестьянам собственной страны. Поэтому было таким утешением считать, что всё происходящее — только видимость, что русская культура ближе к Богу, чем западная, что на самом деле революция свершилась во имя *нашей* России, что её марксистская скорлупа будет со временем сброшена и мы вернёмся в наше отечество с честью и вновь станем вождями и сливками нации». Мирский «не отрицал, что в Париже он встречался с Пятаковым и что на этой встрече обсуждалась возможность коалиции коммунистов с евразийцами».[9]

Ксерокопия рукописного оригинала письма Карсавина к Пятакову была любезно предоставлена мне для настоящей публикации директором Библиотеки Союза театральных деятелей России В.П. Нечаевым, которому документ некогда вручил известный публикатор и собиратель В.Е. Аллой (1945–2001).

8 *А.В. Соболев*. О русской философии. СПб., 2008. С. 440 (Письмо Н.С. Трубецкого к П.Н. Савицкому от 29 марта 1936).

9 *О.А. Казнина*. Русские в Англии: Русская эмиграция в контексте русско-английских литературных связей в первой половине XX века. М., 1997. С. 142, 152.

Приложение

Письмо Л.П. Красавина к Г.Л. Пятакову (1927)

18.XI.1927
11 bis, rue de St. Cloud. Clamart (Seine)

Уважаемый товарищ Пятаков,

Вы были так любезны, что согласились на свидание с евразийцами, и эта любезность обязывает нас предварительно рассеять могущие возникнуть недоразумения, т.е. изложить мотивы, по которым мы завтра быть у Вас не можем.

Всемерно стремясь включиться, и реально включиться в русский исторический [вопрос][10] процесс и отделяя себя от эмиграции, мы подняли вопрос о беседе с Вами и, возможно, ещё с другими видными представителями нашей общей <С>ССР не для того, чтобы отказаться от нашей идеологии и производить какую-то новую «смену вех». Мы желали бы высказать Вам наши соображения, прогнозы и мысли, их проверить и, может быть, даже видоизменить и выслушать те Ваши замечания и наблюдения, которые бы Вы сочли возможным нам сообщить.

Вы понимаете, что свидание, носящее, если не официальный, то полуофициальный характер, ставит и Вас, и нас в ложное положение, которое делает беседу неплодотворной. Вы можете подойти к нам только как к находящимся на пути к покаянию; мы вынуждены видеть в Вас только официального представителя СССР, с которым прямо говорить невозможно.

Нам по-прежнему было бы очень ценно вполне откровенно, без всяких задних и так называемых контр-революционных мыслей обсудить с Вами и евразийскую идеологию, и современное положение. Но для этого необходимыми условиями являются неофициальность встречи и неофициальность места, хотя, конечно, и вовсе не беседа с глазу на глаз. Позвольте остаться в уверенности, что время такой беседы придёт и не в отдалённом будущем, тем более, что мы к ней всегда готовы.

Преданный Вам Л. Карсавин.

10 Зачёркнуто.

II

Булгаков в поисках русского национального Рафаэля (1900–1902)

С.Н. Булгаков задумался о политическом национализме, национальном освобождении, возрождении и объединении вовсе не в 1909–1910 годах, после «Вех», когда, как известно, обсуждался проект нового «идейного сборника» — на этот раз о национализме, когда Булгаков — по инициативе Струве — выступал перед русскими капиталистами, пытаясь внушить им основы своей идеологии, когда он полемизировал с Е.Н. Трубецким об идейном манифесте книгоиздательства «Путь», а его вариант, написанный Булгаковым в националистическом духе, был Трубецким отвергнут. Видимо, соединение религиозного поиска с социалистической борьбой и дало в биографии Булгакова яркий национальный результат уже в первые годы XX века, когда мыслитель уже освободился от магии марксистской революции — для революции христианской. Впрочем, как показывал опыт, начиная с П.Б. Струве, богатое наследие образцовой для них германской социал-демократии, вполне патриотичной в отношении своей страны и прямо выросшей в политическую силу параллельно с общенациональным объединением Германии, давало в России желающим и прямой образец наследника ритора-идеалиста Фихте, практического вождя-идеалиста Ф. Лассаля.[1] Именно о нём в своих лекциях студентам в 1908–1910 годов говорил Булгаков:

> «я не колеблясь поставлю Лассаля выше Маркса с его пренебрежением к национальному фактору в истории и его значению, и история оправдала предвидения Лассаля. Без политического объединения Германии, без того воплощения национального духа в национальном госу-

1 См. главу «Идеализм в марксизме. Лассаль. Герцен. Мадзини» в книге: *М.А. Колеров*. Сборник «Проблемы идеализма» (1902): история и контекст. М., 2002.

дарстве, о котором говорил Лассаль в речи о Фихте, конечно, германская культура не могла бы так широко развиться в отношениях как экономическом, так и духовном».[2]

Но впервые ярко проявилась у Булгакова жажда национального возрождения гораздо раньше: в 1900-е, в первые годы его руководящего соучастия в «идеалистическом направлении» в освободительном движении и борьбы за превращение социализма в общее знамя религиозной борьбы за национальное освобождение. И коренным образом священной освободительной борьбы для Булгакова становилась Богоматерь. Патетический момент *встречи* Булгакова с «Мадонной» Рафаэля (несомненно, подготовленной чтением посвященных ей страниц «Былого и дум» столь значимого для революционеров вообще и Булгакова в частности А.И. Герцена) летом 1898 года широко известен в его собственном изложении. Признавшись, что его «осведомленность в искусстве была совершенно ничтожна», он вспоминал:

> «Я увидел и с первого же взгляда принял в сердце Сикстинскую Мадонну Рафаэля в Дрездене. Это не было чисто художественное впечатление, эта встреча явилась *событием* моей жизни, — вернее сказать, то было настоящее духовное потрясение...»[3]

Новая, четверть века спустя, встреча с «Мадонной» вызвала иную реакцию, — цитирую интимный дневник, послуживший основой для процитированного выше дневника публично-художественного. Булгаков уже не искал себе нового символа освобождения, а Богоматерь в Мадонне ему не открывалась:

> «Вот я в Берлине... Был здесь марксистским щенком, теперь, на склоне жизни, приехал как священник. (...) Дорогой я остановился

2 *С.Н. Булгаков.* История социальных учений в XIX в. // С.Н. Булгаков. Избранное / Сост. О.К. Иванцова. М., 2010. С.320.

3 *С. Булгаков.* Автобиографические заметки. Дневники. Статьи / Сост. А.П. Олейникова и Н.А. Струве. Орел, 1998. С. 284 (с ошибкой в дате: вместо *ноября* должно быть *февраля*). См. первое описание: «Мне посчастливилось быть в Дрездене и испытать небесное счастье перед Сикстинской мадонной» (В ожидании Палестины: 17 писем С.Н. Булгакова к М.О. Гершензону и его жене. 1897–1925 / Публ. М.А. Колерова // Неизвестная Россия. XX век. Кн. 2. М., 1992. С. 121). Ср. повторенное дважды описание той же встречи: *С. Булгаков.* Свет Невечерний: Созерцания и умозрения / Подг. текста В.В. Сапова. М., 1994. С. 14. Экскурс в историю образа Мадонны в русской культуре XIX века вплоть до Булгакова см.: *Джеймс Х. Биллингтон.* Икона и топор: Опыт истолкования истории русской культуры. М., 2001. С. 415–420.

в Дрездене, был у Сикстины, просидел у неё час. Шел с волнением почти юношеским и… не нашел того, что находил неверующим: Богоматери! (…) Итак, это умерло и не воскреснет вновь».[4]

Прежде же, вскоре после первой *встречи*, летом 1900 года Булгаков поселился в Киеве — и увидел росписи Владимирского собора, только что законченные В.М. Васнецовым и др. В большой истории русского искусства эти росписи как-то не задержались, задержались лишь эскизы М.А. Врубеля к росписям (и работы Врубеля Булгаков не случайно включил в апреле 1906 года в пасхальный номер своей киевской газеты «Народ»). Но для современников художественно-общественная эйфория от васнецовской, акцентировано «национальной» перелицовки канона была велика.

В 1902 году, в Крыму, Булгаков, делясь эйфорией со Львом Толстым, попытался и ему рассказать о своей дрезденской *встрече*, но был им не понят.[5] Тогда же, в 1902-м, по свежим следам встреч, Булгаков выступил во вполне социал-демократическом сборнике «Литературное Дело» со статьей «Васнецов, Достоевский, Вл. Соловьев, Толстой (параллели)». В поиске национальных гениев в главных духовных сферах — в параллель к гениям литературному, философскому и этическому — он добавил гения художественного — «корифея» Васнецова, не только художника, но и верующего «вполне современного человека, познавшего древо добра и зла».[6]

Сейчас несоразмерность не только художественного масштаба, но и тем более — слабой, художественно несовершенной росписи Васнецова высшим творческим образцам и тем более — другим «гениям» очевидна и вопиюща. Но в помрачении своем, в кратковременном стремлении выстроить «параллели» с участием Васнецова, Булгаков был повинен вместе со своим временем. Более того — с актуальной художественной критикой. Рафинированный знаток русской художественной практики С.К. Маковский признавался уже в 1908 году: «Васнецов в конце <18>90-х годов слыл одновременно столпом среди передвижников и чуть ли не гениальным провидцем у мирискусников…» И далее: «Однако Стасов никак не

4 *С. Булгаков*. Из памяти сердца. Прага [1923–1924] / Публ. А.П. Козырева и Н.Ю. Голубковой // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник за 1998 год. М., 1998. С. 227–228. Ср.: «Моя *не состоялась* встреча, здесь я не встретил того, чего ожидал. К чему таить и лукавить: я не увидал Богоматери» (*С. Булгаков.* Автобиографические заметки. Дневники. Статьи. С. 286).

5 *С. Булгаков*. Автобиографические заметки. Дневники. Статьи. С. 288.

6 *С. Булгаков*. Васнецов, Достоевский, Вл. Соловьев, Толстой (параллели) // Литературное Дело: Сб. СПб., 1902. С. 126.

мог простить ему "мистицизма"... С другой стороны, увлечение дягилевцев было очень недлительно, и уже в 1902 году в "Истории русского искусства" Александром Бенуа горькая правда о Васнецове высказана довольно определенно».[7]

Итак, главным поводом к *повторению в России встречи* Булгакова с дрезденской «Мадонной» — теперь уже не космополитической, рафаэлевской, а с национальной, васнецовской Богоматерью — было зафиксированное в статье о параллелях сравнение росписей Владимирского собора с «Сикстинской Мадонной».[8] Понятно, что Булгаков, в своём растущем национальном возбуждении 1900–1906 годов, искал параллели (альтернативы) Рафаэлю и, выстраивая «идеалистическое направление», искал ему культурных соответствий. И во многом случайно эта альтернатива нашлась в Киеве, в соборе, в Васнецове. Не случайно то, что образы киевских росписей Васнецова — при анализе человеческих образов, натурных прототипов ликов — чутко улавливали иной, интеллигентский субстрат массовых религиозных поисков, выразителем которых был и Булгаков, прямо апеллировали к интеллигентской аудитории: и в лице васнецовской Богоматери сквозил узнаваемый интеллигентский женский тип, и в лице васнецовского Христа был реализован тип чахоточный и *надсоновский*...[9]

Булгаков, наверное, прислушался-таки к скорому развенчанию «гения» Васнецова (и потому не стал переиздавать «параллели» в сборнике «От марксизма к идеализму» (1903)), но отнюдь не разочаровался в национальной стилистике Владимирского собора. И даже на Пасху 1906 года, в специальном номере киевской газеты «Народ», фактическим редактором которой он был, разместил цветные (то есть очень дорогие в печати) репродукции Владимир-

7 *С. Маковский.* Силуэты русских художников. М., 1999. С. 35. «Он гениальный художник, оригинальный и неподражаемый и в жанре, и в эпических и религиозных картинах... Лет десять раньше почти так же прославлялся Васнецов многими критиками (в том числе и мною) как возвеститель русской "самобытности", вдохновенный мистик, художник национальных откровений (...) Васнецов новый — декоратор Владимирского собора... Внешне "национальное", обманновпечатляющее в его творчестве казалось каким-то гордым вызовом неумелому "западничеству" художников-подражателей и компиляторов (...) С тех пор мы узнали, что наивной была наша вера, Васнецов не кажется больше ни гениальным учителем, ни вдохновенным мистиком (...) На последней выставке в Академии художеств (1905) все чуткие поняли: великого Васнецова не стало» (С. 144).

8 *С. Булгаков*. Васнецов, Достоевский, Вл. Соловьев, Толстой (параллели). С. 121.

9 См. в настоящем сборнике статью: Новый текст к исследованию революционных культов Надсона, Гаршина и Чехова: *Николай Бердяев.* Памяти А.П. Чехова (1904).

ской серии (Врубеля и Нестерова,[10] а не Васнецова).[11] Очерченная здесь особая художественная чуткость Булгакова делает ему честь. Но есть еще одно обстоятельство, археологически гораздо более несомненное и касающееся не только параллели *Рафаэль — Васнецов*, но и параллели *Васнецов — Достоевский — Толстой*.

В 1901 году в массовой серии художественно-просветительских брошюр вышло сочинение В.Л. Дедлова (Кигна), посвященное Владимирскому собору и снабженное портретом Васнецова, автотипиями — и в целом являющееся апологией художника.[12]

Третья и четвертая главы брошюры были посвящены персонально Васнецову (С. 21–33) и его религиозной живописи (С. 34–74). Именно В.Л. Дедлов, формулируя, что Васнецов «идеалист» и «глубоко национален», в этой брошюре начал сравнение его с Достоевским и Толстым.[13] Булгакову оставалось лишь добавить к названным «гениям» Соловьева и творчески развить то, что уже было изложено в сочинении Дедлова. И именно просветительский, «народный» характер его сочинения мог сослужить дурную художественную службу Булгакову, поскольку подвергал испытанию его эстетический вкус, который ему, глубоко провинциальному мальчику из семьи священника и затем революционному студенту-юристу, было трудно удержать в стороне от банальности среднего качества.

Об этом риске ясно свидетельствуют воспоминания другого революционного писателя, рано приобщившегося к среде современной литературы и искусства, в конце 1904–1905 годов ставшему сотрудником Булгакова в новой редакции журнала «Новый Путь» и журнале «Вопросы Жизни» — Г.И. Чул-

10 Современник записал ревнивый рассказ самого М.В. Нестерова о «владимирской» славе Васнецова: «После Владимирского собора Васнецов был на верху славы. Этот “верх славы” он хорошо чувствовал. И, когда его уже слишком ублажали “славящие” приговаривал, умеряя восторги и славословие:

— Да, вот так и Кукольника когда-то, в <18>30 годах, хвалили, а теперь кто его знает?

Но сказано это было так, что и мысли, и четверть мысли не допускалось, что с Васнецовым может быть так, как было с Кукольником» (*Сергей Дурылин*. В своем углу / Сост. В.Н. Тороповой. М., 2006. С. 172).

11 Редактором и автором художественного (пасхального) приложения к газете «Народ» была Н.Н. Кульженко, в 1900-м — киевская дама сердца Бердяева (*Александр Вадимов*. Жизнь Бердяева. Россия. Oakland, Calif., 1993. С. 50).

12 *В.Л. Дедлов*. Киевский Владимирский собор и его художественные творцы. М., 1901. Пятая глава брошюры посвящена другому культурному вождю Булгакова — М.В. Нестерову (С. 74–86).

13 *В.Л. Дедлов*. Киевский Владимирский собор и его художественные творцы. С. 63, 73.

кова. Чулков противопоставлял церковные росписи Врубеля — росписям Васнецова и вспоминал, что «слащавыми красивостями Васнецова… восхищаются обыватели во Владимирском соборе».[14] Трудно избавиться от подозрения, что в редакции названных журналов Чулков имел не один повод вылить ушат холодной воды скепсиса на провинциальные восторги Булгакова о Васнецове.

Можно предположить, что преодоление обывательского восторга перед Васнецовым облегчалось и осознанием более мощного религиозно и даже общественно-политически дара Нестерова, который, как уже было сказано, Булгаков вполне оценил на Пасху 1906 года. Эта религиозная напряжённость и политическая искренность Нестерова выгодно отличали его не только от Васнецова, но и от известного своей фальшью и конъюнктурностью ***политического*** произведения И.Е. Репина «Манифестация 17 октября 1905 года» (1907–1911), в котором великий художник хотел изобразить общенародный и всесословный восторг по поводу политических свобод, объявленных царским манифестом 17 октября 1905 года. В сравнении с этим образцом тяжёлого творческого поражения художника и копирования им поверхностной газетной публицистики — современная картине Репина картина Нестерова «Святая Русь» (1901–1906), выразившая общенациональную жажду религиозной и жизненной правды, безусловно, служила символом жажды национального освобождения. Не случайно тогда же известный критик, жена Ф.К. Сологуба, опубликовавшего в журнале Булгакова «Вопросы Жизни» (1905) начало своего главного романа «Мелкий бес», договаривала общественное восхищение шедевром Нестерова не только в религиозных, но и в прямо политических категориях:

«В этих бледных, бескровных людях, расширенных глазах, горящих экстатическим огнём восторженного искательства, не запечатлелась ли вся русская душа, веками томящаяся жаждой мученичества, стремлением к великим делам милосердия и подвига… (…) Не потому ли мы любим “нездорового”, “мистического” Нестерова, потому что мы сами больны, веками изнемогали в непосильной борьбе, под варварским гнётом княжеско-татарского самовластия, и ещё не выздоровели и теперь».[15]

14 *Георгий Чулков*. Годы странствий [1930]. М., 1999. С. 312.

15 *Анастасия Чеботаревская*. Выставка М.В. Нестерова // Товарищ. СПб. 8 (21) февраля 1907. С. 3.

П.Б. Струве о «Проблемах идеализма»: *П.С.* О чем думает одна книга? (1903)[1]

Несколько месяцев тому назад вышел в Москве сборник философских статей разных авторов под заглавием «Проблемы идеализма». Это коллективное произведение обратило на себя всеобщее внимание и такое внимание, думается нам, не лишено основания. Нам хотелось бы остановиться на одной стороне выступающего этой книгой и в этой книге умственного течения. Произведения, выходящие в пределах русской цензурной опеки, поневоле не высказывают всего того, что они думают. «Проблемы идеализма», к тому же, занимаются, главным образом, так называемыми отвлеченными вопросами. Но эта отвлеченная книга, не высказываясь прямо о жгучих политических и общественных злобах дня, все-таки думает о них, ими живет и болеет. В каждой ее строке присутствует живая и действенная мысль о той правде и свободе, которые должны быть внесены в русскую жизнь, в отмену властвующих над ней лжи и произвола. «Проблемы идеализма» знаменуют собой укрепление и расширение того союза между идеализмом философским и идеализмом практически-политическим, начало которому положил своей блестящей публицистической деятельностью Владимир Соловьев.[2] Этот союз нужен и для

1 *П.С.* О чем думает одна книга? // Освобождение. № 18. Штуттгарт. 2 марта 1903. С. 311–312.

2 [Прим. П.Б. Струве:] Отмечая публицистическую заслугу Соловьева, мы считаем нужным оговориться, что его богословствование не только не было в согласии с философским идеализмом, но наоборот, в корне ему противоречило, представляя не более, не менее, как грубейший вид *богоматериализма*, или материалистической теологии. Яркий образчик этого теологического материализма дан Соловьевым в том философско-беллетристическом перелицевании богословско-христианского учения о конце мира, которое мы находим в «Трех разговорах».

философской мысли, и для дела освобождения. Философия не может равнодушно взирать на то, что правда и право попираются в жизни; борцы за освобождение не могут не искать поддержки в вечных идеях права и свободы. Для русской идеалистической философии дело ее самопознания и ее чести – быть на стороне свободы и права; для русского освободительного движения тоже дело его самопознания и его чести возвести себя к высшим и непререкаемым идеям, отказаться от которых означало бы для человечества открыть двери звероподобию. Мы знаем, что есть деятели, убежденные, искренние деятели освобождения, которые вовсе не разделяют философского идеализма и готовы всячески оспаривать это мировоззрение. Это – их право. Но пусть за нами, сторонниками идеализма, будет признано и наше право: делу освобождения давать дорогую для нас идеалистическую санкцию, а идеализму находить жизненное оправдание и воплощение в деле освобождения.

Молодой Булгаков о еврейском вопросе: *С. Булгаков*. Два критерия (1905)[1]

В газетах опубликован журнал комитета министров относительно наболевшего еврейского вопроса. Комитет признал, что с «государственной точки зрения вопрос этот имеет только одно разрешение — полное уравнение евреев в правах с прочими гражданами». Однако комитет не осуществил своего решения, предоставив его будущему народному представительству, с следующей характерной мотивировкой: «Общинно-расовые стороны вопроса заставляют принять иное решение, так как уравнение евреев в правах с прочим населением может нарушить его интересы, не ограждая экономического быта от еврейского влияния и вместе с тем может возбудить в нем недовольство, которое выразится в явлениях, прискорбных и нежелательных», и т.д. Аргументация эта, типичная для бюрократии, весьма характерна по своему общему основанию, ибо мировоззрение, положенное в ее основу, является весьма распространенным среди националистов всех времен и народов.

Есть два способа отношения к отдельным людям и к целым национальностям, представляющим собой тоже духовные организмы, собирательные индивидуальности: можно видеть в личности самоцель, абсолютную ценность, такую же, как и соответствующая персона, или же просто вещь, которая рассматривается в качестве средства для посторонних, внешних целей и не имеет никаких прав и собственных притязаний. В первом случае мы имеем всепожирающий эгоизм, признающий весь мир и все человечество существующим только для своего я. Перенесенный в область национальных отношений, он перерождается в национализм, смотря по обстоятельствам, то кроткий и бла-

1 *С. Булгаков*. Два критерия // Сын Отечества. № 113. СПб., 28 июня (11 июля) 1905. С. 1.

годушный, то — гораздо чаще — хищнический и насильнический. Во втором случае мы имеем единственно нормальное человеческое отношение, которое предписывает нам совесть, внятно говорящая: уважай чужую личность и чужую национальность, как свою собственную. Вот два непримиримых, противоречащих критерия: национальный эгоизм, государственный утилитаризм, политика государственного интереса, с одной стороны, требования национальной совести, международного братства, христианской любви и свободы — с другой. Во имя так называемого государственного интереса, верно или неверно понятого национального эгоизма, совершались и совершаются те международные преступления, которые дали повод Вл. Соловьеву метко назвать эту политику международным людоедством. Во имя государственного интереса, хотя и совершенно своеобразно понятого, натравливаются национальности одна на другую. Отношения же, наоборот, второго типа являются редким исключением, хотя должны быть общим правилом.

Конечно, не всегда теория «интереса» подсказывает одни только жестокие репрессии к другим народам, которые нам так известны.

Но если не везде от этого принципа льется кровь в войнах внутренних и международных, то очень часто творится насилие, хотя и бескровное, но не менее преступное. Нужны примеры: гаккатизм[2] в Германии, Ирландия, Индия и Трансвааль в Англии и т.д. и т.д. И, самое главное, такие случаи всегда возможны, пока руководящим критерием в национальном вопросе остается государственный интерес, пока грубый утилитаризм применяется там, где существуют абсолютные ценности, неприкосновенные святыни, пока политика международного пожирания не вызывает принципиального осуждения. Нужно совершенно отказаться от первого критерия и принять второй — признать идеальное достоинство человеческой личности и естественные права на существование и самоопределение всякой национальности, хотя бы ее совершенно легко мог поглотить современный Левиафан.

Пред нашей освобождающейся родиной, пред будущим народным представительством стоит сложный и трудный национальный вопрос, взвинченный до последней степени всей нашей историей и особенно последними событиями, плодом государственного разума бюрократии. И перед волей и совестью освобожденного народа предстанет вновь то же самое искушение: соблазнительная легкость вопросы совести и человеческого достоинства решить соображениями государственного утилитаризма и национально-эгоистического рассчёта [sic]. Конечно, мы знаем, что существующие формы национального угнетения погибнут вместе с отжившим строем и не воскреснут, но этого мало: нужно отвергнуть искушение целиком, в самом корне признать

2 Hakatism / Hakatismus — германский империализм в польских землях (*М.К.*)

и провести в жизнь принцип национального самоопределения без всяких ограничений, если бы даже «господствующей» нации пришлось при этом потерпеть, принести заслуженное искупление за свои национально-исторические грехи. Конечно, политика совести есть самая мудрая и, в конце концов, самая практичная. Но националистическая политика должна быть осуждена не только потому, что не рассчётлива [sic], но прежде всего потому, что она — преступна и во всяком случае следует предпочесть даже заведомо нерассчётливую политику преступной, ибо лучше рыцарство, чем хамство, и неужели любовь к своему народу заставляет желать для него роли насильника? Допустим на один момент, что опасения совета министров справедливы, и эмансипация евреев действительно тяжело отзовется на русском народе. Следует ли отсюда, что терпимо дальнейшее существование ограничения прав? Никоим образом. И соображения утилитаризма, т.е. национального эгоизма, должны быть совершенно отброшены там, где они сталкиваются с высшими этическими обязанностями народов. И если кто-нибудь упрекнет нас за это в отсутствии патриотизма, который нам проповедует националистическая пресса, мы ответим вместе с Вл. Соловьевым: «лучше отказаться от патриотизма, чем от совести».

П.Б. Струве о политическом терроре и И.П. Каляеве: *П.С.* Казнь (1905)[1]

Каляев казнен. С тем же мужественным благородством, с каким он совершил свое дело, взошел он и на эшафот. Чиновникам, присутствовавшим при казни, он сказал: «передайте моим друзьям, что я умираю с радостью и что я буду всегда с ними». Со своей матери он взял клятву, что она не будет ходатайствовать об его помиловании; узнав от матери, что его собираются помиловать, он написал министру юстиции, что считает, в качестве революционера, своим долгом отказаться от помилования. Священника он принял как человека, а не как духовника.[2]

Есть что-то невыразимо обаятельное в этих русских людях с мягкими сердцами, с поэтическими душами и с несгибаемой железной волей, ведущей к убийству из чувства долга. В этих личностях и в их действиях трагедия русской жизни достигает своей высшей точки, в которой нравственная красота сочетается в неразрывное единство с религиозным ужасом.

Казнь не может ничего убавить от этой красоты и ничего прибавить к этому ужасу. Казнь совершена над ним, — его личности она не коснулась.

Но мы не можем мириться с этой казнью, с ее потайным, воровским характером. Всякая настоящая казнь гнусна и отвратительна. Гнусно в ней то, что люди убивают человека, находящегося в полной их власти и потому для них уже безвредного, значит, убивают объективно бессмысленно; казнь и субъективно бессмысленное убийство, ибо оно совершается без всякого дви-

1 *П.С.* Казнь // Освобождение. № 71. Париж, 31 мая (18 мая) 1905. С. 351.

2 Сообщение петербургского корреспондента «Daily Telegraf» (№ от 25 мая) (*прим. П.Б. Струве*).

жения души, без риска, безошибочно: убивают не люди, а государство руками палача. Все, что есть человеческого в любом самом мерзком убийстве, совершенно отсутствует в казни. Она, настоящая казнь с ее обязательной троицей — прокурором, священником и палачом — совершенно безлична и холодна. Она есть самое гнусное, более того, абсолютно гнусное убийство.

Гнусное убийство Каляева презренной рукой палача бессильно оскорбить героическую личность этого трагического, религиозного, святого убийцы. Но оно оскорбляет нас, и мы не можем молчать об этом, тем более не можем, что мы ответственны за совершенное им убийство, а потому виновны и в его казни…

Когда министр юстиции Манухин доложил Николаю II о том, что сенат отверг кассацию и смертный приговор, таким образом, вступил в законную силу, Царь, ничего не отвечая, отошел к окну и забарабанил пальцами по стеклу. Ответа на сообщение Манухина так и не последовало.[3] Царь, молча барабаня пальцами по стеклу, открывал двери палачу. Не в первый раз!

Когда же, наконец, нация, воспрянув, положит конец гнусной и смардной язве самодержавия?!

3 Сообщение нашего корреспондента (*прим. П.Б. Струве*).

План церковной революции Булгакова: *С.Н. Булгаков*. О церковном соборе (1906)[1]

Телеграф принес довольно неожиданную весть, что церковный собор дело решенное. Трудно измерить все колоссальное значение этого известия. Оно значит, что жизнь и движение начнется там, где снаружи царила до сих пор казенщина, из-под безобразной оболочки «ведомства православного исповедания» выявится Христова церковь, станет возможна борьба за религиозную и церковную истину, которая ныне, по справедливому замечанию В.С. Соловьева, «находится на сохранении в крепком казенном сундуке за казенными печатями и под стражей надежных часовых». Исполняется заветная мечта лучших и искреннейших сынов православной церкви, — Хомякова, Бухарева, Аксаковых, Достоевского, Соловьева. Открывается возможность борьбы с «ведомством православного исповедания» за церковь, которую оно унизило, исказило, оболгало. Для верующего человека созыв церковного собора есть событие, не идущее в сравнение по своему значению ни с чем, ни с созывом государственной думы, ни с какими злобами дня и практическими задачами времени, событие универсально-историческое, мировое. Это в порядке мистическом. Но и в порядке историческом, для неверующего политика, учитывающего созыв церковного собора, как политический реальный фактор, имеет огромное значение. В сознании интеллигенции до сих пор не выяснилось достаточно, несмотря на все уроки жизни, какую силу черпает старый порядок в своей мнимой связи с христианской религией, в кощунственном догмате

1 Киевские Отклики. Киев. № 6. 6 (19) января 1906. С. 2. См. в этой же газете статью жены Булгакова об отзывах рабочих на пьесу М. Горького «На дне» и необходимости «серьезного» общедоступного театра: *Е. Булгакова.* Отношение народа к театру // Киевские Отклики. Киев. № 36. 28 декабря 1903. С. 2–3.

о неразрывности православия и самодержавия. Между тем в этом широко распространенном убеждении, которое коренится в злоупотреблениях «ведомства православного исповедания», внесшего уже в богослужение элементы явной политической пропаганды в пользу, конечно, старого строя, в чем последний черпает свою главную силу. Если эта мнимая связь будет открыто разорвана во имя Христовой истины авторитетным голосом церковного самосознания, которым ни в какой степени не является теперешний синод, но явится церковный собор, конечно, старый строй будет погребен навеки, исторгнут из самого сердца, из святого святых русского народа. В противном же случае — чего мы, однако, допустить не можем, — он получил бы новую несокрушимую на долгое ещё время опору и, кто знает, не эта ли именно маккиавелистическая надежда и руководит теми, кому вдруг дороги стали «канонические основы» церкви.

Но если так, если и здесь можно подозревать сатанинский умысел, то тем более настороже следует стоять тем, кому дело собора дорого, тем, кто в день правильно созванного собора от сердца скажет «ныне отпущаеши», ибо очи его видели спасение. Дело организации собора находится в руках старомодной бюрократической канцелярии, которая называется синодом, где живет дух «великого инквизитора», одного из злейших поработителей русской церкви. Опасность *подделки* собора велика, под именем собора можно собрать и съезд черных бюрократов, которые привыкли действовать по бюрократическому камертону. В общецерковном сознании выяснилось с совершенной бесспорностью, что собор должен состоять из представителей как белого и черного духовенства, так и мирян, и всякие ограничения здесь поведут к искажениям.

Освобождающейся церкви нужно будет, прежде всего, расправить отекшие от вековых оков члены и восстановить правильное устройство церкви и возвращение ей нормального для нее *соборного* строя. Далеко не всем известно, что принцип нормальной организации церкви есть самая подлинная и последовательная демократия, основанная на выборности решительно всех членов как клира, так и церковной администрации. Пыль веков и мрачная тень Победоносцева до такой степени заставили позабыть это апостольское начало, что теперь оно звучит, как мечта. Но оно остается *нормой* для оценки и в нем заключается решительное и бесповоротное осуждение существующего церковного строя, который должен быть устранен. Конечно, дело собора (или, точнее, соборов, ибо в нормально устроенной церкви соборы должны собираться по мере надобности) будет не только устроение внешних форм церковной жизни, но и обновление духа церкви. Ей придется сознательно церковно самоопределиться по отношению к современной жизни. Вопрос об отноше-

нии церкви и государства и об отделении церкви от государства, как единственно правильном его решении, вопрос об отношении церкви к общественности, к социальному движению наших дней, вопрос об отношении церкви к современной культуре, философии, искусству и разные другие вопросы религиозной метафизики потребуют своего разрешения. Это работа великая, требующая труда, энергии и сил, и к этой работе мы призываем всех сознательно относящихся к происходящему. Теперь по всей стране должна начаться обновленная церковная жизнь, создаться соответствующая литература, будут происходить соответственные собрания, чтобы в конце этого брожения могли окристаллизоваться определенные церковные мнения по разным вопросам, сейчас почти отсутствующие. Мы опасаемся, что собор может быть созван слишком рано и поспешно. Может быть, это даже входит в маккиавелистический план, но в таком случае даже и правильно со стороны состава собранный собор может оказаться подделкой. Срок его созыва должен быть определен не синодской канцелярией, но духовной готовностью его будущих членов. Мы боимся преднамеренной торопливости, ибо не видим к ней достаточных внутренних оснований, но хорошо понимаем выгодность этого для правительства.

Отмечу, наконец, что, раз в целях надлежащей подготовленности церковного собора необходимо устное и печатное обсуждение разных вопросов, то он не может осуществиться без предварительных свобод, свободы слова и собраний, которых мы сейчас лишены. При военном положении одинаково трудно готовиться как к выборам в государственную думу, так и к церковному собору. Последний не может быть созван ранее, чем упрочены будут за нами права человека и гражданина. А это значит, что церковный собор может быть созван не раньше и не одновременно с созывом народных представителей, но *после* него, т.е. после того, как они установят habeas corpus, как незыблемое право русских граждан. Ибо с правовой точки зрения церковная свобода есть один из элементов habeas corpus и не может существовать при всеобщем бесправии в полицейском государстве.

«Исповедничество» В.В. Зеньковского в газете «Народ» (1906)

Василий Васильевич Зеньковский (1881–1962) — в 1906 году студент, бывший участник знаменитого психологического семинария и кружка проф. Г.И. Челпанова, незадолго до этого перешедший с естественного на историко-филологический факультет Киевского университета Св. Владимира. Христианско-социалистическая киевская газета «Народ» — хорошо изученное редакторское детище С.Н. Булгакова,[1] которое, как представляется, ещё до его неудачного дебюта в качестве члена Государственной Думы, стало апогеем и началом быстрого конца его политической карьеры как признанного публичного «вождя» левой интеллигенции, после чего его влияние в кругах молодёжи, громкое, оснащённое тысячными аудиториями молодёжи, резко пошло вниз. Эта газета стала последним экспериментом руководящего Булгакова и в области повременной печати: в 1905 году рухнул журнал «Вопросы Жизни», в 1906-м — газета «Народ». С ними практически умер и булгаковский проект «Союза Христианской Политики», а процесс умирания булгаковского христианского социализма продлился, пожалуй, вплоть до 1909 года, когда после сборника «Вехи» Булгаков однажды проснулся христианским национали-

1 См. подробно об этом: *М.А. Колеров*. Не мир, но меч. Русская религиозно-философская печать от «Проблем идеализма» до «Вех». 1902–1909. СПб., 1996. Роспись содержания газеты см. в: *М.А. Колеров*. От марксизма к идеализму и церкви (1897–1927): Исследования, материалы, указатели. М., 2017. В росписи газеты «Народ» (С. 279) автор ещё одной рецензии в том же номере газеты ошибочно указан как *В.З.* Правильно следует читать иначе: *В. Э<рн>*. Как священник стал социал-демократом // Народ. № 7. 10 апреля 1906. Киев. С. 3. Дополнительно об истории газеты см.: *С.Н. Булгаков*. Из записной книжки. 11 апреля 1906 г. / Публ. М.А. Колерова и О.К. Локтевой // Вопросы философии. М., 1994. № 6; *М.А. Колеров*. А.А. Блок. Письмо к С.Н. Булгакову (1906) // Исследования по истории русской мысли [3]: Ежегодник за 1999 год. М., 1999.

стом, а вскоре стал и убеждённым монархистом, с годами дошлифовывая свою социальную доктрину до одной из вариаций социал-консервативного синтеза.

В этом протяжённом контексте интересно место В.В. Зеньковского, младшего сотрудника Булгакова по газете «Народ», ставшего его многолетним конфидентом до конца жизни. Зеньковский, как кажется, посвятил слишком много мемуарных усилий тому, чтобы отвести чьи-то никому не известные, но длительные подозрения его в чрезмерной «левизне», склонности к социализму и под. Хрестоматийное наследие Зеньковского не даёт к этому выводу достаточных оснований. Гораздо более известно его политическое «украинство», которое, впрочем, оказалось гораздо более федералистским и общерусским,[2] чем у таких известных русских мыслителей украинского происхождения, как Б.А. Кистяковский, М.И. Туган-Барановский и даже В.И. Вернадский.

Представляемая здесь лишь первая часть (она не должна остаться единственной) раннего Зеньковского,[3] частично давно описанного (хотя бы в рамках газеты «Народ»), но так и не введённого в научный оборот, обращает исследователя к зыбкому пространству текстов, о котором не хотел вспоминать (и, вероятно, почти забыл) сам Зеньковский. В этой части мы имеем делом фактически с разрезанным автором целостным трактатом о синтезе либерализма и социализма в «религиозной общественности». Можно полагать, что с годами либерализм был Зеньковским отброшен, но он же существенно проявил себя в, так сказать, «этнографическом национализме», который, строя даже федералистскую украинскую государственность, уверенной рукой стремился подчинить ему уже не просто религиозную, но даже подлинно институциональную «церковную общественность».[4] В этом явственно проступало не только ситуативное «спасение Украины для России», как говорил Зеньковский, но и нереализованная прежде, в пору христианского социализма, страсть национального освобождения, на службу которому волей-неволей ставились ценности свободы и справедливости, либерализма и социализма, которые — при разрушении централизованного государства — уходили в тень перед пафосом национальной государственности, который «консервативно» подчинял себе всё: личность, общество и церковь.

2 *В.В. Зеньковский.* Пять месяцев у власти [Воспоминания] / Под ред. М.А. Колерова. М., 2011 (Часть II: Русско-украинская проблема в её существе и пути её разрешения).

3 Впервые: *В.В. З<еньковский>*. Предчувствия марксизма // Народ. № 1. 2 апреля 1906. Киев. С. 2; *В.В. Зеньковский.* Либерализм и социализм // Там же. С. 2–3; *В.В. З<еньковский>*. О религиозной психологии // Народ. № 5. 8 апреля 1906. Киев. С. 3; *В.В. З<еньковский>*. Об одном сомнении // Народ. № 7. 10 апреля 1906. Киев. С. 2; *В. З<еньковский>*. [Рец.:] Волжский. «Из мира литературных исканий». Сборник статей. СПб. 1906 г. Ц. 1 руб. // Народ. № 7. 10 апреля 1906. Киев. С. 4.

4 *В.В. Зеньковский.* Пять месяцев у власти [Воспоминания] / Под ред. М.А. Колерова. М., 2011.

Зеньковского, связанного с левыми профессорами Киевской Духовной Академии, пригласил в газету «Народ» её издатель В.Н. Лашнюков. Но, вспоминает с ревностью сам Зеньковский, издатель «все надежды возлагал на группу» Булгакова (в неё он включает В.П. Свенцицкого, Н.А. Бердяева, А.С. Волжского). Чтобы успешно конкурировать с ними, он «взял тему "Либерализм и социализм", чтобы показать возможность их синтеза в идее "христианской общественности"...». Формула такой общественности возникла отнюдь не случайно, но, видимо, считая (в пору мемуарной эмиграции) неприличным признаться в том, что исторически наиболее громогласными проповедниками её были Д.С. Мережковский и З.Н. Гиппиус, Зеньковский свидетельствует о Бердяеве: «В годы 1903–1908 он имел бесспорное влияние на меня; его религиозно-общественный пафос был мне очень близок, я сам духовно развивался в таких же линиях», в 1903 году и далее «очень интересовался всем, что писали тогдашние "вожди" русской интеллигенции (Бердяев, Булгаков и др.)». И о духовной ревности: в 1902 году Булгаков на одной из лекций в Киевском политехническом институте Зеньковскому «не понравился», ибо «в речи его, когда он касался религиозной темы, была какая-то расплывчатость, которая мне претила. Я к этому времени был уже религиозным человеком, и мне некая религиозная уклончивость» Булгакова была неприятна, но более поздние публичные лекции Булгакова о Карамазове, Соловьеве «были превосходны и меня очень вдохновляли», а в журнале «Вопросы Жизни» (1905) «все мне было близко и важно».[5]

Из всех своих — он назвал их «исповедничеством» — публикаций в «Народе» Зеньковский запомнил только одну — «Либерализм и социализм».[6] Видимо, именно в решении этой дихотомии Зеньковский видел свою тогдашнюю общественную задачу, главным в которой было принципиальное примирение политической свободы и социальной справедливости. Он находил его в синтезе либерализма и социализма, в идее «христианской общественности».[7] Думается, в те дни Булгаков, несмотря на формальное единство с либералами, идейно стоял гораздо дальше от либерализма, чем Зеньковский, оставаясь безусловным социалистом, если не коммунистом. Одной из причин тому могло быть то обстоятельство, что фундаментом философии Булгакова исторически были его занятия экономической историей и народным хозяйством, а в генетической основе философии Зеньковского были педагогика и психология.

5 *В.В. Зеньковский*. Мои встречи с выдающимися людьми // В.В. Зеньковский. Из моей жизни. Воспоминания / Сост. О.Т. Ермишина. М., 2014. С. 252–253, 246, 245, 251.

6 *В.В. Зеньковский*. Из моей жизни // В.В. Зеньковский. Из моей жизни. Воспоминания / Сост. О.Т. Ермишина. М., 2014. С. 16, 17.

7 *В.В. Зеньковский*. Мои встречи с выдающимися людьми // В.В. Зеньковский. Из моей жизни. Воспоминания / Сост. О.Т. Ермишина. М., 2014. С. 253.

Для более тонкого понимания картины и места союзничества Булгакова и Зеньковского следует напомнить, что из широкого круга литературных символистов на призыв Булгакова практически отозваться успели немногие, оставив газету булгаковского круга в зримом одиночестве, несмотря на все её общеимперские претензии. Александр Блок писал Булгакову конструктивно, но с холодом, задолго до старта издания: «Позвольте предложить Вам для выбора пока прилагаемые шесть стихотворений для газеты «Народ». При первой возможности, если напишется что-нибудь подходящее, пришлю Вам. Пасхального стихотворения у меня пока нет».[8] Это значит, что центральный, идеологически главный проект газеты — пасхальное воскресное приложение к ней, видимый образ синтеза социализма и христианства — Блок громко проигнорировал.

Впрочем, христианство издания не помешало московскому другу Булгакова М.О. Гершензону формально пообещать своё сотрудничество как историка русской литературы.[9] А с другой стороны, именно православный пафос, по-видимому, останавливал другого идейно ангажированного молодого киевского философа Г.Г. Шпета от сотрудничества. Поэтому Булгаков так писал ему в приглашении: «Не знаю, считаете ли Вы возможным к общей программе газеты “Народ”, направление которой должно быть для Вас ясно на основании нашего разговора и характеризуется, в известном смысле, не только христианской этикой, но и догматом».[10] Одним словом, религиозность «Народа» делала газету, несмотря на весь её социализм, явным уникумом на фоне массы русской социалистической периодики. И это было главным её содержанием. И в этой среде и формировался будущая несомненная величина русской философской традиции — Василий Васильевич Зеньковский.

8 *М.К.* А. А. Блок. Письмо к С. Н. Булгакову (1906) // Исследования по истории русской мысли [3]: Ежегодник за 1999 год. М., 1999. С. 257–258.

9 При этом Гершензон отнюдь не дистанцировался от обсуждения идейной программы газеты. Он записал в дневнике 11 апреля 1906 года: «С напряженным интересом читаю булгаковскую газету “Народ”. Но до правды далеко. Они фатально путаются в трёх вещах: 1) религиозность вообще, т.е. мистическое отношение их к миру (чувство, теперь общее тысячам и очень острое в них, 2) христианство, т.е. вера в богочеловечество Христа и его воскресение, 3) этика здравого смысла, справедливости и любви. То, что они называют “христианской общественностью”, есть общество, организованное на этой этике. Чтобы создать такое общество, не нужно ни 1), ни 2) — а довольно знания, умственного развития, образования. Учреждение школы! — и всё» («Цельный и настоящий»: Из переписки и дневников М. О. Гершензона / Публ. Е. Литвин // Вопросы литературы. М., 2009. № 5/6. С. 403).

10 Густав Шпет: Философ в культуре. Документы и письма / Ред.-сост. Т.Г. Щедрина. М., 2012. С. 97.

Приложение

1. *В.В.З.* Предчувствия марксизма

Мысль о всемирно-историческом процессе не покидает сознания человечества. Христианство, выдвинувшее эту идею во всей её религиозной шири, вложило в неё определённое содержание в понятии богочеловеческого процесса, в факте явления Христа и Его воскресения. С тех пор эта мысль присуща человеческому уму, — на длинном историческом пути до наших дней не исчезают из сознания человечества всемирно-исторические перспективы. Они не всегда ясны, не всегда доступны во всей широте своей; в них часто много «человеческого, слишком человеческого», — но как предчувствие, они поддерживают в человечестве христианские надежды.

С замечательной силой схвачены они, между прочим, и марксизмом, в его боевом лозунге: «пролетарии всех стран, объединяйтесь», хотя марксизм и чужд тому, что даёт реальное содержание религиозной идее. Как ни бедна содержанием у марксизма идея всемирно-исторического процесса, именно она покоряет ему массы, в которых она будит какие-то смутные предчувствия, какие-то неясные надежды. Есть нечто освобождающее и зовущее в этой идее; ей присущ какой-то особенно радостный смысл. Она проникает глубже, чем думают, действует сильнее, чем рассчитывают: она оживляет религиозное отношение к жизни.

Противоречия современной жизни, её радостные и угрюмые, её светлые и тёмные стороны невыносимы в своём вопиющем сочетании. Отсюда та напряжённость психической атмосферы, которая растёт уже давно, отсюда та углублённость исканий, та утончённость моральных настроений, которая так характерна для нашего времени. С удивительной гениальностью Маркс уловил эти симптомы растущего кризиса, с глубоким чутьём выдвинул идею единения всемирно-исторического процесса, оценил единство международной общности исторической работы. Он вскрыл всю бесплодность, всю внутреннюю *противоречивость* экономического индивидуализма, противопоставив ему идею коллективизма. Это противопоставление индивидуализма и коллективизма (правда, только в хозяйственной сфере), развитое марксизмом со всей научной убедительностью, имеет более глубокий смысл, чем принято

думать. Оно захватывает ум шире, чем предполагали: оно освещает и другие стороны жизни, уносит от мучительного одиночества, которым полно наше время, в перспективы радостного единения с людьми. Марксизм будит предчувствия, поселяет надежды, марксизм утешает будущим — и в этом его крупная роль.

Реальное содержание всемирно-исторического процесса понято, однако, Марксом удивительно поверхностно. Дальше экономического единства истории он не пошёл; за телом он не увидел души, за материальным единством не разгадал духовного. Всемирно-исторический процесс в изображении марксизма безжизненен: в нём личности случайны, не важны, в нём царствует смерть. Поэтому обаяние марксизма держится не тем, что он говорит, а тем, на что он намекает; сила марксизма — не в его реализме, а в его романтизме.

Ценя предчувствия марксизма, ценя его оживляющее влияние на подъём религиозных надежд в человечестве, мы не можем мириться с его односторонностью. Если единство всемирно-исторического процесса состоит только в закономерности экономического развития, если это единство лишено духовного содержания, обходится без индивидуальности, — то для нас оно мертво, для нас оно не нужно. Нам дороги такие перспективы, в которых бы царила не смерть, а жизнь; нас подымает только такое единство всемирно-исторического процесса, которое живой цепью связывает все индивидуальности, не исчезающие в этом единстве. И в неведомом не может нас поэтому ориентировать марксизм: иной маяк светит нам. Он влечет к себе тем светом, который зажёгся девятнадцать веков назад, он таит в себе трагедию Распятия и торжества Воскресения.

2. *В.В. Зеньковский.* Либерализм и социализм

Социально-философская мысль нашего времени движется между двумя полюсами — между либерализмом и социализмом. Чьи взгляды направлены вперёд, того всегда манят либо индивидуалистические, либо социалистические перспективы, — и это неизбежно в виду несомненной *неустранимости* обоих построений.

Идеалы свободы и идеалы демократии одинаково дороги нашему времени, одинаково выдвинуты современной культурой. И всё же эта неустранимость социалистического и индивидуалистического русла идей не может ослабить того конфликта между ними, который выяснился уже давно. Для

современного сознания несомненно, что ни одна из теорий в отдельности не ориентирует в исторической шири, — но столь же несомненно и то, что конфликт между ними разрастается с какой-то фатальной силой, что в будущем он явится источником той неустойчивости, которая обесценит значение достигнутых исторических завоеваний. Сознание этого вливает яд сомнений в душу борцов, внутренне обессиливает их, — и потому-то верующие натуры с такой страстностью и защищают ту одностороннюю правду, которой они служат — социализм или же либерализм. Они подчёркивают неизбежность конфликта между ними, чтобы признанием правды одного построения обесценить значение другого. Так именно и поступают в наше время социалисты всех толков. Они не жалеют красок, чтобы «развенчать» либерализм. Но отрицать ту или иную правду не значить уничтожить её. В либерализме есть своя правда, есть нечто неустранимое, хотя и находящееся в несомненном конфликте с правдой социализма. Чуткие, не догматические фигуры всегда это сознавали — но с особенной силой, с особенной мукой это чувствуется в моменты исторических переломов, какой мы переживаем теперь. Историческая даль в такие моменты безгранична; сознание исторической ответственности чрезвычайно обостряется, — и чувствуется настоятельная нужда во всеохватывающем социально-философском настроении, которое дало бы возможность работать с уверенностью, что работа не тормозит исторического процесса.

Между тем охарактеризованная выше двойственность современной социально-философской мысли, неустранимость и в то же время противоречивость социализма и либерализма поселяют какую-то робость, суживают исторические горизонты и тем подготовляют почву для злейшего врага прогресса — оппортунизма.

Конфликт между либерализмом и социализмом делает, в сущности говоря, беспочвенными оба построения: оба и правы, и неправы в одно и то же время. Исторический скептицизм неизбежен поэтому, как неизбежно и оппортунистическое настроение. С этим должны считаться друзья прогресса, этого они должны бояться; нужен выход из тупика.

Чтобы найти его, вникнем глубже в конфликт между индивидуалистическими и социалистическими тенденциями истории.

На знамени либерализма написано дорогое слово — свобода. В вопросе об отношении личности к государству, этом центральном вопросе социальной философии — либерализм стоит за сведение до минимума, а в идеале и до нуля — подчинения личности государству. Безграничное развитие личности, свобода частной инициативы, словом, широкий и полный *индивидуализм* — такова программа либерализма, таковы его идеалы. Тем-то и дорог для него прогресс, что он расширяет свободу личности от подчинения её государству.

В основе либерализма поэтому лежит вера, что свобода личности — это не найденный философский камень, этот магический жезл, от прикосновения которого всё оживает, всё цветёт. Счастье человечества — в руках свободы; под её живительным дыханием оно окрепнет духовно, разовьёт те ценности, которые открыты в человеческом духе.

Против такой защиты свободы, против наивной веры в неё и восстаёт социализм, который в юридической свободе не видит никакого ключа к счастью; этот ключ даётся в *экономическом* освобождении человечества. В условиях буржуазного хозяйства, всецело опирающегося на экономический индивидуализм, невозможно осуществление демократических идеалов; освобождение от экономического рабства возможно лишь в социалистических условиях. Поэтому социализм во имя действительного (хоть и не «полного») освобождения человечества подчиняет личность государству, которое единственно даёт возможность осуществить и *укрепить* социалистический строй. С иронией относясь к культу «полной» свободы, с негодованием подчёркивая равнодушие либерализма к освобождению личности от социальных пут, — социализм, регулируя лишь хозяйственные отношения, тем самым гарантирует действительную свободу во всём остальном. И в этой трезвости, в этом реализме социалистической перспективы заключается несомненно главная притягивающая сила её…

Гарантией не случайности, не временности экономического освобождения, обещаемого социализмом, гарантией того, что человечество, вступив в социалистический период, не вернётся назад к индивидуалистическому хозяйственному строю, — может быть только то, что на страже его будет стоять государство. Поэтому в основе социалистической программы лежит принципиальное противоположение личности и государства. Государство не может не регулировать экономическую жизнь, не может не стоять на страже социалистических отношений, — и если придёт необходимость, государство, со всей авторитетностью и безапелляционностью власти, вмешивается в поведение личности…

Таким образом, не может [быть] сомнений, что между либерализмом и социализмом существует и будет существовать «ссора». Быть может, в исторической дали и найдётся точка, где эти учения сойдутся, но в той не широкой исторической перспективе, *которая открывается ими*, они находятся во вражде. Правда, нередко встречаешь людей с определённым социалистическим мировоззрением и вместе с тем с глубоким культом Ницше, этого апостола индивидуализма, — но это субъективное сочетание никакой аргументирующей роли играть не может. Теперь, *до* торжества социализма, возможны и понятны такие сочетания. Служение социализму в этом случае есть *продукт* вы-

сокоразвитого индивидуального творчества, — но при обязательном участии в социалистическом строе конфликт между правдой социализма и правдой либерализма неизбежен. Когда социализм перестанет быть мечтой и воплотится в действительность, когда исчезнет его поэзия и останется его проза, когда социализм перестанет быть источником вдохновения и превратится в серую обыденщину, — тогда пропасть, существующая между свободой личности и её социалистическим ограничением, обнажится и сделается достаточно острой. Личность, ограниченная в одном отношении и *действительно* свободная в других, глубже будет чувствовать себя *чуждой* интересам рода, интересам целого. Именно тогда, когда настанет расцвет индивидуальности, когда личность освободится и от социальных пут, и от социально-психического гипноза, — именно тогда резче, чем когда-либо, выяснится невозможность преодолеть индивидуализм только во имя хозяйственного благополучия всех. Поэтому если между индивидуалистическими тенденциями и социалистическими ограничениями личности возникнет конфликт, — то он останется неразрешимым, так как *на социалистической почве индивидуализм не может быть преодолён*. Его можно преодолеть, но нельзя заставить похоронить во имя хозяйственного благополучия свои индивидуалистические стремления. Словом, *если конфликт возможен*, то он неустраним, так как правда индивидуализма первее, ближе и глубже, чем правда каких угодно ограничений.

Понятно, что в литературе мы встречаемся с упорным желанием сделать этот конфликт не существующим, показать его невозможность. Говорят при этом, что человечество настолько приспособится к ограничениям, которые несёт с собой социализм, настолько расширит свои творческие силы в отношениях, не подлежащих регламентации, что исчезнет самая почва для конфликта. Поэтому, если конфликт и возможен, то как случайное и, конечно, вовсе не страшное явление. У *Спенсера* мы находим философское и психологическое обоснование этого верования. По мнению Спенсера, человек настолько приспособился к условиям жизни, что он «естественно» будет добрым, трудолюбивым и т.д. В сознании такого человека не будет раздвоения между тем, что он «должен» делать, и тем, что его влечёт к себе; должное и желательное сольются. Эта забавная (иначе её трудно назвать) идея, пожалуй, способна утешить тех, кто убедился в наличности конфликта, о котором у нас шла речь. Но вряд ли стоит долго останавливаться, чтобы показать всю безнадёжную наивность, всю святую простоту мысли Спенсера. Человечество не подымется, а опустится, если от типа творческой, свободной в добре и зле, могучей индивидуальности оно перейдёт к типу нравственных пигмеев, окончательно приспособившихся и окончательно неспособных подняться над однообразием и пошлостью обыденщины. И если бы торжество демократических принципов

действительно потребовало бы такого самоубийства, если бы благоденствие целого действительно было возможно лишь при условии исчезновения самого дорогого и ценного — независимости и свободы духа — то… о таком будущем вряд ли мечтали так, как мечтают теперь о социализме.

Не устранить, а разрешить конфликт — вот задача социальной философии. Надо признать, что социализм и либерализм, демократический идеал и идеал свободы личности, — это два неустранимых русла идей. Как ни дорог социализм, но его нельзя покупать слишком дорогой ценой покушений на свободу; и как с другой стороны ни дорога свобода, нельзя относиться равнодушно к экономическому рабству, лежащему в основе современной культуры. Необходимо совместить и демократию, и свободу.

Таков отрицательный результат, к которому мы пришли. Мы видели, что демократизация культуры немыслима вне коллективизма, но это не устраняет, а обостряет правду либерализма, правды неискоренимой жажды сбросить иго каких бы то ни было ограничений. Пока мы стоим только на пороге грозного конфликта; но тем ответственнее наша роль. Предварительное перемирие даёт нам время переработать ту почву, на которой вырос конфликт.

Нетрудно видеть источник это<го> конфликта: он создаётся непреодолимостью индивидуализма, с помощью тех сил, которые утилизует современное человечество. В тех случаях, когда мы встречаемся с одним из сочетаний, о которых мы уже говорили, — именно с сочетанием культа Ницше и пламенного служения социализму, — в этих случаях индивидуализм преодолевается силой *эстетического* характера. Грядущие перспективы социализма невыразимо *прекрасны* в сравнении с тиной буржуазного болота, в котором мы живём теперь; да и в самой *борьбе* за новый строй индивидуалист находит неиссякаемый источник вдохновения, ибо во всякой борьбе есть покоряющая красота. Ясно однако, что эстетически индивидуализм не может быть преодолён в застывшем социалистическом строе; цепи, борьба за которые была так вдохновенна, будут всё те же цепи. Культ борьбы не исчезнет, — и борьба будет против последних цепей, наложенных на свободную, независимую индивидуальность.

Непреодолим индивидуализм и силами *этического* порядка. Прежде всего надо безусловно отбросить мысль о том, что сила симпатических чувств живой цепью скует человечество в одну братскую семью. С эмпирической точки зрения это немыслимо; эта детская мечта свидетельствует лишь о полном невнимании к тому, что можно назвать *проблемой зла*. Социально-философская мысль нашего времени именно тем и страдает, что в своих угадываниях будущих судеб человечества она слишком неглубоко относится к той зияющей пропасти зла, которая влечет к себе с какой-то неотразимой силой. Только

пренебрежением к этим стихийным и страшным силам жизни можно объяснить тот тип веры в человека, для которого переработка личности человека вполне достижима исключительно этическими силами.

Преодоление индивидуализма, необходимое для устойчивости демократической культуры, невыполнимо силами эстетического и этического характера. Эти силы действуют рядом с силами, им прямо противоположными, — и нужно быть очень поверхностным наблюдателем человеческой души, чтобы не понимать, что в душе живут и те, и другие.

Трагическое столкновение индивидуализма и социализма разрешимо лишь на *религиозной* почве. Тут мы уже выходим за пределы нашей темы, и потому позволим себе лишь вкратце указать на следующее.

Признавая, что индивидуализм преодолим лишь религиозно, мы вводим в социально-философскую мысль понятие *религиозной общественности*. Это понятие для нашего конфликта является весьма важным, так как оно устраняет ту почву, на которой возник конфликт. Оно преобразует те основы современной социально-философской мысли, которые делают неизбежным конфликт двух активных сил истории. Преобразование это, опирающееся на понятие *свободы*, возможно лишь на почве религиозного миросозерцания, без которого и весь исторический процесс не может быть понят во всём единстве и в сво<е>й цели.

Но об этом уже в другой раз.

3. *В.В.З.* О религиозной психологии

За два года Россия стала неузнаваемой по тому возбуждению, которое охватило общественную и умственную жизнь страны. Объём этого возбуждения широко раскинулся по деревням, по глухим углам, — и нет такого места в огромной России, которое так или иначе не было бы затронуто им. Как радостно видеть этот симптом пробуждения России от глубокого молчания, от вынужденной тишины! С каким восторгом, с каким сияющим лицом глядишь вперёд, в это загадочное, манящее и властной вперёд! Кончаются наши национальные страдания, наши «страсти», проходит пора удушливой затхлой атмосферы жалкого оппортунизма, рабской покорности; всходит пока багровое, но всё же льющее счастье и радость солнце свободы.

Но эта радость, тихая и кроткая, с какой-то робкой, смущённой нежностью ласкает душу, всю уязвлённую ужасами и кровью, окрасившей в свой

страшный цвет зарю свободы. И не смеешь радоваться грядущему, хочешь утаить это чувство; невыносимая тяжесть легла на сердце, отравила его, взволновала гневной скорбью, зажгла его негодованием. И таинственно слились своими корнями ласкающая радость и жгучая скорбь, — и есть в этом сочетании какой-то неразгаданный смысл, есть что-то подымающее до *религиозной* преданности святому делу свободы.

Глубокая правда того сложного чувства, которое будит в нас жизнь, не укладывается в рамки современного сознания, — и всякие попытки оформить это чувство кончаются жалкой неудачей. И это неизбежно, это неустранимо. Самые чуткие, самые искренние натуры тяжело переживают эту загадочную амальгаму радостного и гневно тоскующего настроения, — и то впадают в отчаяние безумия, ищут смерти, идут на смерть за свободу, то уносятся в сияющие перспективы новой России, и как бы вдыхают в себя освобождающее от мелочей, от нелепостей значение радостного поворота. И то, и другое настроение разрывает ту оболочку эгоизма, которая заставляет трусливо цепляться за жизнь; — и в том, и в другом настроении личность подымается до экстаза, до пламенного желания отдать себя на служение великим целям истории. Есть, однако, что-то мучительное, непонятное и неразгаданное в этом сочетании двух различных настроений. Личность чувствует себя в чём-то *неведомом*; с закрытыми глазами стоит она перед какой-то огромной тайной, — и отступает перед ней. Одни вспоминают старые формулы, ударяются в крайности, другие — растерянные, измученные отступают перед ужасами жизни, тоскливо радуются будущему. Одни переступают границы правды, другие робко избегают думать о ней…

Весь трагизм последних ясен; но не ясно для многих, что и в безумии крайности есть трагизм. Те, кто с надрывом зовут к старому, зовут к болотному покою, и те, кто, закрывши глаза, идёт вперёд, работает для будущего, забыв о сострадании, забыв о гуманности, — и те, и другие полны трагизма. В бессмысленном жестоком культе старого, и в отчаянном бестрепетном культе нового, культе отмщения, полном злорадства, полном жгучей ненависти, есть трагический надрыв. Одни боятся ужасов, — и ищут радостного нового, и давят в себе всякий страх перед кровью, изгоняют из себя гуманность, милосердие, грусть. Одни не дают места радостному предчувствию будущего, другие давят в себе скорбь, «освобождаются» от тоски, гнетущей сердце, которое не выносит моря слёз, глубины народного горя.

Неразгаданной тайной встаёт перед современным сознаньем сочетание радостного и тяжёлого, и одни страдают от этого сочетания, другие, избегая его, впадают в роковую односторонность.

Современному сознанию удивительно чужда *религиозная психология*, которая единственно возвышает человека до понимания жизни во всех её сто-

ронах. Лишь религиозному взгляду открываются смысл и значение всего переживаемого душой в наши тяжёлые, исторические дни, — и радостная вера в несомненность полного торжества добра единственно даёт возможность не впасть ни в отчаяние, ни в культ отмщения. Она не устраняет давящей тоски, она не облегчает скорби, — но она даёт место и тихой радости, она придаёт силы для служения будущему.

Тоска, испепеляющая душу, подрывает энергию, и потому-то многие борцы так боятся тоски, с таким трагическим надрывом поддерживают в себе энергию культом отрицания, выжигающим тоску. Но в этом нет правды. Нельзя закрывать глаза, нельзя давить тоску; но вместе с тем нужны силы для того, чтобы не быть подавленным тоской.

Эти силы даёт вера в торжество добра, эти силы даёт религия, открывающая в истории всё величие Света и всю бесплодность тьмы.

И если сочетание радости и горя так тяжело и невыносимо, то лишь религия, открывая всю историческую неизбежность этого сочетания, даёт силы служить для устранения его.

4. *В.В.З.* Об одном сомнении

Среди сомнений, которые заставляют многих недоверчиво относиться к религии, одним из наиболее распространенных, наиболее покоряющих себе, является сомнение в психологической ценности религии. Быть может, говорят, религиозное миросозерцание истинно; быть может, объективная природа лежит не на нашей стороне, но мы никогда не помиримся с тем, что религия *успокаивает*, что она погашает то напряженное искание, ту душевную тревогу, то беспокойное, страстное горение, без которого мертва наша жизнь. Мы боимся, говорят, душевно отупеть, упасть, боимся, что та точка зрения «вечности», которая присуща религии, убьет в нас живую восприимчивость к *текущим* вопросам жизни и духа, — и в плену у этой «вечности» мы внутренне обессилим. Эта мертвящая сила религиозного успокоения и отталкивает нас…

Если эти сомнения искренни и серьезны, то они свидетельствуют о глубокой религиозной жажде, о подлинной религиозной потребности. Религия, которая успокаивает, которая погашает душевное горение, действительно мертва, действительно страшна. И нет в такой религии правды, — ибо нет правды в том, что понижает жизнь, что ее подавляет и обеспложивает. Да [и] по существу, религия, устанавливая связь отдельной личности с метафизической

основой жизни, именно утверждает права этой личности, ее индивидуальную незаменимость и ценность. Религия Христа в этом смысле есть религия непреходящей ценности личности. И в основе ее лежит идея религиозной свободы, несовместимой с каким бы то ни было «душевным пленом», упадком творчества.

Религия не есть миросозерцание, не есть система представлений; она подчиняет себе всю целостность душевной жизни и потому *невозможна без религиозной активности*, которая обнимает всю полноту социальной и духовной жизни. Она действительно раскрывает перед сознаньем перспективы вечности, но в свете этой вечности не бледнеют, не кажутся меньше, ничтожнее вопросы текущей жизни. Они вырастают в свете религиозных переживаний, в трепете религиозных порывов — в мировые вопросы, в них для религиозного сознания так же бьется пульс всемирно-исторического процесса, как и в самых грандиозных событиях. По образному выражению Гоголя, «у Бога нет пустяков»: нет мелочей, нет перерывов в религиозном освещении жизни, — и в ней все существенно и важно. Перед религиозным сознанием проблема религиозной активности встает поэтому в такой захватывающей широте, наполняет душу таким могучим, таким зовущим порывом, что человек падает порой в изнеможении. Всю мощь, всю безграничную ширь религиозной активности не может вместить в себя человек, — и оттого на религиозных людях лежит трагический отсвет этой земной их ограниченности, оттого их душу наполняет религиозная тоска — это особое состояние смирения, сознания своей немощи. И в этом сознании таится особый источник религиозной энергии, неиссякаемый и живой. Не мертвит, а *живит* поэтому религия; не подавляет, не унижает личность, а приближает её к Неведомому, подымает до религиозной силы *активности*.

Откуда же сомнения в психологической ценности религии?

Есть два источника, вечно питающих его [sic]. — Историческая церковь, видимо концентрирующая религиозную жизнь, не вместила в себя всей полноты того религиозного учения, которое она хранила. Идея религиозной общественности не играла в исторической церкви той центральной роли, которая ей принадлежит. И на почве этого забвения одной из центральных идей христианства выросла та реакция религиозному индивидуализму [sic], которая утверждает все огромное значение социального творчества, переработки нашей общественности. Религиозный индивидуализм поэтому осужден историей, как начало мертвящее или в лучшем случае одностороннее. Такова правда тех упреков в «успокоении», которые уместны по отношению к религиозному индивидуализму. Понятое же в полноте христианство выдвигает идеи христианской общественности, — и по отношению к нему упрёки падают сами собой.

Но есть и еще один источник тех упреков, о которых мы говорим. Многим присуща какая-то особая ограниченность, в силу которой вопросы истории исключительно исчерпываются социально-политической стороной ее. В зависимости от этого все явления расцениваются с точки зрения их значения для социально-политической стороны исторического процесса. Не могу забыть, как покойный Е. Соловьев горячо писал о «революционном значении красоты»; он считал необходимым как бы «оправдать» свое поклонение красоте, и иначе, конечно, не мог этого сделать, как раскрывая «революционное значение красоты». Тут-то и уясняется вся ограниченность, вся односторонность той точки зрения, при которой и религия, и искусство, и наука расцениваются с точки зрения их значение в специально[социально?]-историческом процессе.

Мы понимаем, что нужно бояться того омертвения, которое будто бы несет с собой религиозная психология, но мы со всей энергией подчеркиваем узость материализма, на которую мы указали. Не религию мы оцениваем по её «общественной ценности», а самый социальный процесс мы освещаем религиозно. И, если понять всю неприемлемость той перестановки понятий, при которой высшие ценности подчиняются низшим, то исчезает последняя почва для упреков религии в том, что она «успокаивает».

Религия не «успокаивает», а подымает до невыносимой остроты сознание необходимости религиозной активности. Но есть зато в религии, в религиозной психологии одна черта, действительно ее выделяющая, но не отрицательной, а положительной особенностью. Религиозная психология таит в себе неиссякаемый источник душевной энергии, и религиозная активность не ослабляет, а усиливает дух в его неискоренимом стремлении к осуществлению высших ценностей. Но это говорит только об огромном значении религии для душевной жизни…

5. *В.З.* [Рец.:] Волжский. «Из мира литературных исканий». Сборник статей. СПб. 1906 г. Ц. 1 руб.

Содержание сборника статей г. Волжского чрезвычайно разнообразно; в нем есть статьи и по чисто литературным вопросам и по вопросам философским. Но за внешним разнообразием сборника кроется единство настроения и мысли автора. Автор знает, куда ведет своего читателя, — и это сообщает его статьям особую значительность и цельность.

Литературно-критические исследования г. Волжского определяются его пониманием значения русской художественной литературы в истории нашей мысли. «Русская художественная литература, [—] пишет он, — вот истинная русская философия в красках слова, сияющая радугой мыслей, облеченная в плоть и кровь живых образов художественного творчества». «Истинную русскую философию следует искать больше всего именно здесь».

Эти выдержки чрезвычайно характерны для г. Волжского. В них с достаточной выпуклостью встает и его критическая индивидуальность, с достаточной определённостью выступает та призма, сквозь которую он смотрит на художественное творчество. Мы не найдем в статьях г. Волжского разработки основных литературно-критических понятий, — чем, например, так богаты все работы проф. Овсянико-Куликовского, но зато в работах г. Волжского с особенной рельефностью выступает справедливость старой мысли, что «искусство есть *мышление* в образах». Этим наиболее и ценны, на наш взгляд, литературно-критические работы г. Волжского.

Мы считаем необходимым указать на выдающееся значение сборника и в религиозно-философском значении. Такие статьи, как «Мистический пантеизм В.В. Розанова», имеют значение, что в равной мере необходимо сказать и о других статьях, напр., о статье «Проблемы смерти у проф. Мечникова». Сборник г. Волжского издан прекрасно, хотя, к сожалению, не везде свободен от досадных опечаток.

Утаённый социализм Струве и Франка:
газета «Рабочее Слово» (1906).

Продолжая начатую в редакции «Освобождения» (1902–1905) и в «Союзе Освобождения» (1904–1905) борьбу за внесение социал-демократических программных требований в области рабочего вопроса, социалистических установок в области вопроса аграрного — в программу русских либералов, после образования кадетской партии, членом ЦК которой он стал в 1906 году, П.Б. Струве не оставил этих усилий, с согласия партии став её главным экспертом и стратегом в рабочем и аграрном вопросах.[1] Здесь Струве предлагал начать партийную пропаганду либеральной программы в среде крестьян и рабочих, сотрудничая с социалистами, лоббировал проведение по спискам партии в Государственную думу рабочих и крестьян.[2]

В контексте усилий Струве в рабочем вопросе остаётся без исследования замалчиваемая всеми без исключения участниками, свидетелями и мемуаристами (и особенно самим Струве и его ближайшим другом, сотрудником и внимательным биографом С.Л. Франком) деятельность Струве во главе ежедневной петербургской газеты «Рабочее Слово» и опубликованные им в ней тексты, являющие собой редкие образцы адресованной массам агитационной литературы, вышедшей из-под пера Струве.[3] Неизбежно утрируя свою мысль

1 Протоколы Центрального комитета и заграничных групп Конституционно-демократической партии, 1905 — середина 1930-х гг. В 6 тт. / Т. 1. Протоколы ЦК Конституционно-демократической партии. 1905–1911 гг. / Сост. Д. Павлов. М., 1994. С. 47–48, 114, 140, 147–148, 169, 176, 178.

2 В.В. Шелохаев. Конституционно-демократическая партия в России и эмиграции. М., 2015. С. 52, 157–159.

3 В фундаментальном исследовании Р. Пайпса лишь библиографически упомянута одна из статей Струве в этой газете, но ничего по сути её не сказано: *Ричард Пайпс*. Струве: правый либерал, 1905–1944 [1980]. М., 2001. С. 637.

и форсируя пафос, он, однако, не может его полностью выдумать, не разделяя его. И потому этот простой жанр неожиданно открывает нам традиционно скрывавшуюся Струве под рационально продуманной риторикой свободы — подлинную страсть справедливости. Можно вполне содержательно реконструировать модерный, культурный, энциклопедически фундированный, национально окрашенный и западнически цивилизованный пафос жизненной борьбы Струве, как это сделал С.Л. Франк в своих классических воспоминаниях. Но, думается, и ему не удалось описать не менее важное в Струве и в себе самом, то, что сделало их революционерами и социалистами, а затем — подвижниками культурного и религиозного дела, — жажду справедливости. Агитационно искусственные тексты Струве об этом в названной газете обречены были трактовать именно справедливость и — как бы то ни было — проговаривать подлинное чувство Струве.

«Ежедневная общедоступная общественно-политическая и литературная газета» «Рабочее Слово» выходила в свет с 31 марта по 16 мая 1906 года одновременно с газетой «Дума»,[4] которую вёл Струве, и еженедельником «Свобода и Культура»[5] во главе с Франком, основанным в продолжение закрытого властями еженедельника «Полярная Звезда»,[6] главный редактор которого, Струве, попал под уголовное преследование за призывы к неповиновению власти и более не мог возглавлять издание. Логично предположить, что редакционно эта газета управлялась теми же Струве и Франком. Программа новой газеты, несомненно, написанная лично Струве в его узнаваемой стилистике, гласила:

> «“Рабочее Слово”, не примыкая ни к одной из существующих политических партий, ставит своей задачей содействие борьбе рабочего класса за его политическое и экономическое освобождение. Борьба эта должна быть озарена светочем великого и всеобъемлющего идеала социализма — или основанной на социальной справедливости трудового общества. (…) Становой хребет всякого крепкого рабочего движения должны составлять профессиональные рабочие организации».[7]

4 Начала выходить в свет одновременно с началом заседаний I Государственной Думы 27 апреля и прекратила 13 июня 1906 года.

5 1 апреля — 31 мая 1906 года.

6 15 декабря 1905-го — 19 марта 1906 года.

7 [*П.Б. Струве*]. Рабочее Слово // Рабочее Слово. № 1. 31 марта 1906 года. СПб. С. 1. Полностью публикуется в приложении к настоящему тексту. В этом же номере была опубликована справочно-пропагандистская статья Франка, не представляющая интереса вне полного собрания сочинений мыслителя: *С. Франк.* Социализм и профессиональное движение // Рабочее Слово. № 1. 31 марта 1906 года. СПб. С. 2–3.

Заявление о внепартийном характере газеты, конечно, было лукавством. И не только потому, что она была основана членом ЦК кадетской партии Струве и следовала его названным усилиям по привлечению рабочих к этой партии, но и потому, что газета сама не скрывала своей связи с кадетами. Она неизменно публиковала текущую информацию о работе кадетской партии в массах, в первую очередь — среди рабочих. Неоднократно газета печатала и рекламные объявления о подписке на партийное кадетского издание — «Вестник партии Народной Свободы».[8] Не для рабочего, а для интеллигентного взгляда ясна была и прямая преемственность проповеди Струве против взаимно разрушительных действий правительства и революционеров, которые во время всеобщей *политической* забастовки работников в ходе революции 1905 года и её подавления действительно парализовали многие сферы жизни страны. Но Струве, пожалуй, был единственным оппозиционным политиком с социалистической репутацией, который прямо обвинял революционеров в нанесении экономического ущерба государству. Умалчивая о них, в «Рабочем Слове» Струве живописал тяжёлые последствия этого ущерба для самих рабочих, вступая на скользкий путь отрицания забастовочной борьбы и тем самым на путь прямого содействия капиталистам в их экономических интересах и властям — в их интересах экономических и политических.[9] С другой стороны, Струве в программе газеты едва ли не впервые в России выступил с проповедью классовой самостоятельности пролетариата, независимого от партийных манипуляций революционной интеллигенции (имеется в виду подстрекательство к политическим забастовкам), и в этом качестве предвосхищал антиинтеллигентскую социалистическую публицистику Евг. Лозинского[10] и отчасти повторял антиинтеллигентскую «махаевщину», если она была ему известна. Ясно, что здесь он лишь излагает социальную историю инфраструктурной самоорганизации германской социал-демократии того времени, когда ей была воспрещена политическая деятельность в эпоху Бисмарка. Это самоорганизация действительно стала главной основой парламентского успеха СДПГ, надежд Энгельса на мирный переворот и ревизионизма Бернштейна, а затем и прихода СДПГ к государственной власти в Германии в результате революции 1918 года. Несомненно и то, что чрезвычайно влиятельные в Рос-

8 См., например: Рабочее Слово. № 6. 8 апреля 1906 года. СПб.; Рабочее Слово. № 11. 14 апреля 1906 года. СПб.

9 См. его центральный текст на эту тему, опубликованный за несколько месяцев до выхода газеты: *Петр Струве.* Два забастовочных комитета // Полярная Звезда. № 3. 30 декабря 1905 года. СПб.

10 *Евг. Лозинский.* Что такое, наконец, интеллигенция? Критико-социологический опыт. СПб., 1907.

сии 1917 года профсоюзы тоже создавались на глазах Струве, причем как неполитические организации. Ясно и то, что и в этой газете привлекаемая им в предшественники фигура Герцена, равно дорогая социалистам и либералам, в другой, интеллектуальной и политической публицистике используется для формулирования доктрины «компромисса», а не просто исторической глубины революционной борьбы. Но то, что именно Струве посреди своей либеральной политики в специальной газете для пролетариата уделяет всему этому такое внимание, — заставляет думать не только о не отброшенном в ходе эволюции социалистическом слое его мировоззрения, но о вполне живой социал-реформистской природе его убеждений и после революции 1905 года.

Адресом редакции газеты «Рабочее Слово» был объявлен дом 58 по Литейному проспекту в Санкт-Петербурге — соседний с домом 60, в котором в 1890-х годах жил сам Струве и в котором в 1900-х продолжала жить его бывшая покровительница и спонсор марксистских изданий, включая «Искру», просветительница А.М. Калмыкова.

Итак, центром идеологического вещания газеты стал «великий и всеобщий идеал социализма», реализуемый в эволюционной борьбе пролетариата на основе профсоюзного движения. Струве (при формально объявленных редакторе А. Тенсе и издателе И. Венедиктове) удалось привлечь к (официально объявленному) сотрудничеству в газете таких опытных и признанных социалистических политических и экономических авторов (В.С. Голубев, Л.Я. Гуревич, В.Э. Ден, М.И. Туган-Барановский, С.Л. Франк, В.В. Хижняков, М.И. Фридман, Г.Н. Штильман, А.А. Яблоновский), что само это исключало «притворный» характер издания. Кстати, это подтверждает и карательное внимание цензуры, конфисковавшей воскресные номера газеты: № 7 от 9 апреля и № 13 от 16 апреля.

Публично, под своими именами, Струве и Франк выступили в газете лишь по одному разу. Струве, в частности, поделился с рабочими читателями своим социалистическим воспоминанием, которое очень напоминает мемуарное свидетельство Франка и тем указывает, что Франк, утаив свидетельство о газете, невольно воспроизвёл эмоциональный заряд, руководивший Струве в тщании быть искренним в этом социал-реформистском проекте, мимикрирующем под классовый орган промышленного пролетариата, при том что сам Струве к 1906-му уже не первый год как порвал с классовым пониманием марксизма и социализма вообще. Франк вспоминал в 1944 году, тщательно подбирая слова и невольно склеивая в одно свидетельство и (1) марксистскую партийность, и (2) свой со Струве *радикал-демократизм* периода «Освобождения», и (3) проблему социалистического идеала, который столь упорно стремились идеалистически обосновать в 1900-е годы Струве и Франк и тео-

ретическое «уничтожение» которого как «конечной цели» отталкивало их от ревизионизма Бернштейна, и (4) вполне ревизионистское «повышение уровня» борьбы рабочего класса ради достижения политической свободы :

> «В своей юности П.Б. был, действительно, довольно короткое время сторонником социалистического ***движения*** в той форме, которую оно имело в Германии в лице социал-демократической партии (с некоторыми членами этой партии он тогда находился в дружеских личных отношениях). Но эта немецкая социал-демократическая партия, подобие которой русские марксисты, в том числе и П.Б., пытались тогда создать в России, была по своему конкретному содержанию и политической практике просто радикально-демократической партией, опиравшейся на рабочее движение и стремившийся к повышению экономического и культурного уровня рабочих масс. Собственно социалистический идеал фигурировал, как известно, только в её "программе-максимум", то есть как конечная цель, осуществление которой преподносилось в неком туманно-отдалённом будущем...»[11]

В единственной в этой газете статье, подписанной собственным именем, Струве приветствовал пролетарских политиков, приводя им в пример свои впечатления 1890-х годов о первых *экономических* забастовках, словно реабилитируясь за собственное отрицание пользы забастовочной борьбы в первом номере газеты и с удивительной наивностью полагая возможным удовлетворить социально-политические амбиции рабочих доступом в депутаты Государственной Думы.[12]

Не исключено, что из-за видимой двойственности её позиции газета шла трудно. Хотя, конечно, более всего на её судьбе сказался видимый дефицит средств, не дававший газете времени даже на первоначальный старт. Это, в частности, нашло своё отражение в первом признаке «умирания» периодического органа печати, который отражал его отказ от расширения и просто удержания читателей путём объявления известных целевой аудитории авторитетных имён среди постоянных авторов издания. Знаком такого отказа было прекращение публикации списка заявленных авторов уже с 5 мая 1906 года.

11 *С. Франк.* Умственный склад, личность и воззрения П.Б. Струве [1944] // С. Франк. Непрочитанное... Статьи, письма, воспоминания / Сост. А.А. Гапоненкова, Ю.П. Сенокосова. М., 2001. С. 563–564. О таком же восприятии социализма Струве в образе респектабельных вождей германской социал-демократии см. его собственные свидетельства, подчинённые тоже вполне агитационной, но иной задаче: *Пётр Струве.* Отпрыск буржуазной культуры. Памяти Августа Бебеля // Русская Мысль. 1913. Кн. VIII.

12 *Пётр Струве*. Привет // Рабочее Слово. № 3. 5 апреля 1906. СПб. С. 2–3. Полностью публикуется в приложении к настоящему тексту.

Последний известный номер газеты вышел в свет 16 мая 1906 года — и на этом она, видимо, прекратилась, не оставив по себе, несмотря на усилия ее создателей, никакого заметного следа и никаких воспоминаний, которые захотели бы годы спустя восстановить в памяти и на бумаге её главные сотрудники — Струве и Франк. Весьма значительный денежный долг за печатание газеты повис лично на Струве, что ясно доказывает тот факт, что именно он был издателем и единственным собственником издания (может быть, тщетно надеясь частично финансировать газету за счёт финансируемой И.Д. Сытиным газеты «Дума», вскоре тоже прекратившейся).

Последняя дата платежа, сделанного Струве в адрес типографии, была зафиксирована 15 мая 1906 года. Расплатиться окончательно он не смог, и 11 августа 1906 года полиграфисты писали Струве: «Товарищество Художественной Печати до сих пор не получило по расчёту с редакции газеты "Рабочее Слово" в сумме Рб. 2458,45».[13] Других сведений о деле мы пока не имеем, что даёт основания полагать, что Струве закрыл этот проект с тяжёлыми убытками для себя лично.

Так в 1906 году рухнули все издательские предприятия Струве или с ним во главе: еженедельник «Полярная Звезда», газета «Рабочее Слово», еженедельник «Свобода и Культура» и вечерняя газета «Дума». Видимо, прав был Франк, вспоминая об этом времени и сытинской газете «Дума»:

> «Газета эта была полной неудачей… Струве, обладая сам замечательным дарованием журналиста и умением привлекать сотрудников и организовать их работу, по всему своему духовному складу был существом прямо противоположным типу успешного и умелого редактора газеты. Он не умел и даже не хотел приспособляться к вкусам массового читателя… Сытин, сначала так охотно пошедший навстречу П.Б., увидав, что терпит на ней убыток, сразу же её прекратил, и притом в мужицко-грубой форме — в одно прекрасное утро [то есть 14 июня — *М.К.*] Струве, придя в типографию, был встречен лаконическим сообщением: "Иван Дмитриевич приказал прекратить печатание газеты"».[14]

Лишь в конце 1906 года смерть многолетнего редактора толстого московского ежемесячного журнала «Русская Мысль» В.А. Гольцева передала журнал в руки известного кадетского деятеля, приват-доцента истории А.А. Кизеветтера, а тот пригласил в соредакторы Струве, что дало ему заработок и печатный орган в управление. На руководство газетой вплоть до 1925 года он уже не претендовал.

13 РНБ. АДП. Ф. 753. Ед. хр. 123.

14 *С. Франк*. Воспоминания о П.Б. Струве // С. Франк. Непрочитанное… С. 430–431.

Приложение

1. [*П.Б. Струве*] Рабочее Слово

Русский рабочий класс переживает тяжёлые дни. В борьбе за освобождение России он принёс огромные жертвы. Сколько людей пало на улицах от ружей и даже пушек! Но ещё больше погибло и гибнет от затяжного кризиса промышленности, от безработицы и от следующих по пятам за нею болезней. В рабочем классе молодые и старые, мужчины и женщины, и дети, дети без числа сошли и сходят в могилу жертвами тех тяжёлых мук, в которых наша истерзанная, искровавленная родина рождает свою свободу.

В такие дни рабочий класс должен разумно сплотить свои силы для того, чтобы отстаивать и свою жизнь, и свои человеческие права, для того, чтобы бороться с ежедневно изматывающей, губительной нуждой и в то же время пробиваться к свету, свободе и счастью.

Где горит тот свет, к которому нужно пробиваться?

Где пути к этому свету?

Свет этот в вере и убеждении, что возможно и необходимо такое устройство общества, в котором не будет никакого угнетения человека человеком, в котором никто не будет наслаждаться жизнью за счёт чужого труда, проживая в праздном довольстве. Вера в такое справедливое устройство общества называется **социализмом.**

Никто не может в настоящее время утверждать, чтобы было возможно сейчас же перестроить современное общество и сразу сделать его трудовым и социалистическим. Но это не значит, чтобы социализм был пустым словом и праздной мечтой. Социализм есть великая цель, яркая путеводная звезда, свет которой преображает мелкую повседневную борьбу за интересы в великое дело созидания нового, справедливого общества.

Кто же будет строить это общество? Все те, кто поняли несправедливость эксплуатации человека человеком — и прежде всего сами обездоленные и трудящиеся. Благородные мыслители, друзья человечества, вдумываясь в судьбы человеческого общества, открыли великую цель социализма, но только сами трудящиеся своею самостоятельностью могут построить камень за камнем, стена за стеной здание трудового социалистического общества.

В этом — основной смысл слова «классовая борьба» и учения об этой борьбе. Никто не может помочь рабочему классу, если он сам не пожелает себе помочь.

Путь борьбы рабочего класса за его повседневные нужды и за его конечное освобождение усеян трудностями и преградами.

Своекорыстие обеспеченных и богатых на каждом шагу противится всякому даже частичному улучшению положения трудящихся. Но ещё больший враг освобождения трудящихся всюду и всегда была их собственная неподвижность и косность. Вековое угнетение создало в рабочих массах привычки рабства и подчинения. Рабочий класс в лучших, наиболее сознательных своих элементах уже порвал с этими привычками. И этот дух непримиримой борьбы с угнетением сознательные рабочие должны поддерживать в себе, как огонь неугасимый, и нести его всюду, где живёт трудящийся человек.

Борьба рабочего класса за освобождение есть прежде всего и главнее всего дело самовоспитания рабочих.

В этом деле огромная помощь может и должна оказать рабочему классу интеллигенция. Но пусть она не стремится то, что зародилось в отдельных кружках и даже партиях, навязывать и диктовать рабочему классу. Рабочий класс в России настолько уже созрел, что он должен организоваться из себя, снизу, не под диктовку тех или других интеллигентских групп, а в упорной работе самодеятельности и самовоспитания.

До сих пор русское рабочее движение попеременно то подчинялось узким интеллигентским группам, то шло помимо интеллигенции, подчас даже во враждебном отчуждении от неё.

И то, и другое ненормально и нежелательно.

Русскому рабочему движению пора выйти на широкий путь сплочения рабочего класса извнутри в прочных организациях, которые пустили бы крепкие корни в рабочую массу и в её повседневную жизнь. Только став на этот путь, рабочий класс соберёт и измерит свои силы и сможет в полной мере использовать их в политической и социальной борьбе. В этом отношении первой мыслью, первой задачей сознательных рабочих должна быть организация профессиональных рабочих союзов и вообще всякого рода экономических и бытовых единений среди рабочих.

Часто рабочему классу приходится слышать лозунги или призывы, смысл которых «всё или ничего!», «либо пан, либо пропал»! Следовать за этими лозунгами значит для рабочих идти на верные поражения, значит не рвать, а укреплять цепи, в которых держит рабочих союз насильничающего чиновничества и корыстной буржуазии. Не следует обманываться: только шаг за шагом рабочий класс пробьётся к свету и конечной свободе. Человечество —

сказал наш великий мыслитель-социалист **Герцен** — «идёт от освобождения к освобождению». Сегодня завоёвано одно, завтра другое, и каждый шаг, отвоёванный от насилия и эксплуатации, как бы он ни был мал, дорог сам по себе и ценен для дальнейшей борьбы.

Русский рабочий класс уже сейчас покажет свою мощь, если он сумеет действительно сплотиться и использовать свои соединённые силы в упорной и мудрой, освещённой светом социализма борьбе за свои права и интересы. Органом, посильно служащим такой борьбе, будет **«Рабочее Слово»**.

Оно не служит никакой партии, потому что нет в России ещё партии, в программе и деятельности которой целостно воплощались бы начала настоящей **рабочей политики**, соответствующей интересам русского пролетариата. Разъяснять эти начала и тем вносить дух сознания и самодеятельности в рабочий класс будет основной задачей нашего органа.

2. *Петр Струве*. Привет!

В Гос. Думу идут, в качестве членов, несколько депутатов-рабочих.

Мысль невольно переносится на десять лет назад, в 1896 год, когда весною же в Петербурге разгорелась великая стачка рабочих бумажных мануфактур. Стачка была чисто «экономической», но всякий из нас чувствовал уже и тогда, что нарождается великая сила, — пробуждающийся к сознанию своих прав и интересов пролетариат, и что эта сила принесёт в русскую жизнь великие перемены.

Так отнеслись к стачке и мы, русские, и весь мир, с изумлением увидевший, что русский рабочий класс умеет дружно и упорно отстаивать свои интересы и требования.

Во время этой стачки и после неё пишущему эти строки пришлось быть заграницей, и он никогда не забудет того внимания и того огромного интереса, с которым западно-европейские рабочие и социалисты относились к известиям, приходившим тогда из Петербурга. Мне пришлось в эти дни — по поводу стачки и материальной поддержки её участников — беседовать с вожаками германской социал-демократической партии, с покойным Либкнехтом, с Бебелем, с Зингером, и в первый раз из их уст услышать признание того, что с весны 1896 года русское рабочее движение не есть уже мечта кучки интеллигентов-социалистов, а факт русской действительности, засвидетельствованный поведением *рабочих* масс.

Теперь в десятилетие великой петербургской стачки собирается первый русский парламент и, несмотря ни на что, — в него входят первые русские рабочие депутаты.

Мы, современники обоих событий, не можем не чувствовать их связи. И вспоминая о первом мирном, но внушительном выступлении пролетариата, мы шлём привет первым рабочим членам Государственной Думы. Пусть они, памятуя, что лишь 10 лет тому назад рабочие столицы русского государства выступили впервые как солидарная масса, измерят огромные успехи, достигнутые рабочим классом, и с верою в их силы будут — вместе со всеми защитниками народной свободы — твёрдо стоять на страже интересов и прав рабочего народа.

Привет вам, первые рабочие члены Государственной Думы!

С.Л. Франк. «Панидеал» (1909)[152]

Странная эта книга — «Панидеал» Гольцапфеля, любопытный документ человеческой души, наводящий на грустные и забавные размышления. Но еще более любопытно, забавно и грустно появление ее на русском языке — не столько самый факт ее перевода, сколько та претензия, с которой он выступает. Если верить г. Владимиру Астрову, переводчику «Панидеала», снабдившему книгу восторженным предисловием пояснительного и биографического содержания, в «Панидеале» человечество обретает, после многовековых исканий, новое евангелие, дающее душе современного человека полное утешение в ее страданиях и вместе с тем являющееся не «иллюзией», а строго научным эмпирическим учением. Несколько лет тому назад г. Луначарский, ныне основатель и апостол новой религии, уже рекомендовал русским читателям это новое евангелие; теперь, с переводом этой книги на русский язык, возможно появление у нас секты «гольцапфелистов», которая, пожалуй, некоторое время будет производить немало шуму.

Что же это такое — «Панидеал»? Даже не имея обширной биографии ее автора, составленной переводчиком, из содержания самой книги можно догадаться, что Гольцапфель — человек много переживший и прочувствовавший, — современный человек, фаустовского типа, неудовлетворенный жизнью и исполненный «мировой скорби». Но именно — только *догадаться*; метафизические и религиозные порывы автора можно вычитать между строк книги; кто сосредоточится только на том, что в книге высказано, тот, перейдя от пылкой характеристики личности автора в русском предисловии к самой книге, испытает горькое разочарование. С внешней стороны «Панидеал» есть

152 Слово. СПб. № 716. 22 февраля (7 марта) 1909 года. С. 2.

собрание занумерованных (всего 1077!), написанных в стиле и с терминологией Авенариуса, ученых психологических заметок. Хотите знать, что такое «тоска»? Раскройте главу вторую, и вы узнаете под № 112, что есть «два понятия тоски: a) отчасти безнадежная тоска, b) совершенно безнадежная тоска», а под № 130, что «если в тоске I или в тоске II имеются приятные моменты, то воспоминание о тоске I или II может перейти в желание III тоски I или II, resp. в тоску III по тоске I или II». Или об искусстве мы можем узнать, например, (цитирую наудачу) в № 822: «Объектом часто копирующего положительного одобрения, с точки зрения революционной совести градуального в различиях гигиопсихического развития, может стать такое эксклудирование, инклудирование и комплементирование, которое способствует градуальному в различиях гигиопсихическому развитию человечества». Но не подумайте, что это — набор бессмысленных слов, что автор — шарлатан и морочит своих читателей. Это есть просто язык Авенариуса, — тот самый язык, изучать который отказался даже самый ближайший единомышленник Авенариуса — Мах, сославшись на недостаток времени для овладения языком, на котором пишет только один человек. В «эксклудировании, инклудировании и комплементировании» Гольцапфель искренно и добросовестно нашёл успокоение своей мятущейся души; современный Фауст завершил свои мытарства местом фамулуса в школе Рих. Авенариуса. И немало, вероятно, ищущих Бога русских душ будут, по стопам Гольцапфеля, биться над «эксклудированием и инклудированием», в уверенности, что в них-то и таятся последние и притом строго научные ответы на «проклятые» вопросы о смысле и цели жизни. И если простое чтение, с научными целями, произведений Авенариуса и его школы, и притом на том самом языке (близком к немецкому), на котором они написаны, представляет такие трудности, то сколько же усилий должно быть положено, чтобы вычитать из аналогичного труда Гольцапфеля целое «миросозерцание», даже ещё читая его по-русски! А что это значит — русская передача этого мудреного языка, — можно усмотреть хотя бы из одного примера, который я позволю себе еще привести: красивое, понятное и простое немецкое слово kampflos (лишенный борьбы, мирный) при необходимости передать его точно терминологически, превращается в некое лингвистическое чудище — «безборьбенный» (!!), которое фигурирует на десятке страниц, посвященных понятию «борьбы»; так, № 397 гласит внушительно: «убийство есть безборьбенное смертоносное вариирование, связанное с отрицательным чувством общения».

Но дело, конечно, не в языке, трудность, искусственность и неопрятность которого так или иначе можно преодолеть; дело не в стиле речи, а в стиле мыслей. Если суметь ориентироваться среди заколдованного леса этих 1077 эмпириокритических «ориентировок», то основную мысль Гольцапфеля

можно понять и формулировать приблизительно следующим образом. Все человеческие искания, руководимые верой в какие-либо религиозные или вообще объективные ценности, иллюзорны и потому тщетны. Место проповеди и религиозно-метафизического творчества должно занять научное исследование, психологическое описание и расчленение субъективных переживаний, на которые опираются или из которых состоят эти искания.

На почве такого научного анализа должна быть построена педагогическая система, задача которой — воспитывать чувства и настроения, наиболее благоприятствующие всестороннему духовному развитию личности и человечества. Такое развитие и обогащение духа (или вера в него) и называется «*панидеалом*». Панидеал («всеидеал») есть идеал, объемлющий все отдельные мыслимые идеалы (этические, эстетические и т.п.), — ибо все они совпадают в идее духовного обогащения; но, вместе с тем, он не опирается ни на какие метафизические посылки, а выведен научно, из психологического исследования идеальных исканий и запросов.

Это звучит так «гордо», что не всякий, пожалуй, подметит то, можно сказать, филистерское недомыслие, на котором всецело покоится это рассуждение. Задачу религии, в которой люди доселе искали «панидеала», должна отныне выполнять некая эмпириокритическая психиатрия или, как эта дисциплина зовется у Гольцапфеля, «биокритика»: вместо исканий абсолютной правды нужно научиться искать субъективно-полезные переживания и настроения. Мечников мечтает, что развитие гигиены сделает религию излишней; Гольцапфель предлагает вытеснить ее психической гигиеной («гигиопсихическим развитием» — говоря опять его собственным языком). Но если мое искание истины иллюзорно и безнадежно, что мне [sic] поможет гигиена и психиатрия? К чему мне тогда весь этот вымученный искусственным самоанализом «панидеал»? И может ли быть вообще потребность в объективной правде объективно же удовлетворена с помощью какой-то психологической «ориентировкой» в моих переживаниях?

Ясно, что дело идет здесь не об объективном удовлетворении интереса, а о субъективной *подмене* его другим интересом Фауста. Эмпириокритическая теория его жизненной драмы излечить не может; но если Фауст устал от исканий и способен превратиться в Вагнера, он найдет успокоение в психологической лаборатории Авенариуса, как нашел бы его в других занятиях. Поскольку «Панидеал» есть *личная исповедь* — а он и есть таковая, несмотря на все «эксклудирования» и «инклудирования», — он говорит о душевной усталости автора и о попытке его удовлетвориться самодовольной мудростью Вагнера и забыться в ней. Повторяю, это — грустная, и вместе смешная книга, не евангелие, а скорбный лист современной человеческой души, уставшей от безве-

рия и все же мечтающей удовлетворить потребность в вере какою-либо новой хитроумной формой безверия. В «Панидеале» много отдельных метких психологических замечаний, ценных в научном отношении, иногда приближающихся к остроте ницшевского анатомирования совести. Но это — не система, а еще меньше — вероучение; это проблески живой человеческой души, тонущие в педантизме и мертвости общего «эмпириокритического» метода. Если бы автор не задавался широкой научной и философской целью, а в ряде афоризмов передал жизненную мудрость своих исканий и разочарований, его книга была бы ценнее, умнее и полезнее.

В странном противоречии с сухостью и неуклюжестью системы «Панидеала» стоит исполненное лирического посыла и прозелитического воодушевления предисловие к ней, составленное переводчиком. Оно дает любопытную картину приключений, неудач и исканий Гольцапфеля; но его тяжело и смешно читать, ибо это — не просто биография, а вдохновенное описание жития нового пророка, евангелие которого записано в 1077 эмпириокритических положениях «Панидеала». Такое безвкусное и преувеличенное поклонение (г. Астров говорит почти только в превосходной степени: «глубочайшая тоска», «индивидуальнейшие переживания», и не скупится на неумеренные эпитеты) свидетельствует лишь об отсутствии чувства меры и разумной перспективы. Мы не сомневаемся, однако, что такая по меньшей мере наивная восторженность в рекомендации Гольцапфеля будет весьма содействовать популярности этой восходящей философской звезды.

Повторяем: кажется, на очереди ближайшего дня стоит «гольцапфелизм», и чем труднее будет постигать «безборьбенность» и «эксклудирование», тем глубже и нужнее будет казаться скрытая под ними мудрость.

С.Н. Булгаков.

Письма к Андрею Белому (1910–1911)[1]

1

[Москва] Б. Афан<асьевский> пер., д 22, кв. 12. Среда, 6 окт<ября> 1910.

Дорогой Борис Николаевич!

Если Вы свободны завтра, т.е. в четверг 7 октября вечером, то доставите мне большое удовольствие, если зайдете ко мне провести вечер. Я звонил к Вам из Мусагета,[2] но Вас не было. Если Вам можно, то не зайдете ли Вы по дороге за Мих<аилом> Ос<иповичем> [Гершензоном] (или скажете ему в телефон, которого я сам не имею). Вл<адимир> Фр<анцевич> [Эрн] будет, Гр<игорию> А<лексееви>чу [Рачинскому] я пишу.[3] Ваш С. Булгаков.

1 Два письма из пяти (от 13–17 января 1910 года и от 13 февраля 1911 года) впервые (с небольшими пропусками и неточностями) были опубликованы И.Б. Роднянской по автографам: *С.Н. Булгаков.* Письма Андрею Белому // Новый мир. М., 1989. № 10. С. 238–241. Здесь впервые публикуются полностью по рукописным оригиналам: ОР РГБ. Ф. 25. К. 10. Ед. хр. 10.

2 Адрес издательства «Мусагет»: Москва, Пречистенский бульвар, дом 31.

3 См. коллективное письмо Андрею Белому, подписанное Г.А. Рачинским, С.Н. Булгаковым, М.О. Гершензоном и Л.И. Шестовым: ОР РГБ. Ф. 25. К. 22. Ед. хр. 3.

2

13–17 декабря 1910. Москва. Б. Афан. пер., д. 22, кв. 12.

Дорогой Борис Николаевич!

Только теперь удалось мне, наконец, прочесть «Серебряного Голубя», и я испытываю неодолимую потребность сказать Вам слово благодарности, восторга и радости и за Вас, и за Ваших читателей. Я совершенно потрясен Вашей книгой. В ней Вам удалось, нет, дано Вам такое проникновение в народную душу, какого мы не имели еще со времен Достоевского. В ней совершилось чудо художественного ясновидения. Пред Вашим творчеством распахнулись сокровенные тайны народной души в ее натурально-мистической и, как Вы со всей силой показали, неизбежно демонической стихии. За Вашим романом для меня оживал и Розанов, и становился понятен соблазн петербургских радений, и «глубины сатанинские» мистического сектантства. И, хотели ли бы Вы этого или не хотели, но то, что в Вас — эмпирическом — больше Вас, — Ваш дар, такой ответственный и страшный, явил такое разительное свидетельство истины Церкви, которая одна спасает нас от всех чар кудеяровских, изгоняет бесов, дает мужественную, а не пассивную, женственную жизнь духовную. Вам приходится нести и крест своего служения, холодное непонимание, равнодушие толпы, но это хороший знак, Вы сами это знаете. Но рано или поздно поймут и услышат Вашу художественную речь.

Я слишком высоко ценю «С<еребряного> г<олубя>», а еще больше Вас самих, чтобы не высказать Вам и того, что меня в Вашем творчестве тревожит. Оставляю невыработанность и нервность формы, шаржи, вообще нервную торопливость письма, все это и исправимо, и ясно для Вас самого, да и не мое это дело, эстетическая критика. Я болею за Россию и за глубочайшего из современных ее художественных истолкователей, и поэтому спрашиваю себя: неужели он не видит — художественно не видит — в теперешней мистической России никого, кроме Кудеярова и последователей его Матрены, а в церковной (хотя бы и исторической) стихии ничего, кроме быта и маски попа Вукола? Но в таком случае откуда же воссияет свет Саров третьей части? Разве он не оттуда же идет и разве он там не ведет борьбу с кудеяровщиной? Я выражаю Вам свои недоумения и страхи и думаю, что знаю и, если бы был художником, мог бы художественно доказать и показать это, что «сей народ богоносец», хотя и в избранных своих. Но, когда я отдаюсь надежде, что Вам с такой же художественной силой дано будет [изобразить][4] показать [в образах][5] свет, как Вы

4 Зачёркнуто.

5 Зачёркнуто.

изобразили и тем обличили тьму, меня охватывает радостное волнение, а вместе и тревога за Вас, который обременен такой миссией, в котором зреет это слово. Да осияет Вас, дорогой Борис Николаевич, этот Саровский свет на путях Ваших и да охранит он Вас от мстительного кудеяровского зла!

Сегодня я получил Вашу открытку, в которой Вы забыли-таки сообщить свой адрес, так что я посылаю и это письмо и свою книгу[6] наудачу, быть может, по неверному адресу. Желаю Вам света и покоя и в личной Вашей жизни, и в работе. Здесь, в Москве, трудно жить и трудно сосредоточиваться, и жизнь ставит такие трудные требования, которым не чувствуешь силы как следует удовлетворить (основная черта моего всегдашнего самочувствия). Елена Ивановна [Булгакова] Вас приветствует. Желаю Вам счастливых праздников и нового года. Крепко жму Вашу руку. Любящий Вас

С. Булгаков.

P.S. Я получил еще большой короб бумаг А.Н. Шмидт, но большинство неудобочитаемо, хотя есть и интересные материалы.

3

11. I. <19>11. Мск. Б. Афанас. пер., д. 22, кв. 12.

Дорогой Борис Николаевич!

Спасибо Вам за память и за приветствие. Взаимно приветствую Вас с новым годом и шлю Вам от всего сердца наилучшие пожелания как в личной Вашей жизни, так и в творчестве Вашем.

К своему огорчению, на днях я получил обратно посланную Вам в Палермо (в Hôtel des Palmes) заказной бандеролью свою книгу «Два града», которая совершила т. обр. путешествие на «запад» и была им отвергнута обратно на «восток». Но ещё более мне жаль, что, очевидно, не дошло до Вас и одновременно написанное под непосредственным впечатлением прочтения «Серебряного Голубя», который произвёл на меня огромное впечатление и кажется вообще литературным событием первостепенной важности.

Говорю Вам за него сердечное спасибо и как читатель и как религиозно-и притом церковно настроенный человек. Вы проявили в нем исповедание истинного художника и затянули в самые глубины души народной, насколько она охвачена чарами натуральной демонической мистики. Горячо приветствую Вас от себя и Елены Ивановны. Любящий Вас С. Булгаков.

6 *С. Булгаков.* Два града: Исследования о природе общественных идеалов. Т. I-II. М., 1911

4

Москва. 23. I. <19>11.

Дорогой Борис Николаевич!

Настоящим письмом хочу только известить Вас по Вашему последнему адресу, что я два раза уже Вам писал, один раз в Палермо в Hôtel des Palmes? [sic] (оттуда мне вернулась посланная Вам моя книга, за ненахождением адресата), и затем в Тунис poste restante. Возможно, что и это письмо Вас не [застало][7] нашло.

В обоих письмах я выражал Вам свои горячие приветствия по поводу Серебряного Голубя, который произвел на меня огромное впечатление, но теперь не буду повторяться. Желаю Вам счастья и радости в Вашей личной жизни и успеха и вдохновения в продолжении начатого Вами столь значительного художественного труда. Спасибо за память. Елена Ивановна шлет Вам привет. Любящий Вас С. Булгаков.

5

Б. Афан. пер., д. 22, кв. 12. 13.II.11.

Дорогой Борис Николаевич!

Очень был рад Вашему письму и заочному общению с Вами. Простите, что поздно отвечаю. Приходится кипеть в котле под напором — одновременно запада и востока в Вашем смысле (к слову сказать, особый, темный, восточный восток в русской душе есть Ваше художественное открытие в С<еребряном> Г<олубе>, при свете которого многое в себе и крутом себя в России видишь иначе и понимаешь лучше, нежели раньше). «Запад» я ex professo постоянно принимаю в себя и перебарываю в себе или как чужеродное тело или как яд, к которому надо получить нейтралитет или выработать антитоксин. И чем больше живу и чувствую, тем больше узнаю яд и вижу змею на дне кубка. Конечно, я говорю про современный, западный запад, — неокантианства и ричлианства, мещанства и всяческого имманентизма, — эта могучая, организованная сила, но бездушная или же потенциально антихристианская, а скрытый, потенциальный антихрист куда хуже и зловредней боевого, открытого антихристианства. Я далек от того, чтобы отдавать запад антихристу, это была бы просто клевета и слепота, да и не мог бы этого сказать я потому, что больше всех своих друзей чрез науку имею в себе Запада. Но вижу почти воочию, как

7 Зачёркнуто.

злая сила и какая-то слепота овладевает машиной «культуры». А в «востоке» мы натурально живем и от него страдаем. В частности, теперь перебаливаем уже давно студенческое движение, где одинаково «восточно» и правительство, и студенчество. Грозные и мрачные чувства и предчувствия навевает это как симптом: хаос в душах остается прежний, как будто ничего не было пережито. Лично для меня это имеет то значение, что, вместе с многими другими, приходится оставить ун<иверси>тет, где я, впрочем, мало имел занятий.

Хорошо, что Вы живете в такой далекой, ветхозаветной и колоритной обстановке, душа отдыхает и растет, набирается сил.

Не затрогиваю содержания Вашего последнего письма потому, что считаю этот сюжет не для писем. Ваше сопоставление умирающего барства и благообразной, но бессодержательной (мне кажется, что не соответствует истине ни тот, ни другой предикат) формы церковной мне не кажется верным, но возможно, что мы по-разному понимаем термины, и разногласие вовсе не так велико. Во всяком случае еще раз желаю Вам вдохновения, сил и самоутверждения для художественного подвига, который Вы на себя подъяли планом своей трилогии. Желаю Вам с Вашими близкими здоровья, мира душевного и всего лучшего. Елена Ивановна Вас приветствует. Она хворала, я тоже не очень здоров был, но теперь ничего. Любящий Вас.

С. Булгаков.

P.S. Книгу мою Вы, надеюсь, получили. Мне интересно, как Вы воспринимаете предисловие и очерк об апокалиптике.

«Памятник» В.В. Розанова (1913–1914)

В собрании розановских заметок «Сахарна», во фрагменте, примерно датируемом 30 декабря 1913 года, читаем:

«Мое имя никогда не будет забыто, а с именем — **и мысли.** «Розанов сказал», «Розанов хотел», «Розанов пытался».

Если мой ум и не будет помниться (м. б. и не стоит) — мой порыв будет помниться. История «моего сердца» не пройдет в литературе русской: а сердце-то и я хотел сохранить, для сердца я работал.

«Мое дорогое!» «Мое дорогое!» — вот что сохранится. Не «мое истинное», чего м. б. и нет. Но «мое дорогое» как зверь проползет из поколения в поколение и все будет поднимать глазки, и эти глазки будут ворожить сердца людей.

«Вот Розанов чего хотел», «сделаем, как Розанов хотел».

Ползи же, зверь мой, дальше. Ползи, не уставай. И нашептывай людям дорогие слова. Будь хитер и терпелив. Идет дождь. Терпи. Горит «твое» — терпи. Все выноси. И грызи, грызи кабак и его вонючий запах. Смотри, он затянул все.

Увяли розы. Меркнут звезды. Могучий tabes разливается по миру. Tabes — знаешь ли ты его? О, как трудна болезнь. Как страшна она. Сохнет душа. Только чудо может спасти.

Розанов, будь чудом своей земли. И моли Бога, моли Бога, потому что ты **сам** ничего не можешь, но если Бог с **тобою** — чудо выйдет.

Бог с тобою, Розанов. Не смущайся. Кто дал жизнь миру, может исцелить и неисцелимую болезнь. Болезнь будет исцелена».[1]

1 *В.В. Розанов*. Сахарна. Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови / Собрание сочинений под ред. А.Н. Николюкина. М., 1998. С. 240.

Это В.В. Розанов пишет о своей посмертной судьбе в русской культуре, которая, как мы знаем, сначала мемуарными (или квазимемуарными) усилиями В.Б. Шкловского, Э.Ф. Голлербаха, А.М. Ремизова и З.Н. Гиппиус, а затем исследовательски была спасена от забвения, и позже, в последней четверти XX века, стала просто счастливой, отведя Розанову место несомненного гения в памяти и практике его современных русских читателей.

Не только гению, но и любому писателю в России легко найти слова, если хочет он высказаться о перспективах своей посмертной славы, — здесь на помощь ему спешат Гораций и Пушкин. Вернее, даже просто Пушкин, влекущий за собой имя Горация, ибо традицию русских переводов и переложений оды Горация, в России выступающей под именем «Памятника», неизбежно фокусируют на пушкинском «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» (при том, что массовое культурное сознание хорошо знает переложение Державина[2]). По инициативе В.П. Григорьева даже хлебниковское «Ещё раз, ещё раз // я для вас звезда…» принято именовать «Памятником». Фрагмент Розанова, вычленяемый мною в толще его заметок 1913 года, я называю «Памятником» не по внешнему сходству его темы. В нём остро чувствуется мотив, дополнительный к пушкинскому, горацианский. «Памятник» Розанова — не только от Пушкина, но и от Горация.

О том, что такое жесткое различение имеет особый содержательный смысл даже в русской традиции, свидетельствует недавняя полемика о степени удаления пушкинского текста от латинского оригинала. «У Пушкина от Горация осталась только сама идея памятника и повсеместной славы…», — говорят одни.[3] Отнюдь, в тексте своем Пушкин реализует «стилизацию в горацианском духе», — говорят другие.[4] Важно, что обе версии оставляют простор для параллельного бытования текстов Горация и Пушкина в культурной среде, для которой классическое гимназическое образование (бывшее классическим до 1911 года) делало незнание латинского оригинала в культурной среде практически невозможным. Например, автоматически цитирует латинский оригинал этого текста Горация А.А. Ахматова, используя его *aere perennius* как доступный общему пониманию знак той вечности литературы, что сильней вечности металла. Все эти оговорки, впрочем, мало касаются В.В. Розанова, ибо он не только действительно знал школьную латынь и школьного Горация,

2 О русской «автобиографической» традиции перевода Exegi monumentum и, в частности, подробно об имплементации его Г.Р. Державиным см.: *Любовь Гольбурт*. О чём свидетельствуют памятники? // История и повествование / Под ред. Г.В. Обатнина и П. Пессонена. М., 2006. С. 53–64.

3 *Елена Рабинович*. Риторика повседневности. Филологические очерки. СПб., 2000. С. 147.

4 *Роман Войтехович*. О горацианском претексте «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» // Пушкинские чтения в Тарту. Вып. 2. Тарту, 2000. С. 228.

но и имел склонность цитировать Горация в латинском оригинале.[5] Здесь понадобятся лишь первые пять строк оды Горация Ad Melpomenem:

Exegi monument(um) aere perennius
Regalique situ pyramid(um) altius,
Quod non imber edax, non Aquil(o) impotens
Possit diruer(e) aut innumerabilis
Annorum series et fuga temporum…

Проследим впитанную Розановым горацианскую латынь по тексту его авторского памятника. В названном фрагменте Розанов, в частности, говорит:

«Мое имя никогда не будет забыто, а с именем — и мысли. (…) Если мой ум и не будет помниться (м. б. и не стоит) — мой порыв будет помниться. История «моего сердца» не пройдет в литературе русской: а сердце-то и я хотел сохранить, для сердца я работал. (…) "мое дорогое" как зверь проползет из поколения в поколение (…) Идет дождь. Терпи».

Итак, вслед за пушкинским:

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире

Розанов говорит:

(1) *Мое имя никогда не будет забыто, а с именем — и мысли.*

Пушкинскому:

буду тем любезен я народу // Что чувства добрые я лирой пробуждал

Розанов отвечает:

(2) *мой порыв будет помниться. История «моего сердца»… (…) «мое дорогое» (…) все будет поднимать глазки, и эти глазки будут ворожить сердца людей.*[6]

5 *В.В. Розанов.* Когда начальство ушло… 1905–1906. Мимолетное. 1914 год / Собрание сочинений под ред. А.Н. Николюкина. М., 1997. С. 352 (Мимолетное); *В.В. Розанов.* Итальянские впечатления. Среди художников / Собрание сочинений под ред. А.Н. Николюкина. М., 1994. С. 378 (здесь он, правда, приписывает Горацию стих Вергилия. Но спутать вот хоть А.Ф. Писемского с И.А. Гончаровым Розанову было совсем не трудно).

6 В розановской пушкиниане пушкинское переложение прямо упоминается лишь однажды и мимоходом: *В.В. Розанов.* О Пушкине. Эссе и фрагменты / Сост. В.Г. Сукач. М., 2000. С. 292.

Но вот следующим розановским «стихам» нет соответствия у Пушкина, а есть соответствия лишь в горацианском оригинале:

Розанов:

(3) *как зверь проползет из поколения в поколение*

Гораций:

innumerabilis // Annorum series et fuga temporum… (ряд бесчисленных лет и бег времён)

Розанов:

(4) *Идет дождь. Терпи.*

Гораций:

non imber edax (…) Possit diruer (едкий дождь разрушить не может).

Внимательное чтение Розанова, наконец, дарит нам ещё один вариант розановского «Памятника», развитие его, не теряющего генетической образной связи с протографом Горация — в прежде не публиковавшейся записи от 4 сентября 1914 года:

> «Моё время не щадит меня, и я не пощажу моего времени.
>
> — Вражда? — Да. Сильнее ли я его. Да? Почему? Умнее. Оно меня "замалчивает", ну а я его "заговорю". Тупое овечье молчание едва ли будет сильнее человеческого говора. Пройдёт 50 лет. И где же будет ваше "молчание" и "замалчивание"? И вот когда вы будете так глубоко молчать, я буду всё ещё говорить и говорить. И мои "говоры" будут о вас, милые человеки, — которые тогда уже будете не молчащими овцами, а давно разложившимися в земле баранами. *(судьба моих книжек)*».[7]

7 Впервые опубликовано в: *В.В. Розанов*. Мимолётное. 1914 год // В.В. Розанов. Собрание сочинений: Когда начальство ушло… / Сост. П.П. Апрышко и А.Н. Николюкин. М., 1997. С. 526–527.

Post scriptum

О жанре свободных, лирических и парадоксалистских, многоролевых записей «по случаю» внутри интеллектуального дневника («листьев»), прославленном В.В. Розановым в «Опавших листьях» и других его памятных сочинениях, думает каждый исследователь и поклонник писателя — но не каждый пишет об этом адекватно подробно. Прецеденты же свободного интеллектуального дневника многочисленны, в том числе — в русской литературе до Розанова, особенно — в наследии П.А. Вяземского. Часть из них я перечислил в «Заметках по археологии русской мысли» (их полном варианте)[8].

Однако современные исследователи В.В. Розанова не видят ближайших исторических образцов или ориентиров для «уединённого» жанра записей ни у Вяземского, ни где либо ещё, более того — они насильно возводят предысторию этого жанра сразу в пределы надвременной истории мировой литературы: к Паскалю, Гоголю, Жюлю Ренару, Ницше, японским «Запискам у изголовья», Монтеню и др.[9] Они пишут, что Розанов на протяжении всей жизни с большим пиететом относился к Б. Паскалю: его «Мысли», как справедливо отмечает А.Н. Николюкин, послужили прообразом излюбленного розановского жанра «опавших листьев». В 1899 году в рецензии на перевод книги Паскаля, выполненный его коллегой по Елецкой гимназии П.Д. Первовым, Розанов писал, словно предсказывая своё будущее: «…он на клоках бумаги записывал “pensées”, т.е. разные приходившие ему в голову мысли. (…) когда он умер, умер всего только молодым человеком, друзья, вошедшие в его комнату-келью, нашли эти листки. Собранные, просто сшитые без всякого порядка, они и составили труд Паскаля…».[10] Опираясь на философские пристрастия и свидетельства самого Розанова, исследователи распространяют их на выбор жанра, хотя даже внешнее сличение соответствующих форм у Розанова и Паскаля показывает их решительную разницу: если Розанов

8 Наблюдения над жанром публичного «дневника» или «заметок» в русской литературе: *М. Колеров*. Заметки по археологии русской мысли: Булгаков, Новгородцев, Розанов // Логос. М., 2001. № 4 (30). С. 179–182.

9 *В.А. Фатеев*. В.В. Розанов. Жизнь, творчество, личность. Л., 1991; *В.А. Фатеев*. Жизнеописание Василия Розанова. СПб., 2013; *С.Р. Федякин*. Художественная проза Василия Розанова. Жанровые особенности. М., 2014. С. 34–45.

10 Воспоминатели мгновений: Переписка и взаимные рецензии Василия Розанова и Петра Перцева. 1911–1916 / Изд. подг. А. Дмитриев и Д. Федоров. СПб., 2015. С. 325, прим 3.

любил Паскаля и ориентировался на его переживание личности перед Богом, если Розанов *искал* в наследии Паскаля особого опыта преодоления хаоса через описание его в жанре афоризмов вполне в духе Лабрюйера и Ларошфуко, то он, получается, должен был воспроизвести его жанр «Мыслей». Выбирая стержнем жанра мимесис, исследователи отказываются видеть исторический контекст и саму жизнь и ближайшую литературную среду Розанова. Ибо, как бы он ни искал себе предшественника в Паскале, Розанов не повторял *жанр* Паскаля. Он *вменял* ему свою оптику, которой в «первоисточнике» нет.

Наиболее оригинальной частью жанра «листьев», неведомой, кстати, Паскалю, поначалу казались нечастые, но внятные указания Розанова на квазиобстоятельства высказывания — обстоятельства придумывания-записывания внутреннего голоса, контрастирующие своей обыденностью или, наоборот, звучащие в унисон с этим голосом, демонстрирующие предельную, даже бытовую обнажённость очередного лирического героя Розанова или *ещё-одного самого-Розанова*. Вот наугад несколько таких с первых же страниц «Опавших листьев».

> Да, «смерть» одолевает даже математику. «Дважды два — *ноль*».
> *(смотря на небо в саду).*
>
> Эгоизм — не худ; это — кристалл (…).
> *(за корректурой).*
>
> — Как природа невинна. И как поэтому благородна…
> *(лет восемь назад в саду).*

Первоначально вполне сдержанные квазиобстоятельства *(смотря на небо в саду)* вскоре срываются в своём внутреннем диалоге с высказыванием в особый микропамфлет: *(за набивкой табаку)*. Вот, например:

> И республики затевают только люди «в своем тепле» (декабристы, Герцен, Огарев). *(за набивкой табаку).*

Но квазиобстоятельства в самой современности Розанова вовсе не были его изобретением. Они лишь претворяли в авторский стиль широко известную, хотя, может быть, и не отрефлексированную эстетически, практику одного из самых знаменитых собраний «умных мыслей», в обыденной жизни читательской аудитории присутствовавших, несомненно, гораздо чаще и демократичнее, чем тексты Розанова. Нельзя и представить себе, что такой многодесятилетний труженик журналистской каторги, как Розанов, не знал этого

издания. Скорее, зная его массовое распространение, Розанов его и пародировал в своих ремарках. Речь идёт о собрании высказываний, изданном писателем Петром Кузьмичом Мартьяновым (1827–1899).[11] Вот в нём-то розановские ремарки и появляются массово и прямолинейно.

> Слава, слава! где ты, и на что теперь пригодилась мне?
> Граф М.И. Платов *(умирая)*...

> Прелюбодей мысли пьёт за здоровье софистов XIX века.
> В.Д. Спасович *(на адвокатском обеде)*...

> Просить богов о ниспослании милостей — и не брать их, когда они сами нам их предлагают, — было бы верхом глупости.
> Дионисий Сиракузский *(обирая драгоценности в храмах)*...

> Ещё Пётр Великий учил нас ездить, издавая строгие указы о держании правой стороны; но, видно, мы и до сих пор ничему не научились.
> Н.И. Костомаров *(разбитый наехавшим экипажем)*.

> И иной раз, на грани абсурда, они становятся ещё ближе к стилистике Розанова:

> Всё это было б очень хорошо, если б пиво не было так мерзко, и если б эти поганцы так не воняли.
> Лассаль *(на данном, в честь его, рабочими банкете)*...

> Много ли надо человеку?
> И.А. Крылов *(после превосходного обеда в Английском клубе)*[12]

Здесь же внимательный читатель находит и точный портрет исследуемого жанра, данный ему одним из его создателей в России, П.А. Вяземским: «Иной ум плотно переплетён в одну книгу: страницы в строгом порядке следуют одна за другой. Другие умы худо переплетены, сшиты на живую нитку, страницы перемешаны. Мой ум состоит из летучих листков».[13] Это не только генетически, но и психологически проливает некоторый свет на личность В.В. Розанова.

11 Умные речи, красные слова великих и невеликих людей. Собраны, записаны и изданы П.К. Мартьяновым. В двух частях [2 изд.: 1890]. М., 2007.

12 Там же. С. 75, 76, 149, 239, 263, 274, 435, 475, др.

13 Там же. С. 122.

С.Н. Булгаков. Кольцо Нибелунгов (Из размышлений о германизме) (1915)[1]

1

Когда борются враждующие рати, истребляя друг друга огнем, газом, металлом, то может казаться, что решающее значение в борьбе имеют именно эти материальные преимущества. Но материальной оболочкой прикрываются духовные основы борьбы, и где-то в небесных высях, над полями сражений, идет иная борьба «ангелов-народов», которая становится иногда видной их духовному зрению — так древние германцы видели своих Валкирий, сражающихся вместе с войском. В великой борьбе из-за обладания «Европой» и миром сталкиваются не политические державы только, но и враждебные духовные силы, прорвавшиеся чрез сдерживавшую их оболочку. И кому могло сниться год полтора назад, что «старая Европа», чинная и успокоенная, вошедшая в свои берега, станет свидетельницей этого кипения, в котором смешались люди и демоны, да и кто теперь помнит ее, эту, действительно, старую, т.е. прошлогоднюю Европу!

Огромными полчищами двинулись германцы сначала в Галицию, а затем и в Польшу и Россию, огнем тысячных жерл, миллионами снарядов сметая все на пути, — многоликое и безликое чудовище, машина из человеческих тел, Левиафан из спаявшихся человеческих воль и исступления. Шли на «прорыв» и штурм в каком-то экстазе смерти, сея вокруг себя смерть, пьяные и опьяненные кровью, изрыгающие песни или проклятия, шли по трупам, из тел делая себе мосты и траншеи, шли, шли… А пушечные жерла приготовляли им путь, дождем снарядов засыпая русские рати. Эта грандиозная картина, одновременно и гнусная, и гипнотизирующая, способна вселять ужас за судьбы всего

1 Биржевые Ведомости. СПб. № 239. 2 изд. 1 сентября 1915 года. С. 5.

мира, которые вверены в мозолистые руки медленно, с боем отступающего русского воинства, и повелительно заставляет вслушиваться в те голоса, которые вещают в громах бога войны. Все яснее становится, что бесповоротно сгорает «новая», капиталистическая Европа, и чем выше поднимаются языки пламени, лижущего Валгаллу, тем неумолимее звучит этот приговор о «гибели» новоевропейских богов. То, что уцелеет или возродится из пепла погребального костра, будет столь же мало походить на Европу вчерашнего дня, как мало уже походит лицо Европы теперешнее на прошлогоднее. Германия, выразившая собой с наибольшей энергией новоевропейскую цивилизацию, подняла свой меч с немым приговором: finis Europae, конец новоевропейской эпохи!..

Ведь так недавно ещё казалось, что «немец» есть, прежде всего, буржуа и филистер, расчетливый скопидом и первоклассный техник, искусство которого связано не только с дисциплиной труда, но и с ограниченностью. Этот поверхностный слой легче всего поддается наблюдению. Однако глубже его лежит более существенный и крепкий слой, обнажающийся в религиозно-философском самосознании германства: его можно определить как инстинктивное стремление германского духа стряхнуть с себя чуждое ему бремя христианства путем всеобщей «секуляризации» жизни и ее германизма, чтобы перейти потом к открытому и сознательному его отвержению. Если в начале этого пути стоит арианствующий протестантизм с германской мистикой, в средине его — философия Канта, находящая завершение одной стороной в классическом идеализме, а другой — в новейшем кантианстве, то в конце его находится уже боевое антихристианство Штрауса и Фейербаха, Штирнера и Ницше, завершающееся попытками «монистов» создать новую религию социально-германской расы.

2

В этом стремлении даже и в религии установить made in Germany явно обнаруживается человекобожие и титанический мятеж, который постепенно назревал в недрах германского духа и вспыхнул в теперешнем исступлении гордости, зажегшем мировую войну. Наконец, еще глубже, под защитною окраской протестантизма и философского идеализма, лежит последний и самый мощный пласт, который естественно обнажается последним. Это — дохристианская и внехристианская стихия германства, которая осознала себя в германской религии и мифологии и запечатлелась в творческом сознании германского гения Р. Вагнера, как миф о «Кольце Нибелунгов». Это германство

уже не нуждается в философских и исторических предлогах для отвержения христианства и в пиетистическом соусе для хищнических аппетитов. Свое верное выражение оно имеет в духе германского милитаризма, той подлинной воинственности, которая не есть только внешней необходимостью вызванное свойство, но выражает именно исконную стихию германства, furor teutonicus, волю к мощи и власти, жажду завоевания и поглощения, расовый вампиризм, кичащийся своими поглотительными способностями.* И если древнему Аттиле с его полчищами дано было явиться бичом гнева Божия, то такое же значение имеют теперь его потомки для новой Европы. И новейшая «Kultur» Германии стала средством для утоления этой изначальной жажды.

Поэтому германский империализм в своем усилении угрожает решительно всем и каждому, — с ним не может быть ни примирения, ни компромисса... Он должен быть раздавлен, или же мир задохнется в «культурной» паутине и стальных объятиях пангерманизма. То, что для других народов, в частности и для русских, является или вынужденной мерой самообороны или же уклоном, грехом, нарушением высшей правды, здесь сознается, как норма, и направляет упругую, цепкую волю: хотеть всемирного господства, жить, не давая жить другим, стереть индивидуальность народов и весь мир накрыть прусскою каской. Есть существенная разница между германской опасностью и даже татарским или турецким игом, которое оставалось внешним, оставляя не нарушенной внутреннюю жизнь: если турки и татары знают гяуров или райю, «неверных», то нечестивое и гнусное понятие «Düngervolk» есть германское изобретение. Иного духа был и римский империализм, который как-будто более всего напрашивается на сопоставление с пангерманизмом: Рим стремился к единой мировой империи, pax Romana, объединяющей человечество под куполом римской государственности на основе священной идеи права. Его правилом было собирание народов в государстве, пантеоне народов (которому соответствовал и пантеон собираемых богов), но не биологический, расовый империализм, считающий все народы «minderwertig», этнографическим материалом, предназначенным для растворения и ассимиляции. Новейший ренессанс язычества теперь пробуждает в Германии те лютость, коварство и хищность, которые отличали ее мифических героев.

Конечно, необходимо отличать то духовное цветение германского гения, которое имеем мы в величайших его творениях и прежде всего в музыке и поэзии, философском и научном подвиге труда, от новейшей «Kultur», свое последнее слово сказавшей в удушающих газах. Первое независимо от этого

* Эта черта ярко и талантливо, но в ином освещении, отмечена в замечательных лекциях покойного проф. *Крэмба*: Россия и Англия (Москва, 1915), читанных еще за год до начала войны.

вампиризма, не имеет никакого отношения к расовому империализму, воле к власти и поглощению, царству от мира сего, к тому, чем дышит современная Германия. Для чистого сердцем Зигфрида, исполненного сочувствием ко всему живущему, кроме носителей зла, карлика Миме и дракона Фафнера, культура есть самоцель, а не средство к власти, каким она становится у потомков Нибелунгов, овладевших проклятым кольцом из «Золота Рейна». И эта Германия Нибелунгов есть своеобразный исторический атавизм, ожившее язычество, а в германской фаланге невольно видится окруженное роями Валкирий воинство Одина.

3

Согласно вагнеровской трилогии, судьба богов и людей зависит от обладания похищенным «золотом Рейна», — магия и волшебство в мифологическом сознании германства дают и власть, и победу; однако проклятое золото, в конце концов, губит тех, кто его власти отдался, как гибнет и сам светлый Зигфрид, вовремя не освободившийся от рокового кольца. Магизм дает силу, которая не стоит в соответствии с духовной мощью человека, но приобщается внешним обладанием, выучкой, тренировкой, дисциплиной. Новая Германия овладела золотом Рейна, и оно сообщило ей свою магическую силу, однако оно же медленно, но верно ведет ее к гибели, делая ненавистными всему миру обладателей кольца Нибелунгов. Германия сильна и побеждает прежде всего своей *техникой*, к которой все более и более сводится в существе своем новейшая ее «культура», но эта мощь, созданная капитализмом, который сумел пустить в оборот и приумножить золото Рейна, куплена дорогою ценой, — господством вещей над человеком. Магия техники, отдаваясь в распоряжение человека, требует в свою очередь, чтобы и он отдался её власти. Душа же техники, а вместе и самая основа германского могущества, есть *система*, — система в науке и жизни, в атаке и жестокости, в шпионаже и пытке, отравлении и истреблении. Система содержит в себе нечто магическое, чуждое живому, органическому, она абстрактна и бездушна. Она дает мощь, но для этого ее нужно сделать своим собственным существом раствориться в ней подписать кровью договор с Мефистофелем.

Техника и система, овладевшая человеческим духом, неизбежно превращаются уже в черную магию, волшебство, становятся орудием зла. И до известной степени такой характер присущ всему европейскому капитализму с его индивидуализмом, магией городской жизни, фабричных центров, где люди утрачивают чувство вселенской связи и делаются жертвой искусствен-

ных, механических, «классовых» группировок. Нельзя отрицать, что чары золота Рейна распространяются далеко за Рейн и окутывают своим туманом головы не только имущих, но и неимущих «пролетариев». Однако Германия отдалась этим чарам с наибольшей цельностью, и в этом источник ее мощи, но лучшим естеством своим она и теперь, конечно, задыхается от магических чар и ждет освобождения своего солнечного героя Зигфрида из нового плена у Миме.

4

Полчищам Нибелунгов противостоят наши русские рати: не из той воинственности, которая присуща германству, проистекает доблесть русского воина, но из готовности его на жертву, смирение и великодушное послушание. Мы страдаем теперь от недостатка снаряжения и силимся его наверстать. При этом естественно общественная совесть ищет и находит виноватых в нашей беде, но при подавленности и растерянности легко теряет историческую перспективу, забывает всю ту непреложную разницу, которая имеет основу во всем историческом бытии России и Германии и проявляется в степени их индустриализации (ведь даже и более близкие и сродные Германии страны Англия и Франция оказались слабы перед ней по технической подготовке). Дело в том, что если теперь мы и будем делать крайние усилия, чтобы оборониться от Германии не только живою силой, но и техникой, однако мы вообще в нашей жизни в этом отношении не можем сравниться с немцами, даже более того, этого *захотеть*. Ведь для того, чтобы стать третьеразрядными немцами, нам следовало бы отречься от своего духовного естества, проглотив волшебный аршин магической системы. Это значило бы духовно умереть, отравившись наиболее удушающим газом из выдуманных немцами; сравнявшись с ними в *этом* отношении, мы потеряли бы духовную почву для борьбы с ними и источник нашей силы. Ибо, как живые, свободные духом люди, рассыпным строем боремся мы с этими человеческими машинами-«фалангами». И если мы непреложно веруем в победу, то вера эта основана не на том, что мы надеемся сравниться с немецкой техникой, но на уверенности, что исход мировой войны не может быть решен силами черной магии.

Война эта имеет для нас совершенно иное содержание, чем для немцев. Нам чужды завоевательные их стремления и воинственность, мы приняли войну как необходимость, и поэтому нападающий неизбежно должен иметь сначала успех, и так бывало, кажется, в большинстве наших войн. Нам свойственна не агрессивная воля к власти, а скорее некоторая застенчивость в отношении

к своей государственной силе и народному величию, скорее мы как-будто извиняемся, а не упиваемся этим. Просто так *вышло*, что *дана* нам могучая государственность, что нас так много и нам принадлежит всемирно-историческая роль, помимо наших заслуг и желаний. Так поднявшийся на ноги Илья Муромец, несколько для себя неожиданно, но без сладострастия власти, ощутил свою силу, как наследный принц, никогда не добивавшийся своего положения, не знает, что значит его не иметь. Свою государственность мы ощущаем скорее как историческое послушание или ответственное наследство, почти как бремя и уж, во всяком случае, всегда подстерегающий соблазн. Поэтому, имея imperium, в народном сознании мы лишены *духа* империализма, вкуса к нему, как и имея естественные богатства и промышленность, все еще лишены *духа* системы и техники. Эти качества наш враг, а вместе с ним и многие из нас считают *только* слабостью и некультурностью, но хочется верить, что они связаны с духовной природой нашей, с некоторой ее неотмирностью. И спасут Россию, дадут победу и на поле брани, в конце концов, все-таки не техника и снаряжения, как ни нужны они, но свет и святыня души народной, «святая Русь», на нее упование и вера наша. Новыми и новыми грехами, взрывами звериности мрачится наша родина, но пусть не угаснет этот свет, который должен, хотя робко, теплиться в сердце у каждого. Будем верить, что не дано подземным гномам до конца овладеть Божиею землею.

Недругам: письма В.В. Розанова к Н.К. Михайловскому и П.Б. Струве (1892/1917)

Н.К. Михайловскому

[Белый, 1892]

1

Милостивый Государь!

Прочел я Вашу статью в «Рус<ской> М<ысли>» (мар<т>), кое-что о Владимирове и Куликовском, Мечникове и др.,[1] и вздумалось мне исполнить свое давнее намерение — написать Вам, познакомиться с Вами лично. По убеждениям — мы с Вами враги, но я не понимаю, почему бы не могли быть далеко не врагами лично: и иногда могли бы дружески обсуждать кое-какие темы: впрочем, это не необходимо и для меня не первое; я просто потерял друга, недавно умершего К. Н. Леонтьева, человека, которого не видал я никогда, но успел полюбить его за его чрезвычайное чистосердечие в 2–3 месяца своего знакомства с ним (перед его смертью и только письмами)[2]: в том медвежьем углу, в коем я живу (кажется, впрочем, мне и СПб. показался бы медвежьим углом), мне просто стало скучно,

1 Имеется в виду обзор Н.К. Михайловского (1842–1904) «Литература и жизнь» (Русская Мысль. 1892. № 3. II о. С. 201–227), в которой шла речь о сочинениях И.И. Мечникова (1845–1916) «Воспитание с антропологической точки зрения», «Возраст вступления в брак» и «Очерк воззрений на человеческую природу», а также публикациях профессоров Харьковского университета Д.Н. Овсянико-Куликовского (1853–1920) и Л.Е. Владимирова (1845–1917) в «Харьковских Губернских Ведомостях» от 6 и 19 февраля 1892 года, обсуждавших проблемы научной выработки идеалов и влияния научного развития на нравственный прогресс.

2 Письма К.Н. Леонтьева (1831–1891) к Розанову были опубликованы и откомментированы их адресатом в журнале «Русский Вестник» (1903. №№ 4–6).

слишком томительно, и вот я остановился на Вас, с которым хоть и ругатнёй, но от всей души и без задней мысли мы могли бы перебросится.

Так как личного более писать нечего, то буду говорить об идейном, на чем мы расходимся; для Вас: 1) благо личности и совокупности их, народа, primum; для меня — это основное, ненарушимое, что не может быть чему-либо пожертвовано, хоть и не непременно primum: но это равно по значительности всему, что где бы и [для] кого ни стояло как primum. Здесь разногласия никакого нет. Но вот, далее, все идет в диаметрально противоположные стороны.

2) Вы — атеист;

я — человек религиозный.

Для Вас внутренний религиозно-нравственный путь есть secundum, и не только secundum — но исчезающее secundum, что проходит в истории и прохождению чего мы должны помогать.

Передать Вам мои религиозные понятия я не сумею: убеждения не только растут из мозга, но из натуры и из жизни. Но всмотритесь в свою речь, и Вы убедитесь, что по крайней мере о религии нужно молчать: возьмите староверов; я сам живал в их деревнях, *они матерьяльного нищенства не знают*. Знаете, пауперизм невозможен в религиозной среде. И в самом деле, подумайте: твёрдый внутренней верой индивидуум; крепкая, строгая семья; ни тени шалостей на порядок, ни зародышей алкоголизма, — и неужели такая семья не справится со всякою нуждой, со всякими обстоятельствами: да ведь раскольников у нас преследовали, о них никто не пёкся, на них подати были двойные — и они были зажиточны; тоже татары в Симбирской и смежных губерниях.

Итак, неужели Вы Бога до того ненавидите, чтобы ради того, чтобы от него вырвать людей — готовы ввергнуть их в нищенство, в разврат, алкоголизм? Ради Бога, ответьте мне правду.

Вы скажете: школы заменят религию. Знаете, когда я был гимназистом, на моих руках умер доктор Троицкий от алкоголизма, добрый, умный, окруженный любящей семьей (мать, 2 сестры, брат): он поступил в 16–17 лет в Казанский Университет, и студенты *заставили* его пить просто ради ухарства, чтобы не был «красной девушкой», — он не имел сил удержаться от случайного порока[3]: неужели же когда-нибудь для всего народа будет образование лучше, нежели чем для него был Казанский Университет? Итак, кто же спасёт народ, какая строгая охрана?

3 Дмитрий Степанович Троицкий (ум. 1873) — шурин брата Розанова, Николая Васильевича. В «Опавших листьях» (Короб второй) Розанов вспоминал: «…это случилось в четвертом классе гимназии: умер Дмитрий Степанов Троицкий, нижегородский врач “для сапожников” (лечил одну бедноту), образованный человек и странным образом — мой друг, говоривший со мною о Локке, Маколее, английской революции и проч. и вместе страдавший (форменная болезнь) запоем».

Я встал на Вашу точку зрения, хотя для меня религия имеет сама по себе значение, значение для моего сердца и ума. Но рассуждать с моих точек зрения я не хочу Вас вызвать; я хочу, чтобы Вы обдумали все, что открывается с Ваших точек.

Проповедовать Бога — Вы, конечно, не можете и не должны, раз его нет в Вас; но удержаться от отрицания должны.

Может быть, найдете «время и место» ответить мне. Ваш В. Розанов.

[Адрес: в г. Белый, Смоленской губ., в Прогимназию, Василью Васильевичу Розанову.]

Я перечитал письмо и опять взволновался: Вы чистосердечный человек, это я вижу, этому верю по Вашим сочинениям; но Ваша деятельность именно в указанных мною пунктах — убийственна: все равно что вынимаете из организма человеческого нервную систему: мозг головной и спинной и все «белые мотающиеся ниточки», думая заместить это медными проволоками, «более осязательными и прочными».

Но ради Бога — не обходите моих вопросов даже невольно, по «литературным навыкам» «отвлекаться в сторону».

2

Я, когда писал Вам, не дочитал Вашей статьи, и только сейчас прочел собственно о замысле Мечникова. Честь Вам и слава за отпор ему и весь идеал *полной жизни* (стр. 223–24). Мы бы с Вами сошлись, я думаю, почти сходимся: *не можете* Вы — Бога ненавидеть и религиозного чувства в людях: Вы лишь этого не разделяете очевидно, не понимаете, не вмещаете его в себя. Но, знаете, есть профессии, кои безусловно ему предшествуют: ежедневная занятость, внимание ума и сердца. *Журналист* почти должен быть атеистом, не может вместить Бога, который не *это* и не *то*, но *во всем* и ото всего в то же время отделён (это может быть притяжение [во всех вещах есть, но не есть из притягивающихся вещей][4]).

Мы с Вами чуть-чуть знакомы: поругались — я в Моск<овских> Вед<омостях>, Вы в Русск<их> Вед<омостях>, — но Вашу статью я прочел месяца 2 спустя после того, как она была написана.

Вот Вам Мечников всё-таки нравится: а я бы его негодяя повесил, *за одно литературное его предложение*. Страшная это вещь — уклон мысли: ведь это

4 Зачёркнуто.

всё — в путях истории, ведь это всё — симптом. Нет, лучше иметь над собою безграмотного Аракчеева, чем просвещённых Ренана и Мечникова: от первого я душу свою схороню, и хоть надаёт мне зуботычин, оборвёт ухо в строю — но потом я помолюсь Богу, выплачу горе и утешусь. Но что я сделаю с умным Ренаном и Мечниковым, с убеждёнными людьми, которые видят мою душу, как и я их: они учёнее меня, вот они подходят ко мне с ножницами и убеждённо, тускло смотря своими свинцовыми глазами, совершают операцию, делая из меня скопца. — Это ужасно. И вот возможность идей, подобных <идеям> Ренана и Мечникова, делает меня скептиком насчёт науки и прогресса: нет уж, я лучше к старухам безграмотным пойду, которые меня накормят, согреют, хотя подчас и насмешат. Эх, Н.К., *многого Вы не приняли в расчёт*.

Настоящая Ваша статья превосходна: без каких-либо неправильностей, уклонений в опасности, коих Вы не предвидите. Это — чистая правда; защита — чисто лучшего; ограничение (науки) — правильное и в меру сделанное. С одной стороной лишь я не согласен — что счастье есть *общая* цель жизни: тогда ведь (это хоть и далёкий вывод, но верный) цель оправдывает средства. Зачем Вам *единство* цели: их много у человека, и они коренным образом разнородны (это не значит — противоположны) и *равноценны*. Человек полиморфен, а не унитарен, — вот Вам корень моей философии.

Я уезжаю на днях в город *Елец Орловск. Губ., против церкви Вознесения,* д<ом> Рудневой, — это на случай Вашего ответа к В.В. Розанову.

П.Б. Струве

[Петроград, весна 1917]

Петр Бернгардович!

Душа так потрясена совершившимся; так полна испуга за Россию и за все, *чем она жила до сих пор*, что отходит в сторону все личное, все памятки и «зазнобки души» перед великим, страшным и тоскливым. Потому — пишу. И хотелось безумно написать именно Вам около 5 марта. Бросим счеты личные и обратимся к России.

Недели 2 я считал Россию *зачеркнутой*. С Ярославом Мудрым, Владимиром Мономахом, князьями Черниговскими. Тут дело не в революции и не в низложении *этого лично Государя*, а в том, что́ бурно и безумно рвется прийти на смену «бывшему»: весь этот низкий, грубый, деревянный социализм на место живых тканей организма, пусть порочных, пусть ужасных — и все-таки *живых*. «Живая» даже «гниль» казалась мне лучше механики. Итак — погибло. Я ставил точку и клялся только ненавидеть и проклинать.

Может быть оттого, что я так сильно это чувствовал, недели через 2 у меня возникла реакция. И я почти сказал: «Очень рад!» «*Теперь*-то все и пойдет хорошо». «*Только* теперь мы утрем нос социалистам, п<отому> ч<то> уже никто не будет нас подозревать, что мы «служим правительству». Ну и т.д. Мне показалась именно революция пунктом начала настоящей здоровой, а главное — сильной и побеждающей борьбы с революцией как «распадом». Просто, меня как осенило.

О всем этом я написал статью: «Истление царства (В утешение русским)». Но — не переписал. Не надеясь, *где* поместить. Если бы Вы согласились поместить в «Русской Мысли», я бы переписал и прислал Вам. Она стран<иц> в 20.[5]

Теперь, когда я все сказал «дело», — немного поэзии. Дорогой друг: я так Вас люблю, давно, через год-два после полемики[6], — за все то прекрасное и доброе, что Вы делаете для России, за все Ваши слова начиная с «Против Германии» в июле 1914 года, за все «мелочи», где виден непрерывный добрый глас, устремленный на Россию. *Если бы* были русские люди таковы!.. Но в русских (много лет) я вижу только ненавистное России, только презрение и отвращение к ней: и это такое отвратительное *барство*, хуже коего не было и крепостное право. И революция — в одной 1/2 прекрасна: но в другой это есть отвратительный хлыст барина, бьющий по лицу свою «темную, порочную и невежественную мать», и это такое зрелище, хуже коего нет и не было во всемирной истории. — — — У нас — не всегда было *служение* России, самое любящее, почти покорное, с сознанием всего «убийственного» в ней, которое, конечно, есть и без чего, конечно, «верхи» ее общественные не были бы такими на самом деле почти «подонками».

Ужасно.

Мыслей много. — — Мне захотелось кое-что сказать. Статья написана мягко. Самое ее не «преступное» — некоторое сожаление к Государю, который был все-таки «наш Царь».

Ну, «да» или «нет» (я не обижусь на «нет») — Господь да хранит Вас лично.

В. Розанов

5 Эта статья в журнале «Русская Мысль» не появилась.

6 Имеется в виду статья Струве «В. В. Розанов, большой писатель с органическим пороком» (Русская Мысль. 1910. № 2) по поводу его книги «Когда начальство ушло» (СПб., 1910) и ответ на нее Розанова в «Новом Времени» от 25, 28 ноября и 9 декабря 1910 и 12 января 1911 года, частично перепечатанный Е.В. Барабановым в примечаниях к изданию: *В.В. Розанов*. [Соч. в 2 т.] Т. 1. Уединенное. С. 669–672.

Русский Коген: некрологи 1918 года

Русская либеральная и социалистическая пресса на территории РСФСР, контролировавшейся советской властью, пока советская власть оставалась коалиционной, уже тогда могла называться *подсоветской*, но была в целом свободна. Повременная печать вплоть до 7 июля 1918 года успешно приноравливалась к новой власти, когда надо — меняя названия, но сохраняя преемственность оформления, вёрстки и политической линии. Но 6 июля 1918 года левые социалисты-революционеры — участники советской коалиции, младшие партнёры большевиков — подняли восстание, требуя революционного разрыва Брест-Литовского мира с Германией и её союзниками. Восстание было подавлено, но его день стал последним днём свободной политической периодики в Советской России.

Брест-Литовский мир, несомненно, делал РСФСР внешнеполитическим и внешнеэкономическим протекторатом Германии. Несмотря на мир, в марте, апреле, мае 1918 года Германия продолжала двигать свои войска на восток, занимая всё новые территории. Но формальный мир неформально открывал и новые, немыслимые прежде для России как для участника Первой мировой войны, более быстрые информационные коммуникации с Германией и Австро-Венгрией. Вовсе не порывая связей с дипломатическими и культурными представительствами воюющих противников Германии и её союзников, Великобританией, Францией, Италией в РСФСР, подсоветская печать начала более внимательно следить за культурными событиями немецкой жизни. Такой новостью стала смерть в Берлине Германа Когена (1842 — 4 апреля 1918).

Автор микронекролога Когену и яркий автор русской печати весны 1918 года, скрывшийся под криптонимом *Вс. Р.*, судя по его текстам, был образованным историком философии, с острым интересом следившим за развитием и русской философии в её ярких образцах академического, университетского и политического, общественно активного идеализма. Его заметку опубликовал социал-демократический, но антибольшевистский еженедельник «Понедельник», который редактировали Е.Д. Кускова и М.А. Осоргин. Среди авторов этого политического и литературного издания были заметны, кроме его редакторов, историк литературы Ю. Никольский, П. Муратов, И. Эренбург, С. Дурылин, А. Сидоров, Ю. Балтрушайтис, В. Ходасевич, М. Цетлин (Амари), Б. Зайцев, М. Цветаева, М. Поливанов, Б. Грифцов, А. Дживелегов, Н. Тарабукин, Я. Тугендхолд, С. Карцевский, В. Тотомианц, П. Кропоткин. Еженедельник демонстративно издал целый ряд тематических выпусков в сотрудничестве с соответствующими культурными учреждениями иностранных государств: о культуре Англии, о культуре Франции, о культуре Италии.

Вс. Р., несмотря на явленные им западные интересы, вынашивал идею русской национальной философской традиции как части западной, но оригинальной. Он писал, намекая, что марксистская власть в России — власть продолжателей немецкой классической философии, ибо таковы марксисты (как о том говорили в известных своих формулах Ф. Энгельс, а также в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона П. Струве и вслед за ним В. Ленин): «… нам, отравленным немецкой философией, так полезно и отрадно, как древнему Антею, прикоснуться к "земной пыли", чтобы освеженными и исцеленными выйти из тупика, в который завела нас российская безудержность в союзе с германской философией».[1] Фактически повторяя классическую дихотомию Н. Михайловского и следующий ей ход мысли известной статьи Н. Бердяева в сборнике «Вехи», *Вс. Р.* формулирует в духе актуальной политической оппозиции: «погоня за правдой-справедливостью заставила забывать о правде-истине». И критически развивает бердяевский перечень философских мод, доводя его до времени революции, как её внутренний стержень: «Мы всегда поклонялись Западу. Десьянс Академии, через кружок Станкевича, до ницшеанских, марксистских, неокантианских кружков недавнего прошлого западниками были мы, с готовностью ловя всякую иноземную новинку, лишь бы она была прогрессивна и до пределов заостряла проблему! Эта жажда остроты и боязнь отстать от века заставляла нас метаться от экономического материализма к ницшеанству, от предельной отвлеченности и рационалистич-

1 *Вс. Р.* Об английской философии // Понедельник. № 18. М., 1 июля (18 июня) 1918 года. С. 4.

ности марбургской философии к прагматизму. Властителями дум наших по очереди были: Спенсер, Маркс, Ницше, Авенариус, Коген, Бергсон, теперь Гуссерль и Штейнер».[2]

Издание, в котором был напечатан отклик известного психолога и философа Моисея Матвеевича Рубинштейна (1878–1953), — право-социалистическое и вполне антибольшевистское и антисоветское, «Неделя "Народного Слова"». В его титуле (одном из титулов, ибо издание не раз меняло своё название) было дано разъяснение: «Еженедельник политики, литературы и общественности. Издаётся при ближайшем участии С.П. Мельгунова, В.А. Мякотина, А.Б. Петрищева и А.В. Пешехонова». Редактором-издателем еженедельника, напечатанного также в известной партийной типографии товарищества «Задруга», был указан Литературно-издательский комитет Трудовой Народно-Социалистической партии. Сообразно такой фиксированной партийности, еженедельник был почти полностью посвящён политической практике и теории, среди коих философский некролог Когену выделяется своей тематической нехарактерностью.

Тексты некрологов выявлены впервые и ныне существуют в изданиях, по своему физическому состоянию находящихся на грани доступности и сохранности, поэтому здесь они приводятся полностью как наиболее ценные философские тексты названных еженедельников. Орфография и стилистика текстов сохранены в их оригинальном виде (например, согласно типографской практике того времени, полностью отсутствует буква «ё» и т.д.).

2 *Вс. Р.* Судьбы русской философии // Понедельник. № 16. М., 17 (14) июня 1918 года. С. 3. См. также о чтении С.Н. Булгаковым своих диалогов в Религиозно-философском собрании: *Вс. Р.* «На пиру богов» // Понедельник. № 17. Москва, 24 (11) июня 1918 года. С. 4. Ср.: *И. Жилкин.* На пиру богов // Наше Слово [Русские Ведомости]. М. № 48. 19 (6) июня 1918 года. С. 1.

Приложение

1

Вс. Р. Герман Коген[3]

Только что сошедший в могилу марбургский философ Коген был властителем душ значительной части нашей молодежи. Это не должно удивлять, ибо разочарование наше в позитивизме и недоверие к метафизике неизбежно должно было привести «обратно к Канту», а Коген был, несомненно, самым значительным из неокантианцев. Его «Кантова теория опыта», «Кантово обоснование этики» и «Кантово обоснование эстетики» были весьма своеобразной попыткой «филологически точно» восстановить философию Канта, устранив ее «мнимые» противоречия (особенно «вещь в себе»).

Но Коген был слишком самостоятельным и крупным мыслителем, чтобы остаться только интерпретатором Канта. Видя сущность критицизма в трансцендентальном методе, он не побоялся открытого разрыва с традиционным кантианством, а стремясь к «систематическому единству знания», он создал свою знаменитую «Систему философии», три тома которой должны были заменить для марбургской школы три критики Канта. У нас в России особенно ценили его теоретическую философию, его «Логику чистого познания», и немало нашей молодежи перебывало перед войной в тихом немецком городке, где так долго жил и учил покойный мыслитель.

2

М.М. Рубинштейн. Герман Коген (1842–1918)[4]

В урагане современных катастрофических событий уходят со сцены один за другим крупные европейские мыслители. Ушел Виндельбанд, погиб Ласк. Теперь пришла весть о смерти Германа Когена. В другое время кончина этого философа произвела бы большое впечатление на круг лиц, интересующихся философией, а теперь для многих и многих смерть этого значительного человека прошла в атмосфере крайне притупленных восприятий. Целый ряд

3 Понедельник. № 7. М. 2 (15) апреля 1918 года. С. 4.

4 Неделя «Народного Слова». № 3. М. 29 апреля 1918 года. С. 7–8.

видных наших молодых ученых прошел через его школу, вступил в нашу литературу под знаменем кантианства, и еще не так давно вокруг имени Германа Когена не только в Германии, но и у нас в философских кругах кипел горячий, горячий, глубоко волновавший спор. Он был, без сомнения, не только прекрасным учителем, умевшим завоевывать учеников, но и увлекательным проповедником своих идей, создавшим у некоторых особенно податливых натур настоящее поклонение себе в духе старого учительства. Естественно, что и борьба с ним часто шла в разгоряченно подчеркнутой форме, далеко не всегда оправдывавшейся существом дела. Эта борьба не угасла и до сих пор, и можно надеяться, что смерть немецкого ученого, — еврея по происхождению, дорожившего своей принадлежностью к еврейству, — поведет к более справедливой переоценке как его заслуг, так и его недостатков. Надо думать, что последние годы жизни Когена прошли в нелегкой атмосфере не только потому, что культура, которую высоко ценил этот философ, явила так много отрицательных сторон, но особенно потому, что он должен был пережить, как он сам с глубокой горечью отметил это на банкете в честь его во время посещения Москвы, тяжелую и идейную неудачу и обиду: его не только лишили традиционного в Германии права видеть на своем месте в качестве наследника кафедры своего ученика или последователя, но даже заместили его кафедру представителем не чисто философского направления.

Философское значение Когена определяется его отношением к Канту. Когда в философии, изжившей пору материализма и позитивизма, раздался клич «назад к Канту» и родилось неокантианское движение, Герман Коген выступил одним из наиболее видных представителей этого течения, создав в этом русле свою собственную школу несколько своеобразным истолкованием Канта и своими выводами. Если у Канта для многих оставалось ещё довольно широкая возможность расслышать более или менее отдаленные отголоски метафизики, с точки зрения Когена все такие элементы оказались «разъясненными» и Кант предстал перед читателем в роли резко отлитого врага самой идеи метафизики и трансцендентизма. Продолжая дело Канта в своём истолковании, Коген отбросил всякие помыслы о какой бы то ни было данности и пошел по пути широкого использования той мысли Канта, которую он выразил в знаменитом изречении, приписывавшем рассудку роль законодателя природы. У Канта это законодательское достоинство основывалось только на том, что рассудок несет форму, но материя дана. Коген решительно провозгласил суверенность мысли, — он именно в ней нашел подлинное первоначало всякого познания: она — чистая теоретическая мысль, чистое познание — не только укладывает свой предмет в познавательную форму, но она сама и создает его и создает притом именно через познание. Таким созидателем и яв-

ляется *научное* познание; те основоположения, которые вскрывает научная философия, и представляют собой настоящие основы реальности. Нетрудно понять, что отсюда открылись перспективы полного возвеличения науки, ее абсолютизации. Развивая по-своему Канта и «исправляя» его точку зрения, Коген с односторонностью, но и с большой философской последовательностью додумывает кантовский вопрос о возможности единства чувственности и рассудка: он уничтожает роль чистых форм созерцания и тут отдает пальму первенства рассудку, поглощая все категориальным мышлением. Чистая мысль есть начало и конец всего, — ничему другому в познании не может быть места, а иначе, как в познании, мы о событии судить не можем. Широко пользуясь помощью математических элементов, учением о бесконечно малых величинах, Коген в очень сложной, но и очень остроумной форме пытался устранить нужду в ощущении, как в основе суждения о реальности. Но мысль, не только формирующая, но и созидающая свой предмет, — эта мысль есть *научный* элемент, а это ее достоинство лучше всего выражается в идее *метода*. Так и создался для философии Когена эпитет панметодизма.

Вслед за крупным трудом Когена о «Теории опыта Канта», появились большие труды, посвященные «Чистой логике», «Этике чистой воли». Заключая свою мысль о мире в неразмыкающийся круг научного познания, Коген был убежден, что это дает вполне надежную основу для подлинной нравственности. Здесь впервые дается указание на иной мир, но это не мир бытия, а мир чистых значений, повелений. В сложном построении он показывает возможность учения о нравственности, которое, как и теоретическое знание, возникает на тех же основах синтетических суждений a priori; он показывает, как над всем этим царством нравственности сияет солнце свободы, но не как цель, а как направляющая идея, — характерная мысль в устах новокантианца. Так развертывается в мире опыта, единственной реальности, мир ценностей и значений, и питает мощную и благодатную веру в добро, которая завершается в вере в Бога. По следам своего учителя Ланге, Коген также был сторонником социализма; и он находил, что единственное свое правомерное обоснование социализм может найти только в этическом идеализме; по его убеждению, истинный социализм должен вершиной своей уходить в идею социализма и идею Бога. В этой своей идее он нашел живой отклик сочувствия в широких слоях не только философов, но и у экономистов, в то время как вульгарный социализм остался глух ко всем этим призывам идеалистического обоснования.

О Когене можно спорить, как и пишущий эти строки не принадлежит к числу друзей этой школы, но было бы несправедливо отрицать за ним важное назначение. В философской жизни последних десятилетий он играл боль-

шую роль. Благодаря более обостренному истолкованию Канта и некоторой резкости своей, новокантианской позиции — той непримиримости, которую особенно выявили его ученики, когенианство стало как бы символом новокантианства и сделалось мишенью особенно разгоряченных нападок. Со стороны противников, у нас — особенно у философов религиозно-философского толка. Во всяком случае в большинстве теоретико-познавательных трудов ему уделяют известное внимание, с ним считаются и его противники. Метод его, как и его теорию, пытались использовать и в смежных областях, например, в философии права. Бесспорно, что Когена проводят в могилу все, любящие философию, с искренним уважением к его памяти, как личности и как философа, а его «Теория опыта Канта» останется долго ещё необходимым советником при изучении сложной философии Канта.

«Смерть первая и воскресение первое»: Письма С.Н. Булгакова к В.В. Розанову и А.С. Глинке (Волжскому) (1917–1923)

«Смерть первая и воскресение первое»: Письма С.Н. Булгакова к В.В. Розанову и А.С. Глинке (Волжскому) (1917–1923)

В.В. Розанову

22.XII.1917.

Дорогой Василий Васильевич!

Благодарю Вас за «Апокалипсис»[1] и за письмецо. «Апок<алипсис>» я прочел раньше. Здесь «Розановские» — последние страницы 2-го, где с прежней свежестью красок и яркостью свидетельствуется Ваш собственный… мистический социализм.[2] Да, это несомненно так, Вы — мистический социалист и переводите на религиозный язык то, что они вопят по-волчьи. Это — новый вариант первого искушения, искушения социализмом,[3] и Вы снова приступаете к Тому, Кого Вы столь роковым образом *не* любите, с вопросом того, кто Его тогда искушал. Неужели же Вы сами этого не видите? или же видите, но таитесь? *Это именно* означает и Ваш новый поворот к еврейству «*и*» германству, — это не к Кабале, даже не к Талмуду и не к Ветхому Завету, но к Лассалю и Марксу, от коих отрекаетесь. Это — воистину так, с той, конечно, разницей,

1 *В.В. Розанов.* Апокалипсис нашего времени. Вып. 1–10. Сергиев Посад. 1917–1918. Согласно датировке В.Г. Сукача, к 22 декабря 1917 года вышли первые два выпуска, на которые мог отозваться Булгаков (см.: *В.Г. Сукач.* Комментарии // В.В. Розанов. О себе и жизни своей. М., 1990. С. 783–785; здесь же приводится отрывок из письма Булгакова).

2 См. главку «Апокалипсиса» «Последние времена»: «“Богочеловеческий процесс воплощения Христа” потрясается. Он потрясается в бурях, он потрясается в молниях… Он потрясается в “голодовках человечества”, которые настали, настают ныне… В вопияниях народных. “Мы вопияли Христу, и Он не помог”. “Он — немощен” (…) — Христос — мяса!».

3 Ср. о первом искушении Христа в пустыне — искушении хлебами (Мф. 4, 3–4).

что они оба — кроты и щенки по сравнению с Вами, — de rebus mysticis.[4] Это Вам с моей стороны в виде реванша за «позитивиста и профессора». Но Вы, конечно, правы, что между тоном и музыкой Апокалипсиса и всего Нового Завета, в частности Евангелиями, разница огромная, и, однако, и то, и другое об одном и об Одном, а Вам с Лассалем и Марксом, «немцами и евреями», не за что прицепиться к «Апокалипсису». Да, Христианство не удается в истории, да и самая история не удается, как не удается более всего и русская история, что не мешает быть русскому народу единственным по предназначению. Слишком Христианство трудно, аристократично, художественно по своим заданиям, довольно одной неверной черты, и все рушится. Но оно прожжет историю в какой-нибудь точке (да и постоянно ее жжет), и начнется — «Апокалипсис».

Насчет о. «Павла»[5] всему, Вами сказанному, говорю: аминь, и без конца мог бы прибавить, но думаю, что здесь более приличествует молчание — для меня. Радуюсь, что повидал Вас после нескольких лет, надеюсь, вскоре и еще увидимся. Живется трудно и тяжело. *Мы побеждены*, как бы ни сложилась наша судьба, которая не от нас зависит, и по заслугам. Исторически чувствуем себя на Страшном Суде раньше смерти, истлеваем заживо. И все-таки — все остается по-прежнему, русский народ должен быть народом-мессией, и к черту «немцев» и К°, да будут они ненавистны!

Привет семье Вашей. Жму руку.

С. Булгаков.

Посылаю, за неимением оттисков, номер журнала с некрологическими заметками.[6]

А.С. Глинке (Волжскому)

1

24.XII.1917. Москва.

Милый Александр Сергеевич!

Поздравляю Вас с великим праздником Рождества Христова, да светит нам свет его чрез облежащую тьму. Сегодня я испытываю этот благодатный свет и мир, п<отому> ч<то> приобщился св. Таин и укреплен Трапезой Господней. По-человечески же невеселое для меня Рождество. Должен был

4 «В мистических делах» (лат.).

5 Павел Александрович Флоренский (1882–1937).

6 *С. Булгаков*. Памяти В.Ф. Эрна // Христианская мысль. Киев, 1917. № 11–12.

ехать к своим, но не решаюсь подвергаться всем неверностям пути и переезда через несколько фронтов. Главное, вот уже две недели, как я отрезан от своих и не имею никаких вестей, как и они обо мне.[7] Но на все воля Божья, и слава Богу, что их нет со мною, на здешний холод и голод (лично я пока, впрочем, нисколько не голодаю). Я бесконечно виноват перед Вами своим молчанием, впрочем, извинительным. Эти месяцы пролетели для меня за соборной суетой.[8] Лично я, разумеется, был счастлив, что мог стоять при церковном деле, и это особенно спасало меня от убивающих впечатлений русской жизни. Но, должен сознаться, для «творчества» или просто для личной работы это — перерыв и некоторая отвычка, после которой необходимо умственно себя ремонтировать. Благодарение Богу, моя связь с церковным делом начинает упрочиваться: не знаю, хорошо ли это лично, — во всяком случае, это сложно, — но я избран в Высший Церковный Совет[9] и, значит, связан на 3 года с церковным правительством (кстати, это было бы лишним и уже решающим мотивом в пользу отклонения места в Учр<едительном> Собр<ании>,[10] если бы нужны были эти мотивы). Впечатлений от церковного общества за это время у меня накопилась масса: можно сказать, что я знаю более или менее епископат, а также и белое духовенство, притом все-таки скорее [нрзб.]. Люблю их, только здесь чувствую себя в родной среде, в уюте, но… но все то, что мы знали про *себя* и раньше, с большей силой и отстоенностью даже остается и теперь. *Есть* — «новое ли религиозное сознание», или «третий завет», или светская культура, но нечто радикально есть в нас то, что остается непонятным, закрытым, несуществующим. В конце концов, я имел неприязнь или даже дружественность ко всем, с кем соприкасался, но в то же время оставался один. Сначала страдал от этого, затем привык и примирился. Кто же это мы, затерянные, перекликающиеся и друг другу загадочно близкие? Эрн ушел,[11] уйдет еще один, другой, и останется последний, как

7 Семья Булгакова жила в усадьбе Олеиз, близ Кореиза, в Крыму, отрезанном от России германской оккупацией Украины.

8 Избранный на Поместный Собор Православной Всероссийской Церкви от мирян Таврической епархии, Булгаков с 15 августа 1917 года принимал участие в работе двух первых сессий Собора (из трех).

9 На выборах в члены Высшего Церковного Совета от мирян, состоявшихся в заседании Собора 8 декабря 1917 года, Булгаков набрал наибольшее число голосов и вместе с А.В. Карташевым и Е.Н. Трубецким стал действительным членом Совета; среди заместителей членов был избран Г.Н. Трубецкой.

10 В ноябре 1917 года Булгаков получил предложение баллотироваться в члены Учредительного Собрания от Орловской губернии, подобно тому как в 1907 году он стал депутатом Второй Государственной думы от этой же губернии.

11 Владимир Францевич Эрн умер 29 апреля 1917 года.

я теперь, без семьи, под свист вьюги. И в то же время в душе спокойное, не гармонирующее с чувством личного бессилия, знание силы и правды своей.

Среди внешних (относительно) дел на Соборе теперь приступаем и к делу афонскому, к вопросу об имяславии, трепетно приближаться к земле священной![12]

Как Вас Бог милует? как дети? не остаетесь ли без жалования, как, напр., о. Павел? Последний, б<ыть> м<ожет>, будет издавать «собрание сочинений»,[13] излишне говорить, какое это радостное событие. Но за него всегда мне страшно: слишком прекрасен этот хрупкий алавастр мира драгоценного для этого мира! В [Сергиевом] Посаде теперь живет Розанов. Он стар, нуждается, слаб, но переживает снова рецидив жидовствующей ереси и вражды к Христу. Об этом можете прочесть в выпускаемых им «Апокал<ипсисах> наших дней». Он вспоминал о Вас с теплотой, мы встретились ласково, хотя, по существу, он продолжает меня недолюбливать, по-своему и справедливо. Вяч. Ив<анович>[14] без Эрна как-то поблек, да вообще растерялся, что ли, только поблек. Да и живется трудно, Вера К<онстантиновна>[15] болеет. «Авва»[16] хлопочет с кружками, окормляет голубиц и голубей. Видал его мало, телефон же не действует. Господь с Вами и Вашими. Целую Вас.

О. Павел все проектирует издать сборник об Эрне.[17]

Любящий Вас С. Булгаков.

2

21 мая 1918 года. Москва.

Дорогой Александр Сергеевич!

Пишу Вам в это число, прежде всего чтобы известить Вас, что желанное в этот день не свершилось. Меня постигло приключение, а именно в канун

12 Собор, несмотря на надежды Булгакова, специальных заседаний, посвященных имяславию, не провел.

13 Речь идет о неосуществленном проекте собрания сочинений Флоренского в книгоиздательстве «Путь», первый том которого в 1918 году должна была составить книга «У водоразделов мысли».

14 Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949).

15 Шварсалон Вера Константинова (1890–1920) — падчерица Вяч. Иванова.

16 «Авва» — Михаил Александрович Новоселов (1864–1938).

17 Проект сборника памяти Эрна, в котором должны были принять участие Булгаков, Флоренский, Гершензон и другие, остался нереализованным. Большинство предназначенных для него статей было опубликовано тогда же отдельно.

11го, того дня, когда я условился быть у еп. Феодора,[18] я, во-первых, получил предупреждение о «гостях»,[19] что до сих пор еще не подтвердилось, а во-2-х, в ту же ночь заболел, как оказалось, припадком аппендицита. 10 дней провел в кварт<ире> Хорошко[20] и лишь сегодня водворился дома, но пока на положении инвалида, с запрещением передвижения.[21] Поэтому все, естественно, откладывается, хотя и уповаю на милость Божию и надеюсь, что не надолго. Но теперь уже боюсь сроки определять. Да к тому же до сих пор не удалось материи достать, хотя о. Павел дарит мне одну свою рясу, что мне, конечно, особенно дорого.

Зато получил письмо из Крыма в эти дни, и от Муночки,[22] такое хорошее. Они, слава Богу, живы и благополучны, теперь уже не подвергаются опасности. Но целую неделю над ними висела угроза быть вырезанными, а на один день это прямо намечалось. Все-таки факт тот, что спасли мне жизнь моих милых от лиходеев — немцы. Как все это отразилось, могу только угадывать. Но, во всяком случае, огромная тяжесть с души моей свалилась с получением дорогой весточки. Во время жара я многое переживал в связи с предстоящим. Мне

18 Епископ Феодор Волоколамский (Александр Поздеевский, 1876–1937) — с 1 мая 1917 года настоятель Свято-Данилова монастыря.

19 О возможном посещении органами советской ЧК с целью обыска и ареста.

20 Хорошко Василий Константинович (1881–1949) — врач, друг Булгакова.

21 В середине мая 1918 года советские власти провели в Москве серию арестов членов ЦК и московского комитета кадетской партии, а также близких к ним общественных деятелей. Например, подлежал аресту, но избежал его, не вернувшись домой с защиты диссертации И.А. Ильина в Московском университете, П.И. Новгородцев. Булгаков вспоминал: «Я получил от Кн. Евг. Н. Трубецкого однажды поздним вечером дружеское извещение по телефону, в котором он меня на латинском (!) языке предупреждал, что я этой ночью буду арестован. Но когда я после этого лег спать, то почувствовал себя больным, поднялась температура с болями. Утром доктор определил припадок аппендицита, хотя и не настаивал на немедленной операции. Из своей квартиры мне надо было скрываться (хотя предупреждение Е. Н. и не исполнилось). Кое-как оправившись от припадка, я начал действовать: сначала обратился к Преосв. Феодору Волоколамскому, одному из Московских викариев, лично меня знавшему (и рукоположившему моего друга проф. о. Павла Флоренского), с вопросом, согласится ли он меня рукоположить во иереи. После его согласия я объяснил ему всю срочность этого дела ввиду моей угрожаемости (поэтому он от первоначального своего предложения провести некоторое время во диаконстве, узнав мое положение, и сам отказался). После этого я уже обратился к самому Патриарху Тихону с прошением о рукоположении, на что Святейший милостиво и без всяких возражений и согласился» (*Сергий Булгаков*. Автобиографические заметки. Париж, 1991. С. 38–39).

22 Муночка — Мария Сергеевна Булгакова (1898–1979), дочь Булгакова, студентка киевского Университета св. Владимира.

казалось, что я повергнут пламенным мечем херувима в мрак и трепет, и трепещу, тровасый, ко огню приближаяйся. С патриархом еще не говорил, эта неделя пройдет в выздоровлении.

Теперь о Ваших делах. Отн<осительно> предисловия к Д<остоевско>му я согласен и так, и так, — как укажет время и обстоятельства. Ко сборнику Лемана[23] едва ли нужно предисловие, не думаю даже, чтоб он сам этого захотел. Конечно, если бы возник вопрос, я согласился бы написать предисловие. Если я увижу Лемана — а это маловероятно в скором времени, то я его спрошу. (…)

Здесь был вскоре после Вас В.В. Розанов. Он тоже «виделся» с Леманом, поладил и нечто «получил». Ходил по всем московским домам. Жалел, что не повидал Вас. О. Павел бывает еженедельно на своих лекциях.[24]

Удивительно теплые и ласковые слова Вы для меня находите в своих письмах, спасибо Вам! Сейчас перечел их и снова был заласкан ими.

3

31 мая 1918.

День Вознесения Христова.

Милый Александр Сергеевич! (…)

Мечтаю в начале июля, если только можно об этом сметь мечтать, вырваться к своим в Крым, — уж очень страстно хочется их видеть. Мысль о приезде к Вам приходится отложить, — уже 15го июня соберется собор.[25]

23 Имеется в виду запланированный к изданию в издательстве Г.А. Лемана и С.И. Сахарова сборник статей А.С. Волжского. 18 апреля 1918 года Георгий Адольфович Леман-Абрикосов (1887–1968) сообщал Волжскому о получении от Булгакова статей для названного сборника (РГАЛИ. Ф. 142. Оп. 1. Ед. хр. 243. Л. 3). Проект этот не был реализован. Издательство в 1918 году выпустило в свет: *Сергей Булгаков*. Тихие думы. Из статей 1911–15 гг. М., 1918; *П.П. Блонский.* Философия Плотина. М., 1918; *И.А. Ильин.* Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. В 2-х т. М., 1918. Весной 1918 году оно объявило программу «Библиотеки общественных знаний под общей редакцией П.Б. Струве» (о ней: *М. Колеров*. От марксизма к идеализму и церкви (1897–1927): Исследования, материалы, указатели. М., 2017. С. 167–172).

24 Еженедельные поездки П.А. Флоренского в Москву были вызваны его преподаванием в Московской духовной академии, в 1918 году перенесенной из Сергиева Посада в Москву.

25 Третья сессия Собора началась 19 июня (2 июля) и длилась до 7 (20) сентября 1918 года. Булгаков в ней не участвовал, хотя и вспоминал, что выехал в Крым лишь через две недели после рукоположения, то есть 25 июня старого стиля (Сергий Булгаков. Автобиографические заметки. С. 43).

Мое посвящение назначено еп. Феодором на дни св. Троицы (во диакона) и св. Духа (во иерея), 10го и 11го, в Даниловом монастыре. Патриарх уже наложил резолюцию на моем прошении, хотя официально ему не дано еще хода ввиду отъезда патриарха в Петербург. Трудности с добыванием материи и портными почти преодолены, хотя вообще количество *мелких* трений и трудностей как-то бесчисленно. Я живу, с одной стороны, в атмосфере чуда, когда порою снимается стена между мною и ушедшими и приближаются чувства 1909 года, моего первого «посвящения»,[26] а с другой — нахожусь в агонии умирания, неисходного, ужасного, рокового. Порою так безумно болит душа и жжет тревога за своих, рождается надежда на чудо, что́ приедет Е<лена> И<вановна>,[27] а то опять смиряюсь с волею Божией. Не знаю, что здесь закономерно, в порядке вещей, как встреча со «стражем порога», что́ принадлежит моей слабости, маловерию, малодушию. Чувствую свою вину и пред Вами, что я, а не Вы, приближаюсь к этому жребию, которого так недостоин. Надо бы писать многое, многое, чтобы Вы конкретно постигли мое состояние, но думаю, что не нужно, п<отому> ч<то> Вы и так понимаете. Для меня несомненно, что я уже *умер*, прежнего меня нет. Если бы почему-либо посвящение не состоялось, мне все равно нечем жить; я себя *изжил* окончательно и совершенно, не могу существовать вне нового рождения. Но о нем трепещу, не умею думать. И весь этот огонь палит меня на фоне всей обыденной суеты, забот, беготни. В воскресенье в р<елигиозно-> ф<илософском> об<щест>ве читаю прощальное (конечно, неведомо для публики) кармасиновское «mercі» — свои диалоги.[28] Все как-то мучительно больно. Просто не знаю, доживу ли, разве только милостью Божией. Не забудьте в молитвах, как и я Вас буду помнить в страшную и трепетную минуту. Боже, будь милостив мне грешному! Напишу Вам тотчас, если совершится. Да хранит Вас и семью Вашу Матерь Божия. Целую Вас. Люб<ящий> Вас С. Булгаков.

Порою посещает нечеловеческая тоска и тревога за Муночку гл<авным> обр<азом>, а затем так же чудесно отходит. Постигаю, что́ такое смерть.

26 Речь идет о смерти 27 июля 1909 года маленького сына Булгакова Ивашека, имевшей поворотное значение для его религиозного сознания. Об этом Булгаков писал неоднократно: С.Н. Булгаков. Свет Невечерний: созерцания и умозрения [1917]. М., 1994. С. 17–18 («Из интимного письма»); в частных письмах: Г. А. Рачинскому (РГАЛИ), Волжскому (РГАЛИ), Гершензону (ОР РГБ). О смертельной болезни сына и своем переживании «часа смерти-рождения» Булгаков писал и в письме к Мариэтте Шагинян (опубл.: Мариэтта Шагинян. Человек и время. История человеческого становления. М., 1982. С. 226–227).

27 Елена Ивановна Булгакова (урожд. Токмакова; 1868–1945) — жена Булгакова.

28 Имеются в виду диалоги Булгакова «На пиру богов», вошедшие в сборник «Из глубины» (1918). Прощанием с «русскою публикой» заканчивает свой рассказ «Mercі» персонаж «Бесов» Ф. М. Достоевского писатель Кармазинов (Ч. 3. Гл. 1).

4

$\frac{24.IV.}{7.V.}$ 1921. Олеиз.

Милый мой Александр Сергеевич! Христос воскресе! Не знаю ничего, ничего о Вас и Вашей семье. Да хранит Вас всех Господь и его Пречистая Матерь! Уже три года, как мы отторгнуты друг от друга. Благодарение Богу, уже скоро будет и три года моего священства. Мы благополучны, теряли на целый год Федю,[29] но он вернулся к нам. Целую Вас. Благословляю всю Вашу семью. Отзовитесь. Люб<ящий> Вас прот. С. Б.

5

17/30.IX.1921. Олеиз.[30]

Милый Александр Сергеевич! Приветствую Вас лобзанием святых. Был бесконечно рад узнать, что Вы живы и, надеюсь, благополучны с семьей. Мне так и не удалось выбраться в Москву, — осел пока в Ялте на приходе, очевидно. Здесь буду и зимовать. Помимо возможности устроиться в Москве, мне необходим вызов и бесплатный проезд при сносных условиях, иначе с семьей не проедем. О том, как жил это время, в письме не расскажешь, благодарение Господу за все. Мы живы, здоровы и сейчас все вместе. Дайте весть о себе, авось Господь приведет увидеться. Всегда Вас и Вашу семью молитвенно вспоминаю пред Престолом Господним. Шлю всем Вам благословение и целую Вас горячо. Ваш С. Б.

Какой ряд могил за это время, что мы не виделись: В. В. Р<озано>в, В. К. Иванова, Т. А. Рачинская и др. Храни Вас Бог! Вспоминаю последнюю встречу в Москве и всю Вашу любовь и дружбу в эти великие дни. Люб<ящий> Вас прот. С. Б.

Пишу Вам *второй* уже раз.

29 Сын Булгакова Фёдор Сергеевич Булгаков (1902–1991), художник, служил в Белой армии. «Ялтинская вдова священника предсказала сыновьям Е.Н. Трубецкого и Булгакова, что “они увидят златоглавый Кремль”». И они бесстрашно лезли на врагов. Но князь Т. был убит в первом же сражении за Перекоп. Искали мы среди трупов и сына С.Н.Б., но не нашли. Оказалось, что он был взят в плен и после возвратился к родителям в Кореиз, недалеко от Ялты» (*Митрополит Вениамин (Федченков)*. На рубеже двух эпох. М., 1994. С. 272). Раненым в госпитале попав в плен к красным, он был призван в Красную армию.

30 На обороте сложенного листа рукой Булгакова: «Александру Сергеевичу Глинке-Волжскому (чрез М. А. Новоселова)».

6

$\frac{19.III.}{2.IV.}$ 1923.

Христос воскресе, милый мой Александр Сергеевич!

Не знаю, донесут ли эти строки мою любовь и сердечную память о Вас. Внешне мы благополучны, т. е. были бы, если бы все были в сборе, но с нами нет Феди.[31] Сломала дорогой Е. И. ногу, но она уже срослась. Я еду на Прагу, там буду читать лекции и служить.[32] Пока адрес там: Tchechoslovaquie. Praha. Bubeneč. Havličkova. 36/IV, prof. G. Vernadsky,[33] для меня. Здесь, думаю, найдется работы больше, чем хватит надорванных сил. Так что слава Богу. Но новая «проблематика» жизни, особенно церковной, обступает здесь и давит с силой неимоверной. Когда мы расставались с Вами в Москве, казалось, что я уже вступил в последнюю и окончательную стадию жизни и что будет ровный и гладкий путь до конца. В известном смысле это и верно, насколько это касается благодатного дара священства, который, хотя и не возгревал, хранишь

31 После высылки Булгакова с семьёй из Советской России в конце 1922 года Ф.С. Булгакову так и не было разрешено выехать ни вместе с семьёй, ни вслед за ней.

32 Булгаков на протяжении двух лет, в 1923–1924 и 1924–1925 годах, читал лекции по церковному праву на основанном П.И. Новгородцевым Русском юридическом факультете при Пражском университете. См. также: *М.А. Колеров.* С.Н. Булгаков в 1923 году: из Константинополя в Прагу // Исследования по истории русской мысли [6]: Ежегодник за 2003 год. М., 2004.

33 Вернадский Георгий Владимирович (1887–1973) — историк, начальника Главного управления по делам печати в правительстве Вооружённых сил Юга России генерала П.Н. Врангеля, сын ректора Таврического университета (в конце 1920 года) В. И. Вернадского (1863–1945), с которым Булгаков поддерживал отношения в белом Крыму и после его советизации (о Булгакове и Вернадских в Крыму см.: *С.Б. Филимонов.* Из прошлого русской культуры в Крыму. Симферополь, 2010. С. 118–200). 15 января 1921 года Булгаков передал В. И. Вернадскому письмо, видимо, о решении его личного дела в университете: «Дорогой Владимир Иванович! Приветствую Вас и Ваших с новолетием и шлю свои благожелания. Писать много не хочется, да, пожалуй, и нечего, — сами знаете. Прошу Вас, если только можете, оказать мне услугу, которая могла бы вывести меня из затруднительного и неприятного положения. Я слышал, что Вы собираетесь уезжать и ввиду этого отказываетесь от ректорства. Если это так, то не откажите мне попросить своего заместителя сделать то, о чем я прошу Вас. Сущность дела Вам будет изложена подательницей сего письма. Ваш пр. С. Булгаков» (Архив РАН. Ф. 518. Оп. 7. Ед. хр. 204. Л. 3). Булгаков, преподававший в этом университете, был уволен из него немедленно после советизации Крыма — 13 ноября 1920 года.

как величайшую радость и святыню ощущаешь как вторую природу. Но путь и здесь не оказывается гладким и исполнен новых задач и трудностей великих, пред которыми и стою. Мое позднее возвращение в Европу и стояние лицом к лицу с нею теперь, в этот момент жизни, с теми мыслями и настроениями, в которых я жил в Крыму, исполнено особой трудности и значительности. Но об этом не напишешь. Если може<те>, отзовитесь. Благословляю и <цел>ую так нежно, как <т>олько можно. Прот. С. Б.

П.Н. Савицкий. О национал-большевизме. Письмо в редакцию [«Русской Мысли»] Петру Бернгардовичу Струве (1921)

Милостивый Государь, Петр Бернгардович!

В Ваших «Историко-политических заметках о современности», помещённых в май-июльской книжке «Русской Мысли» за текущий год, Вы посвятили несколько страниц разбору воззрений национал-большевизма. Принадлежа к числу немногих в среде русской эмиграции единомышленников Н. В. Устрялова, я позволю себе изложить некоторые соображения, которые, может быть, помогут выяснить, из каких корней выросла эта идеология.

Прежде всего, следует с полною силою подчеркнуть, что такими корнями *не* являются *принципиальный коммунизм или интернационализм*. Интернационалист и коммунист, по убеждениям, был бы не национал-большевиком, но просто большевиком. Относительно себя лично, я могу отметить, что я всегда отвергал и отвергаю начисто и ныне не только коммунизм, но и всякий социализм, под каким видом и в каких бы оттенках он ни выступал… И все-таки я склонен связывать будущее России с будущим Советской власти, именующей себя властью коммунистической. И это не потому, чтобы я признавал *принципиально* неправильными Ваши суждения, обличающие ненациональность и вредоносность для страны коммунистической власти. Скажу прямо: если бы предстояло выбирать между двумя формами власти, из которых обе обладали бы *равною способностью администрирования и равною политическою силой*, но из которых одна называла бы себя коммунистической, а другая нет, — для всякого национально мыслящего русского не было бы ни минуты сомнения: предпочтительна власть *не* коммунистическая. И такой выбор, казалось, существовал, пока режимы Адмирала Колчака и Генерала Деникина не выявили своего бессилия. И я уверен, что покуда это бессилие не вы-

яснилось, большинство тех, кто ныне мыслит «национал-большевистски», не было на стороне большевиков… Но, увы, в настоящий момент такой выбор невозможен. И нужно, выступая против большевиков, отдавать себе отчет в последующем. Представим, что большевиков *можно* свалить. Кто же их заменит? Вот тут-то и [выступает][1] намечается дополнительная к формулированным Вами посылка национал-большевизма, сводящаяся *к существенно низкой оценке политической годности всех, без исключения, партий и групп, которые выступают ныне, в качестве соперников большевикам, претендентами на власть*. Я не стану распространяться о монархическом движении. Напомню только, что последняя эпоха существования Императорской России, которая, как никак, была эпохою, хотя и частичного, разложения русской исторической власти, сделала монархическое движение принадлежностью, в большинстве случаев, столь недоброкачественных элементов русского общества, что, даже при наступившем возрождении и очищении этого движения, потребуется немало времени, чтобы поставить монархическую реставрацию на очередь дня… Из остальных групп наиболее значительны эсеры и кадеты. Те и другие, в разной степени и в разные моменты, были влиятельны в период Временного Правительства. Кроме того, кадеты имели голос при Деникине. Мне кажется, нельзя найти достаточно ярких слов для того, чтобы охарактеризовать степень бессилия и неспособности к действию, которую, в общем и целом, проявили во время своего «величия» и те, и другие. Я отнюдь не хочу отрицать, что и среди кадетов, и среди эсеров есть честные люди, которые, в известных обстоятельствах, могут быть полезны. Но ни в тех, ни в других, в каждых по-своему и по особым причинам нет того напряжения властвующей воли, того потентного дерзания, которое необходимо, чтобы управиться с Россией… Дело здесь не только, и даже главным образом не в ошибках прошлого, но в некоторой органической неспособности понять природу власти, неспособности — волить, которая, по общему правилу, отличает и эсеров, и кадетов, постигается интуитивно и доказуется эмпирически, на уроках прошлого… В отношении к подразделению социалистов на большевиков и не-большевиков можно утверждать даже, что подразделение это определяется не столько различием убеждений, сколько разницей темпераментов: темперамента властвования, с одной стороны, темперамента оппозиции и бунта, равно безответственных, — с другой…

Политическая годность большевиков резко контрастирует с неспособностью их соперников. И эта политическая годность (что бы ни говорили противники большевиков!) сказывается на политическом положении страны. Неоднократно упоминаемая в Вашей аргументации неудача большевиков в борьбе с Польшей является не более, как отдельным эпизодом, который, во-

1 Зачёркнуто.

первых, может смениться эпизодами совершенно другого характера, а, во-вторых (и это главное!) не устраняет того факта, что большевики к настоящему моменту, к середине 1921 года, действительно, «собрали» Россию… Не «воссоединенными» остались: не более 1/10 территории и 1/5 населения бывшей Империи. Говорить в этих обстоятельствах о «расчленении» России является прямым недоразумением. Если бы нынешнее положение оказалось устойчивым, подлежали бы устранению только немногие детали (вроде существования самостийных «прибалтийских пуговиц»). Но в том-то и дело, что в перспективе свержения большевиков существование единой России отнюдь не представляется обеспеченным. Если признать правильной вышеуказанную посылку о политической негодности претендентов, оспаривающих у большевиков власть, то нужно предвидеть, что вслед за падением большевиков волна народной анархии захлестнет Россию. В обстановке этой анархии выползут, как гады из нор, самостийности грузинские, кубанские, украинские, белорусские, азербайджанские… Создастся обстановка для интервенции; и чужеземцы, по своему произволу, определят форму этой интервенции… Россия падет и распадется не так, как «пала» и «распалась» к нынешнему моменту (т.е. фиктивно), но по-настоящему… И может же существовать такой вариант патриотического чувства, согласно которому подобная цена является слишком дорогою даже тогда, когда ею покупается уничтожение Коммунистической Власти!…[2]

И вот, — скажете, быть может, Вы, — в погоне за политическим миражем, страну обрекают на вымирание: ведь к вымиранию приводит *экономический* режим большевиков… Это правильно, поскольку речь идет о специфически *коммунистическом* хозяйственном режиме: коммунизм отрицает самые основы человеческой хозяйственной деятельности, вне которых наступает экономическое небытие. Но коммунизм отрицает также начала милитаризма. Это не помешало Советской Власти, после некоторого периода шатаний и колебаний, создать годную армию. Можно ли утверждать наверняка, что после долгого (и тягостного для страны!) периода экспериментов, Советская Власть не сумеет осуществить «обуржуазения» хозяйства?… Для того, чтобы утверждать такую невозможность, нужно иметь больше смелости и больше данных, чем

2 Далее в упомянутых публикациях следует текст, отсутствующий в оригинале письма: «Те, кто желает падения большевиков во что бы то ни стало, могут, конечно, надеяться и верить, что кто-то придет, кто-то все устроит. Но такая вера не является обязательной для всякого национально мыслящего. Она станет таковою, если этот “кто-то” придет, но не раньше. Если бы на горизонте русской действительности появилась новая и действенная сила, концепция наша пала бы сама собою. Но поскольку этого нет, поскольку перед нами все та же давно знакомая обстановка, постольку чувство, которое Вы именуете “патриотической страстью”, — именно оно и ничто другое — приводит к национал-большевизму».

имеем мы… Во всяком случае, в настоящий момент, в момент явного и общего краха «коммунистического» хозяйства, к «обуржуазению» последнего вынуждает большевиков необходимость, не менее острая, нежели та, которая привела их к созданию армии…

Всегда и везде нужно стремиться к лучшему. И этим лучшим, в нынешних, безмерно трудных, обстоятельствах мне представляется: сохранение годного *политического* аппарата большевиков, при изменении *экономической* их политики… Изменение экономической политики большевизма — это условие жизни России; сохранение политического его аппарата — это условие *силы* страны… Повторяя основное свое положение, скажу: в резком несоответствии с бессмысленностью экономической системы, большевики сумели в области политической создать выделение годных из всех слоев русского общества. И в этом выделении есть нечто ценное и не подлежащее устранению. С точки зрения национал-большевизма, — только на путях стихийного и свободного от внешних воздействий роста этой новой, народившейся при Коммунистической Власти, России, коммунизм станет таким же изжитым явлением, как стали им «кадетство», «эсерство» и пр.

Примите и пр.

5–6. IX. 1921

Воин евразийства и его война

[Рец.:] *Константин Чхеидзе.* Путник с Востока. Проза, литературно-критические статьи, публицистика, письма / Сост. А.Г. Гачевой. М., 2011.

Это первое собрание сочинений деятеля евразийского движения из его даже не второго, а третьего разряда — и деятеля, скорее, литературного и практического, чем теоретического толка. Из таких офицеров и строится главная практическая сила и влияние общественных движений. Обширное наследие имперского и белого офицера, а в эмиграции — чернорабочего, студента, евразийского активиста и публициста Константина Александровича Чхеидзе (1897–1974) впервые собрано, подготовлено, откомментировано, сопровождено обширным минимонографическим исследованием — и, можно сказать, фактически создано для науки как единый текст — видным специалистом, в частности, по истории евразийства А.Г. Гачевой.[1] Публицистика К.А. Чхеидзе, наиболее важная для автора этих строк, хронологически относится к 1924–1936 годам, времени наивысшего развития евразийства.

Определение места К.А. Чхеидзе в движении требует навигации.

Идейный капитал евразийского движения после 1991 года уверенно стоит в центре внимания в России. Вожди евразийства Н.С. Трубецкой и П.Н. Савицкий вниманием издателей и исследователей общественной мысли прямо избалованы (и такое активное *научное* внимание к движению продиктовано, прежде всего, огромным и содержательным архивом Савицкого в ГАРФ, ко-

1 Известно, что наследие К.А. Чхеидзе содержит и другие сочинения, прежде всего, воспоминания, а также обширную переписку. Если они, по каким-либо произвольным причинам, не будут опубликованы и тем спасены, это нанесёт большой вред русской национальной культуре XX века.

торый обеспечивает предмету до сих пор не исчерпанные источники).[2] Евразийцы первого ряда — Г.В. Флоровский, Г.В. Вернадский, Д.П. Святополк-Мирский — тоже ценимы современной печатью, но известны более своими трудами, не сводимыми к евразийству. Авторы из евразийского круга, как, например, Р.О. Якобсон, П.М. Бицилли, Л.П. Карсавин, Н.Н. Алексеев, В.Н. Ильин, тоже снискали издательский интерес, но не собственно как евразийцы, да и, несмотря ни на что, они вряд ли могут быть признаны действительно идейными евразийцами, а не попутчиками, сделавшими ставку на публичную солидарность с движением, любимым благотворителями, из идеократических и материальных соображений. Как известно, среди авторов евразийских изданий поначалу были и абсолютно независимые от него А.В. Карташёв и С.Л. Франк, но и здесь следует согласиться с тем, что ими руководили не столько идейные, сколько гонорарные и компромиссные (адресованные поколению эмигрантской молодёжи) соображения. В конце концов, из этих же соображений неофициальный, частный диалог с евразийцами одно время вели даже публично столь радикально враждебный им И.А. Ильин и столь холодный к ним П.И. Новгородцев. Очень уж была активна и велика в эмиграции их читательская аудитория. Руководящий идейный триумвират движения в лице Трубецкого, Савицкого и П.П. Сувчинского (член высшего руководства П.С. Арапов изначально состоял в нём по заданию ГПУ СССР) долго был открыт для внешних коалиций с представителями старшего поколения и смотрел на их привлечение вполне цинично,[3] стремясь удовлетворить крайний кадровый голод на философскую литературу, которая бы наполняла не только агитационным, но и качественным культурным содержанием их амбициозную издательскую программу. Идеократические претензии евразийцев поначалу колебались между пафосом идейной полноты (то есть интеллектуального наследия всей старой России) и амбициями власти (то есть, на деле, всего лишь партийного участия во власти Советской России). В итоге победили амбиции и вместе с ними критерии партийной «идейной чистоты», которые исходили либо из той надежды, что большевики немногих из них допустят к руководящему соучастию во власти (гораздо более высокому, чем «сменовеховцев»), либо из той утопии, что будущая власть самих евразийцев будет диктаторской и тоже делом немногих.

2 Существуют и иные архивные источники по истории евразийства, придающие ей новые черты. О них см.: *М.А. Колеров.* О любви евразийства к СССР: письмо Л.П. Карсавина к Г.Л. Пятакову (1927) — в настоящем сборнике; *М. Соколов.* Евразиец пишет генералиссимусу (По материалам архивно-следственного дела П.Н. Савицкого) // Исследования по истории русской мысли [11]: Ежегодник за 2012/2014 годы. М., 2015.

3 Об этом, в частности, см.: *М.А. Колеров.* Братство св. Софии: «веховцы» и евразийцы (1921–1925) // Вопросы философии. М., 1994. № 10.

Этим критериям и должны были служить собственные евразийские кадры, воспитанные в партийных рядах на основе партийной литературы. Чхеидзе стал именно таким политически подкованным воином евразийства. И его индивидуальность выразилась в том, что Чхеидзе поставил идейное качество выше наивных амбиций.

После того, как советские деньги и инструкции ГПУ коррумпировали и в 1929 году раскололи руководство евразийцев, Чхеидзе остался верен той его части во главе с Савицким, что решила сохранить независимость (но, конечно, не изоляцию) от властей СССР. После войны, в Праге, Чхеидзе сполна заплатил за эту независимость, 1 июня 1945 года отправившись вслед за Савицким в советский ГУЛАГ, из которого ему в 1955 году посчастливилось вернуться в Прагу к семье.

В русском XX веке фигура Чхеидзе невольно сравнивается с фигурами, помимо коммунистов Сталина, Орджоникидзе и Берия, других ярких выходцев из среды имперского грузинства, которые несли в себе связь с грузинским происхождением одного из своих родителей, — эстетического революционера и грузинского империалиста И.М. Зданевича (Ильязда)[4] и революционера этнического и этнографического, Н.Я. Марра.[5] Все они вступили в союз с политической практикой, пытаясь эксплуатировать её для бо́льших целей: Зданевич сотрудничал с британской и советской разведками, чтобы служить независимой Грузии и выживать в эмиграции, Марр — с самим Сталиным, чтобы создавать новые нации вокруг Грузии. А Чхеидзе служил Исторической России, чтобы — в том числе — сохранить благодаря ей хрупкую этнокультурную амальгаму Кавказа. Но значение Чхеидзе больше этих усилий.

Труд А.Г. Гачевой доказательно демонстрирует судьбу идеологического творчества, когда оно превращается из потребительского продукта «духовного производства» в инструмент профессионального ремесла. Чхеидзе — ремесленник. Но не пропагандист. И из материалов книги хорошо видно, как он растёт вместе с принятой верой и зримо становится лучше как писатель,

4 *Ильязд (И.М. Зданевич).* Письма Моргану Филипсу Прайсу / Предисл. Р. Гейро. М., 2005; Ильязд в портретах и зарисовках / Автор-сост. Р. Гейро. М.; Paris, 2015. С. 30–32, 50–51, 84. См. также: *М. Могильнер.* Homo Imperii. История физической антропологии в России (конец XIX — начало XX в.). М., 2008. С. 285, 287; *В.Б. Каширин.* Е.В. Клюкин. Юго-Западная Кавказская республика: Очерк политической истории. СПб., 2002 // Русский Сборник: Исследования по истории России. Т. IV. М., 2007; *Л. Кацис.* Заметки читателя историко-(анти)философской литературы. IV. Илья Зданевич («Философия») и антифилософия С.В. Кудрявцева // Исследования по истории русской мысли [13]: Ежегодник за 2016/2017 годы. М., 2017.

5 *В.А. Миханкова.* Николай Яковлевич Марр. Очерк его жизни и научной деятельности. М.; Л., 1935. С. 169–170, 174–176.

важнее — как свидетель, ответственней — как самоотверженный солдат своей проповеди. Рубежом этого превращения ученика пражской русской профессуры (в 1923–1928 годах Чхеидзе учился на Русском юридическом факультете и окончил его, заслужив право остаться на нём для приготовления к профессорскому званию, но этим правом не воспользовался) в живого деятеля русской культуры зримо становится 1926 год. Именно тогда Чхеидзе язык своих текстов переводит на понятия евразийства, которое открывает ему нечто важное в старом и новом мире: *государство-материк, идеократия, «правящий отбор», геополитика, месторазвитие*.

Уже в 1927–1929 годах становится видно, как новый язык Чхеидзе избавляется от ученических оговорок вокруг простых положений — и определяет растущую ясность его мысли, а мысль всё больше обнажает не воспринятую из евразийских прописей риторику, а реальный, фатальный конфликт между самоотверженностью человека — и тем, чему она посвящена. В начале 1930-х он становится последователем Н.Ф. Фёдорова (главным научным открывателем этого круга ныне выступает та же А.Г. Гачева, и можно предположить, что именно эта логика привела исследователя к евразийской тематике, обеспечив нечастую ныне благую, критическую от неё отстранённость). Несмотря на хорошее академическое образование и детально выработанную фёдоровцами картину мира, в этот момент Чхеидзе снова учится описывать мир.

Здесь важно заметить, что, несмотря на хорошо известное интеллектуальное и литературно-художественное взаимопроникновение Советской России и эмиграции (особенно в 1920-е годы), логика борьбы лишала это взаимопроникновение содержательной перспективы. Свершившийся разрыв между русской эмиграцией и историческим социальным взрывом в России надолго породил взаимные глухоту и пустословие, которое равно немоте. Не успела эмиграция описать 1917 год революций, 1918 год «черного передела» и Брестского мира, 1920 год поражения Врангеля и 1922 год первой идеологической чистки в России, как 1929 год принёс новое «крепостное право» коллективизации, равное ещё одной социальной революции. За этим непрерывным изменением правил мысли и языка в России русский эмигрант, посвятивший свою жизнь стране и национальному выживанию, неизбежно искал особого смысла, который выше его жизни и, наверное, выше его обыденного понимания. Пытаясь оправдать практическое бессилие своей подлинной любви к Родине, русский эмигрант искал для себя философии «мыслящего тростника», который находит смысл своего существования в том, чтобы просто лечь в холодную или горящую землю своей страны, чтобы продлить её вечность.

Чхеидзе находит свою вечность в мировом, интернациональном соединении континентальных пространств — видимо, для того, чтобы избавиться от

слишком уж безальтернативной обречённости евразийства на согласие с советской властью во главе России. И растворяет национальный масштаб в планетарном, и уничтожает действительное историческое и научное открытие евразийского *месторазвития* — в давно открытом христианством вселенском, религиозном предназначении человека.

Но Чхеидзе не может просто так смириться с поражением в национальной борьбе, даже упакованным в мировое страдание, и сначала пытается объяснить, почему само развитие коммунизма в России требует от него стать национально-патриотической силой и для этого использовать опыт белой эмиграции: «Пока был Ленин, коммунистическая партия справлялась с очередными практическими задачами. И своим действиям давала то или иное практическое обоснование. А теперь — совершенно ясно революция переросла коммунистическую доктрину…» (с. 342). И здесь Чхеидзе, в отличие от большинства тех, кто изображал коммунистический термидор и бонапартистское перерождение Советской власти, глядя на него из коммунистической оппозиции или эмиграции, не стал искать подходов к будущему диктатору — будь он красным военачальником (например, Тухачевским, чьё имя часто звучало в этом контексте), или красным бюрократом (как Сталин), или новым Корниловым, новым Колчаком, новым Врангелем — из числа внешних врагов большевизма (что скоро выродилось в противоестественную любовь к Муссолини и Гитлеру). Чхеидзе неожиданно выступает против белой теории новой диктатуры — и соглашается искать национального диктатора не из своей партийной, белой среды и так становится на путь личной жертвы,[6] противопоставляемой простому белому антикоммунизму. «От ожидания “русского Наполеона” нужно отказаться», — пишет он. «Неужели мы признаем “героем” и “наполеоном” того, кто приведёт в нашу страну иноземные полки и таким образом “освободит” её? — Неужели тот, кто повернёт течение русской революции не вперёд — к Новой России; а назад — и таким образом создаст реакцию — неужели этот человек будет в наших глаза “героем”?» (С. 345).

И прямо о себе и своей судьбе, которую он выбирает задолго до встречи с ГУЛАГом:

> «В современности героическое и состоит в величайшем самопожертвовании во имя идеала. Таким идеалом может быть отнюдь не *личный* “наполеоновский” идеал. Напротив, идеал, к которому надо стремить-

6 О другом опыте личной жертвы, приносимой антикоммунистической эмиграцией коммунистической диктатуре, — в проповеди и судьбе Н.В. Устрялова — я подробно писал здесь: *М.А. Колеров.* «Аще не умрет, не даст плода»: власть и жертва Устрялова. См. настоящий сборник.

ся и который надо создавать, — должен быть *общий,* всенародный идеал. А призыв к самопожертвованию относится опять-таки не к какому-то "герою русской революции" — а каждому из нас, к каждой отдельной личности, живущей в современности. Наполеоны и сверхчеловеки нам не помогут и Россию из коммунизма не выведут. Только постоянное стремление к *живым силам страны,* только непрестанная работа и мысль — что же *там,* как и куда идти, — только это сейчас нужно России и нам самим. Россия без нас проживёт. Но вот — проживём ли мы без России? Но жить вместе с Россией — это и значит идти по пути героическому...» (С. 346).

Утверждая вслед за Н.А. Бердяевым *пореволюционность* (С. 347, 351) идеологии тех, кто готов признать необратимость главных буржуазных и социалистических результатов Октябрьской революции 1917 года, и таким образом волей или неволей соглашаясь с лидерством большевиков во главе общенациональной коалиции, а на деле — с капитуляцией белой эмиграции перед большевиками ради права умереть вместе с ними за общенациональное дело ныне большевистской России, Чхеидзе вместе с большевиками фактически хоронит старую Россию. Он пишет уже в 1925 году:

«мы свидетели кончины последних "детей" и "внуков", не давших следующего поколения. "Дети и внуки" — отошли и отходят в историю. Между ними и нами — пропасть в несколько веков (1917–1925 гг.)... Нет сейчас "отцов и детей", а есть "они" — "дети и внуки" предреволюционной и революционной России — и "мы"... мы, идущие своими путями к своей цели жизни: к творчеству во имя России. Они и мы — два разных мира, две разные исторические эпохи (...) исторически и идеологически именно нам выпала доля начать (хотя бы за рубежом) новую страницу жизни России» (С. 311).

Однако в 1929 году, в момент раскола евразийства на агентуру ГПУ СССР и тех, кто остался неподкупным, Чхеидзе выбирает для активности своего поколения белой эмиграции утопический и провокационный, словно прямо приготовленный для обоснования сталинский репрессий, курс на антибольшевистское подполье, идущее к власти:

«для Евразийства проблема России совпадает с проблемой ВКП(б), поскольку ВКП(б) содержит в себе зёрна будущего правящего отбора России-Евразии. Внимание и усилия Евразийства должны сосредоточиться на партии и вокруг партии. Такая установка сводится к ставке на живую

современную Россию, выдвинувшую свой актив в партию и её вольных и невольных сотрудников. "Беспартийные" в госорганах, "спецы" в госпредприятиях, крепкие государству чины Армии, "попутчики" в литературе и т.д. — все эти разряды людей, несомненно, примкнут к организаторам победы над коммунизмом и преобразования ныне правящей группы в духе подлинного правящего отбора» (С. 328).

Отрицая антибольшевистскую интервенцию, которой присягали в эмиграции многие, логично закончив в 1941–1945 годах гитлеровским коллаборационизмом, прямым соучастием в гитлеровском геноциде своего собственного народа, Чхеидзе выбирал путь революционного подполья:

«Условия диктатуры ВКП(б) исключают возможность легальной правовой борьбы. Поэтому до образования исторически оправданного правящего отбора главное усилие "подданных добра" должно быть направлено на раздробление и ликвидацию другого — противостоящего полюса "подданных зла" — всеми доступными средствами. В дальнейшем фактическим победителям предстоит трудная и благодарная задача государственного оформления правящего отбора» (С. 329).

Здесь видно, что одних лишь этих предвоенных публичных признаний при вступлении Красной Армии в Прагу в 1945 году было бы достаточно, чтобы оказаться в ГУЛАГе, но вряд ли именно они стали тому причиной.

Великая русская культура, собирающая живой мемориал своих простых воинов, каждый из которых в культуре менее великой составил бы главу в истории национальной литературы и мысли, привыкает (да, привыкает, несмотря на припадки партийности и упорное вызывание духа гражданской войны) не делить своих воинов на белых и красных. Она даже терпимо относится к тем, кто запятнал себя службой или сочувствием Гитлеру — смертельному, геноцидному врагу своего народа, — например, П.Н. Краснову, Б.П. Вышеславцеву, Н.С. Арсеньеву, С.А. Аскольдову,[7] И.С. Шмелёву…

К.А. Чхеидзе не требует таких скидок: он был честен в своей борьбе.

7 Новые материалы об этом см.*: Б. Ковалев.* Философские беседы в умершем городе: С.А. Аскольдов и оккупанты в Великом Новгороде в 1941–1943 гг. Приложение: Статьи С.А. Аскольдова из оккупационной печати 1943–1944 годов // Исследования по истории русской мысли [11]: Ежегодник за 2012/2014 годы. М., 2015.

Библиография

Новый текст к исследованию революционных культов Надсона, Гаршина и Чехова: *Николай Бердяев*. Памяти А.П. Чехова (1904). — Впервые: Тетради по консерватизму: Альманах. № 2. М., 2018.

Предшественник образа-теории В.А. Маклакова о «безумном шофёре» монархии: Е.Н. Трубецкой «Поучительная катастрофа» (1905). — Впервые: Россия и славянские народы в XIX-XXI вв.: Материалы международной научной конференции (г. Новозыбков, Брянская область, 18 мая 2018 г.). Брянск, 2018. Для настоящего издания дополнено.

«Великая Россия» и «Ближний Восток» П.Б. Струве: британские вдохновения и разрушение Османской империи и Австро-Венгрии. *Петр Струве*. Международное положение и международная реакция (1908). — Публикуется впервые.

Почему П.Б. Струве отказался печатать «Петербург» Андрея Белого (1912). — Впервые: De Visu. М., 1994. № 5/6. Для настоящего издания дополнено.

Забытый текст П.Б. Струве о Балканах, Проливах и целях войны. *Петр Струве*. Верные и неверные пророчества Ф.М. Достоевского (1914). — Впервые: Россия и Война: Международный научный сборник в честь 75-летия Брюса Меннинга / Русский Сборник. Т. XXVI. М., 2018.

Школа лояльности: «Декларация трудовой интеллигенции» (1920). — Впервые: Русский Сборник: Исследования по истории России. Т. VI. М., 2009. Для настоящего издания исправлено и дополнено.

Призывал ли о. Сергий Булгаков к еврейским погромам в 1920 году? — Впервые: Исследования по истории русской мысли [9]: Ежегодник за 2008/2009 годы. М., 2012. Для настоящего издания дополнено.

Русские писатели и «Русская Мысль» (1921–1923): Бунин, Ремизов, Цветаева. — Впервые: Минувшее. Альманах. 19. М.; СПб, 1996. Для настоящего издания дополнено.

«Аще не умрет, не даст плода»: власть и жертва Николая Устрялова. — Впервые в качестве предисловия к изданию: *Н.В. Устрялов*. Национал-большевизм. Избранные статьи 1920–1927 гг. М., 2017. Для настоящего издания дополнено.

О любви евразийства к СССР: письмо Л.П. Карсавина к Г.Л. Пятакову (1927). — Впервые: Русский Сборник: Исследования по истории России. Т. XIV. М., 2013. Для настоящего издания дополнено.

Булгаков в поисках русского национального Рафаэля (1900–1902). — Впервые: Исследования по истории русской мысли [5]: Ежегодник за 2001/2002 годы. М., 2002. Для настоящего издания дополнено.

П.Б. Струве о «Проблемах идеализма». *П.С.* О чем думает одна книга? (1903). — Впервые: История. Научное обозрение OSTKRAFT. № 2. М., 2018.

Молодой Булгаков о еврейском вопросе: *С. Булгаков*. Два критерия (1905). — Впервые: История. Научное обозрение OSTKRAFT. № 2. М., 2018.

П.Б. Струве о политическом терроре и И.П. Каляеве. *П.С.* Казнь (1905). — Впервые: История. Научное обозрение OSTKRAFT. № 2. М., 2018.

План церковной революции Булгакова. *С.Н. Булгаков*. О церковном соборе (1906). Републикуется впервые.

«Исповедничество» В.В. Зеньковского в газете «Народ» (1906). *В.В. Зеньковский.* 1. Предчувствия марксизма. 2. Либерализм и социализм. 3. О религи-

озной психологии. 4. Об одном сомнении. 5. [Рец.:] Волжский. Из мира литературных исканий. СПб., 1906. — Впервые: Тетради по консерватизму: Альманах. № 2. М., 2018. Для настоящего издания дополнено.

Утаённый социализм Струве и Франка: газета «Рабочее Слово» (1906). 1. [*П.Б. Струве*] Рабочее Слово; 2. *Петр Струве*. Привет! Исследования по истории русской мысли [14]: Ежегодник за 2018 год. М., 2018. Для настоящего издания дополнено.

С.Л. Франк. «Панидеал» (1909). — Впервые: История. Научное обозрение OSTKRAFT. № 4. М., 2018.

С.Н. Булгаков. Письма к Андрею Белому (1910–1911). — Впервые: История. Научное обозрение OSTKRAFT. № 2. М., 2018.

«Памятник» В.В. Розанова (1913–1914). — Впервые: Логос. М., 2001. № 4 (30); Исследования по истории русской мысли [11]: Ежегодник за 2012/2014 годы. М., 2015.

С.Н. Булгаков. Кольцо Нибелунгов (1914). — Републикуется впервые.

Недругам: письма В.В. Розанова к Н.К. Михайловскому и П.Б. Струве (1892/1917). — Впервые: Вопросы философии. М., 1992. № 9.

Русский Коген: некрологи 1918 года. 1. *Вс. Р.* Герман Коген. 2. *М.М. Рубинштейн*. Герман Коген (1842–1918). — Впервые: Кантовский сборник. Т. 37. № 2. Калининград, 2018.

«Смерть первая и воскресение первое»: Письма С.Н. Булгакова к В.В. Розанову и А.С. Глинке (Волжскому) (1917–1923). — Впервые: Новый мир. М., 1994. № 11. Для настоящего издания исправлено и дополнено.

П.Н. Савицкий. О национал-большевизме. Письмо в редакцию [«Русской Мысли»]. Петру Бернгардовичу Струве (1921). — Впервые: История. Научное обозрение OSTKRAFT. № 2. М., 2018.

Воин евразийства и его война. [Рец.:] Константин Чхеидзе. Путник с Востока. Проза, литературно-критические статьи, публицистика, письма / Сост. А.Г. Гачевой. М., 2011. — Впервые: История. Научное обозрение OSTKRAFT. № 2. М., 2018.

common place

издательская инициатива/

волонтерский DIY-проект

Наши книги всегда можно купить в независимых магазинах «Фаланстер», «Гнозис», «Все свободны», «Кирпич», «Подписные издания», «Порядок слов», «Бакен», «Пиотровский», «Князь Мышкин», «Никто не спит», «Чарли books», книжном клубе «Петровский», а также заказать с доставкой на сайте common.place

Модест Колеров

Археология русского политического идеализма: 1904–1927 Очерки и документы

Корректор — Марина Нагришко

Обложка — Евгения Ставицкая

Подписано в печать 10.10.2018

Формат 130x200

Заказ № 161

Тираж 500 экз.

Издательская инициатива «Common place»
commonplace1959@gmail.com